П. Н. БЕРКОВ

Введение в изучение истории русской литературы XVIII века

ЧАСТЬ I

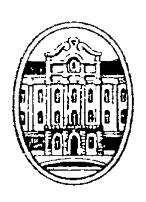
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

П. Н. БЕРКОВ

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

ЧАСТЬ I

ОЧЕРК ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVIII ВЕКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1964

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета

Книга представляет собой первый том трехтомного научного труда, который в целом содержит обзор изучения истории русской литературы XVIII в., начиная с XVIII в. и до наших дней, и включает следующие основные разделы: 1) Историография, 2) Источниковедение и 3) Проблематика названной науки.

Книга предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов филологических факультетов университетов, факультетов литературы и языка педагогических вузов, а также для всех, интересующихся историей науки и культуры.

Светлой памяти
незабвенного
Григория Александровича
Гуковского,
человека, гражданина, ученого

ПРЕДИСЛОВИЕ

История русской литературы XVIII в. как обособленная часть нашей литературной науки сложилась в середине прошлого столетия: в 1837 г. появился первый «Очерк русской словесности XVIII столетия» Н. Стрекалова, в 1846 г. первая монография о русском писателе XVIII в. — диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», два года спустя за нею последовала книга П. А. Вяземского «Фон-Визин», а в 1854 г. — вторая диссертация по истории литературы XVIII в. — «Сумароков и современная ему критика» Н. Н. Булича. Вместе с тем в самостоятельный раздел русского литературоведения история литературы XVIII в. не превратилась ни в XIX в., ни в начале XX: ею занимались частью специалисты по древнерусской литературе, частью исследователи истории литературы XIX в.

В самостоятельную научную дисциплину история русской литературы XVIII в. оформилась лишь в советское время: только к концу 20-х — началу 30-х годов текущего века сложились первые советские кадры специалистов по литературе XVIII в., возникли первые научные ячейки для ее изучения, появились непериодические сборники, посвященные непосредственным исследованиям литературы и общественной мысли этого столетия, начали выходить в свет научные и научно-популярные издания произведений писателей, преимущественно поэтов, а также стали печататься монографии и сборники статей об отдельных авторах и проблемах литературного процесса XVIII в. В послевоенное время эта область советской литературной науки еще более окрепла и выросла.

Однако при всех несомненных признаках роста история русской литературы XVIII в. как наука нуждается еще в очень серьезных и многосторонних разысканиях, анализах и осмыслениях старых и новых материалов. И сейчас исследователь на

каждом шагу ощущает недостаточную разработанность, даже невыявленность нужных источников, неполноту и случайность библиографии предмета, отсутствие критической истории науки. Несмотря на то, что за годы, протекшие со времени Великой Октябрьской революции, количество фактического материала по литературе, общественно-политической и философской мысли XVIII в. выросло весьма значительно, на многих подобных находках лежит печать случайности их обнаружения, другие имеют настолько фрагментарный характер, что сразу же вызывают необходимость дальнейших поисков. Однако довольно часто у нашедших эти материалы нет ясных представлений о том, где и как следует продолжать разыскания; и, наконец, найденные литературные документы не всегда должным образом прокомментированы научно, т. е. исторически конкретно, обнаружившими их учеными, особенно молодыми. Все это постепенно начинает становиться тормозом научного развития истории русской литературы XVIII в.

При создавшемся положении некоторую помощь мог бы оказать такой труд, в котором начинающий, а порой и не только начинающий исследователь нашел бы ответы если не на все, то по крайней мере на важнейшие или хотя бы на многие из возникающих у него на практике вопросов. Лучшей формой такого труда, по нашему мнению, может быть подробное «Введение» в историографию, источниковедение и современную проблематику истории русской литературы XVIII в.

В идеале такое «Введение» должно раскрыть перед читателем всю совокупность знаний, необходимых для изучения интересующего его предмета. «Введение» должно дать отчетливую картину того, как возникло, развивалось и достигло современного состояния то научное явление, которое принято называть «историей русской литературы XVIII в.», под какими углами зрения проходило изучение литературы этого столетия, какие задачи и цели ставили в разное время исследователи, как отражалась общественная, классовая борьба XVIII—XX вв. в русском обществе на представлениях о литературном процессе XVIII в., как использовалась история литературы XVIII в. в общественной борьбе последних двух с половиной веков, как, наконец, соотносятся литературные течения XVIII—XX вв. с отдельными трактовками и общими оценками литературного наследия позапрошлого столетия. Все эти вопросы входят в так называемую литературную историографию.

При изложении литературно-историографических материалов с неизбежностью встает вопрос о тех источниках, печатных и рукописных, нередко и устных, которыми располагали исследователи русской литературы XVIII в. в прошлом и располагают в настоящем. Помимо попутного и по необходимости краткого освещения этой проблемы в разделе литературной историографии, «Введение» должно специально и подробно

охарактеризовать важнейшие источники изучения истории русской литературы XVIII в., а именно печатные и рукописные библиографии русской книги XVIII в., включая и журналистику, библиотеки, в которых с наибольшей полнотой собраны издания XVIII в., архивы и рукописные отделы библиотек, в которых находятся известные, т. е. археографически описанные, и могут находиться неописанные литературные памятники и документы XVIII в. В этот источниковедческий раздел «Введения» должны быть также включены сведения о музеях, специально или частично посвященных литературе XVIII в. или отдельным писателям этого столетия. Наряду с общей характеристикой современных источников для изучения русской литературы XVIII в. в данном разделе «Введения» должны быть приведены сведения о существующих изданиях и сериях изданий литературных текстов XVIII в. и о научных принципах текстологической работы над такими изданиями, а также о библиографической и исследовательской литературе об отдельных писателях, журналах, литературных явлениях, жанрах и т. п. Сюда же должны быть отнесены характеристики тех материалов, которые могут быть использованы при комментировании литературных и исторических событий, культурно-бытовых и общественно-политических явлений, при отыскании сведений о реальных личностях, упоминаемых в найденных источниках, и т. д.

Таким образом, цель первого, историографического, раздела «Введения» — ознакомить читателя с тем, как постепенно складывалась история русской литературы XVIII в., кто являлся в прошлом крупнейшим ее представителем, какие традиции сформировались в ней и в какой мере оказывают они воздействие на современных советских ученых. Второй, источниковедческий, раздел «Введения» должен показать начинающему исследователю, где и что он может найти по литературе XVIII в. в рукописной, печатной и вещественной форме в учреждениях разного типа, характера и назначения. В известной мере в этот раздел должны быть включены также сведения о том, как необходимо искать и готовить к печати материалы по литературе XVIII в.

Однако наиболее существенным разделом «Введения» является третий, содержание которого должна составить современная научная проблематика изучения русской литературы XVIII в. Понимание всей сложности этого раздела должно быть подготовлено предшествующим изложением.

Третий раздел «Введения» ни в коей мере и ни при каких обстоятельствах не должен быть обычным курсом истории русской литературы XVIII в. Его задачей является не сообщение систематизированных фактов, хотя бы и совершенно новых, по-иному освещающих историко-литературный процесс. Напротив, целью его должно быть введение читателя в гущу тех спорных,

нерешенных, по-разному понимаемых различными учеными вопросов, и не частных, а принципиальных, общих, от соответствующей трактовки которых зависит современное состояние и определяются дальнейшие пути развития науки. К числу таких кардинальных проблем истории русской литературы XVIII в. относятся: ее периодизация; вопросы литературных направлений и возникновения литературных жанров; соотношение между общественной мыслью и литературой; взаимоотношение художественной литературы с фольклором и древнерусской традицией; общие с европейскими литературами и самостоятельные линии развития; связи с западными литературами и характер усвоения их достижений русскими писателями; контакты русской литературы с другими литературами XVIII в. (славянскими, народов Закавказья) и т. д. Некоторые частные вопросы также должны найти здесь освещение, например: было ли в русской литературе XVIII в. барокко, является ли автором «Отрывка из путешествия в *** И *** Т ***» Новиков или Радищев, когда был написан «Дневник одной недели» Радищева и т. п., — т. е. спорные пункты в современной науке о литературе XVIII в., которые, при всей «частности», определяют понимание деятельности отдельных выдающихся писателей и тем самым литературного процесса в целом.

Таким представляется нам в идеале «Введение в изучение истории русской литературы XVIII века». Попыткой решить эту необходимую для дальнейшего развития науки задачу является настоящая работа. Она выросла из университетских — лекционных и семинарских — занятий, которые автор вел в Ленинградском университете (1934—1941 гг. и с 1944 г. по настоящее время) и в Киргизском государственном педагогическом институте (1941—1944), а также из кандидатской диссертации «Ранний период русской литературной историографии. XVIII век и первая четверть XIX» (защищена в 1929 г. в Ленинградском научно-исследовательском институте сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока; полностью не опубликована). С 1929 по 1934 г. автору приходилось вести занятия по литературе и литературной историографии XVIII в. с аспирантами ряда ленинградских научно-исследовательских институтов. Таким образом, в настоящем труде отложились и отразились факты, наблюдения и размышления, накопленные на протяжении более чем трех десятилетий.

Предлагаемый вниманию читателей первый выпуск был закончен в ночь на 22 июня 1941 г.; и хотя о предстоящем выходе этой книги было объявлено в каталоге изданий Ленинградского университета на 1941 г., из-за событий военного времени она напечатана не была. Отвлеченный другими работами, автор долгие годы не мог обратиться к своему законченному, но все более и более нуждавшемуся в дополнениях труду. За это время появилось немало материалов по литературной историографии

XVIII в., например: глава «Историография русской литературы XVIII в.» в «Истории русской литературы XVIII века» Д. Д. Благого (М., 1946; изд. 3-е, М., 1955), статьи и брошюры об отношении к литературе XVIII в. Пушкина, Белинского, Чернышевского, Добролюбова и т. д. Вышли в свет очень ценные, хотя в ряде пунктов спорные работы Г. П. Макогоненко о Новикове, Радищеве и пр. В 1959 г. в издательстве Львовского государственного университета им. И. Франко была напечатана полезная «Хрестоматия критических материалов по русской литературе XVIII века» А. Д. Оришина с очень содержательной вводной статьей «Русская литература XVIII века в оценке русской критики» (стр. 5—60) и его же брошюра «Изучение русской литературы XVIII века в советском литературоведении» (Львов, 1960). В этой связи необходимо отметить хотя непосредственно к литературной историографии и не относящиеся, но очень близкие по материалу и направлению работы проф. Я. А. Ротковича по истории методики преподавания русской литературы: «Очерки по истории преподавания литературы в русской школе» (М., 1953), «Хрестоматия по истории методики преподавания литературы» (М., 1956) и «Вопросы преподавания литературы. Историко-методические очерки» (М., 1959).

История «средств», которыми располагали исследователи литературной историографии XVIII в., т. е. в первую очередь соответствующих библиографических пособий, нашла превосходное освещение в «Истории русской библиографии» Н. В. Здобнова (М., 1944—1946; изд. 3-е, М., 1955) и «Хрестоматии по русской библиографии с XI века по 1917 г.» (М., 1956) С. А. Рейсера.

Близкое отношение к рассматриваемому в настоящей книге материалу имеют написанные мной две главы первого тома «Истории русской критики», изданной Институтом русской литературы АН СССР (М.— Л., 1958, стр. 25—45 и 46—130), а также книга Н. И. Мордовченко «Русская критика первой четверти XIX века» (М.— Л., 1959).

Таким образом, рукопись 1941 г. пришлось во многих пунктах дополнить и, кроме того, вновь написать раздел, посвященный последнему двадцатипятилетию.

Данная работа, как и все другие мои книги и статьи, представляет в определенном смысле «коллективный труд»: я пользовался как существующей литературой вопроса, так и ценными советами товарищей. Было бы несправедливо с моей стороны, если бы, заканчивая книгу, я не принес благодарность всем, кто помогал мне, в частности проф. Г. П. Макогоненко, проф. И. Г. Ямпольскому, проф. А. Л. Шапиро, Н. Д. Кочетковой.

ВВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

Современный советский читатель, располагающий многочисленными работами по истории советской и русской классической литературы, написанными отдельными авторами или целыми авторскими коллективами, не всегда отдает себе отчет в том, что прежде чем появились подобные обобщающие труды и предшествовавшие им исследования по частным вопросам, должны были сложиться самые понятия «история русской литературы» вообще и «история русской литературы XVIII в.», «история древнерусской литературы», «история русской литературы XIX в.», «история советской литературы».

Как будет видно из дальнейшего изложения, первые труды по истории русской литературы возникли в самом начале второй трети XVIII в. и были посвящены «текущей» для той эпохи литературе. Лишь через полвека появились литературоведческие работы, в которых рассматривались литературные деятели и литературные произведения до XVIII в. И, наконец, лишь в первой половине XIX в. определились понятия: сначала — «история русской литературы XVIII в.» и затем — «история древнерусской литературы (словесности)».

Таким образом, зарождение понятия «история русской литературы» приходится на вторую треть XVIII в. Естественно возникает вопрос, почему это произошло именно тогда, а не раньше или позже. Ответ на этот вопрос не может быть дан вне зависимости от ответа на другой, тесно связанный с ним вопрос — когда складывается в сознании русского народа представление о наличии, существовании русской литературы.

Решение этого второго вопроса не может быть достигнуто тем же библиографически описательным путем, что и решение первого. Здесь приходится заниматься конкретными историко-литературными разысканиями, по крупицам собирать рассеян-

ные в разных хронологически отдаленных друг от друга трудах вовсе не литературоведческого характера суждения, близко или непосредственно относящиеся к интересующей нас проблеме. Во-вторых, приходится решать вопрос также и умозрительно, определяя исторические условия, при которых возникло и не могло не возникнуть и сложиться это понятие.

Действительно, только на каком-то определенном этапе своего развития русское культурное общество могло и должно было прийти к осознанию того факта, что русская литература как таковая есть, существует.

Не следует думать, что такая идея наличествовала у русских писателей постоянно. Правда, на заре русской литературы митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати» после перечисления разных народов и их просветителей выдвинул положение, что «вся страны и грады, и людие чьтут и славят коегождо их учителя, иже научиша православной вере», и потому призвал своих слушателей похвалить «по силе нашей малыми похвалами» «великаа и дивнаа сътворьшаго нашего учителя и наставника, великаго кагана нашеа земля Владимера», который «не в худе бо и не в неведоме земли владычьствоваша, но в Русской, яже ведома и слышима есть всеми концы земля».[1] Однако этот отрывок, представляющий типичное ораторское общее место (топос) при восхвалении локального религиозного «просветителя», при всей своей патриотической искренности, все же имеет в виду не русскую литературу, которой в то время еще не было, а факт принятия русскими славянами христианского учения, давно уже усвоенного другими народами и странами. Даже когда игумен Даниил (начало XII в.) ставит в Иерусалиме над гробом господним лампаду за всю Русскую землю и пишет об этом в своем «Хождении», то это — факт, относящийся к истории русского самосознания в период феодальной раздробленности, а не эпизод из истории формирования понятия «русская литература».

В дальнейшем в течение ряда веков мы не встречаем других высказываний, из которых можно было бы заключить о том, что хотя бы у некоторых русских литературных деятелей была идея существования русской литературы.

Очевидно, только тогда, когда завершался процесс формирования русской нации, т. е. в конце XVII и начале XVIII вв., и могли появиться зародыши подобных представлений. Так, у Симеона Полоцкого, едва ли не самого образованного русского писателя в допетровское время, мы находим, как можно думать, первое суждение о факте существования русской литературы: «. . . аз, многогрешный раб божий, его божественною благодатию сподобивыйся странных идиомат пребогатоцветныя верто-

---

[1] Н. К. Гудзий. Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков, изд. 6-е М, Учпедгиз, 1955, стр 31—32.

грады видети, посетити и тех пресладостными и душеполезными цветы услаждения душеживительного вкусити, тщание положих многое и труд немалый, да и в домашний ми язык славенский, яко во оплот или ограждение церкве Российския, оттуду пресаждение корней и пренесение семен боговдухновенно-цветородных содею,— не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже имущему дается».[2] Здесь, конечно, нет еще понятия «русская литература», но уже наличествует противопоставление произведений, написанных на чужих языках («странных идиоматах»), творчеству на «домашнем» автору «языке славенском». Заметим попутно, что словом «домашний ми» Симеон Полоцкий передает популярное в европейско-латинской литературе позднего средневековья и эпохи Возрождения слово «vernacula» (точнее «vernacula lingua») — «туземный, отечественный язык».

Настоящее представление о существовании особой самостоятельной русской литературы возникло в России только в 30-х годах XVIII в. Этому новому явлению, с одной стороны, предшествовали некоторые работы иностранцев, писавших по-латыни или по-немецки о состоянии русской образованности, которую тогда называли литературой, с другой — широкое распространение филологических, в том числе и собственно литературных, знаний среди русских авторов (Феофан Прокопович, Антиох Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов). Все названные писатели были, несомненно, знакомы с иностранными работами по русской литературе, и это, конечно, также упрочивало их представление о наличии родной литературы. Но характерно, что все они, особенно Тредиаковский и Ломоносов в 30-е годы XVIII в., ощущали русскую литературу, вернее поэзию, как явление новое. В первом своем поэтическом манифесте, в «Поздравлении господину Иоанну Албрехту барону фон Корфф» (1734), тогдашнему «командиру» (президенту) Академии наук, Тредиаковский рекомендует вниманию своего начальника русскую поэзию:

Зде сия, достойный муж, что Ти поздравляет,
Вящия и день от дня чести толь желает...
Есть Российска Муза, всем и млада, и нова,
А по долгу Ти служить с прочими готова.

В следующем году в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» Тредиаковский опять подчеркивает, что русская поэзия — явление новое. Рассмотрев кратко историю мировой литературы — начиная от греческой и римской и кончая немецкой —

---

[2] Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.—Л., Изд. АН СССР, 1953, стр. 206; ср. стр. 211: «Тем псалмам во инех языцех в метры преведени... Им же аз поревновах, тщахся тож вторити, в славенском диалекте в меру устроити...»

и напомнив о существовании поэзии турецкой, персидской, индийской, «арапской» и польской, Тредиаковский обращается с просьбой к Аполлону:

Но приди и нашу здесь посети Россию,
Так же и распространи в ней мя, Поэзию...
Хотя нужден ты давно здесь в России славной...
Больше но теперь в тебе нужды я имею...

В 1739 г. Ломоносов в присланном в Академию наук «Письме о правилах российского стихотворства», предлагая новую русскую версификацию, указывает, что «наше стихотворство только лишь начинается».

И в следующем десятилетии русская литература ощущалась современниками как явление новое. Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве» (1747) упоминает из русских поэтов только Кантемира, Феофана Прокоповича и Ломоносова, а в другом месте говорит, что, овладевая правилами русской поэзии, никаких предводителей не имел и словно в дремучем лесу пробирался.

Но и Тредиаковский, и Ломоносов сравнительно скоро отказались от своей точки зрения на недавнее возникновение русской поэзии. По мере того как перед каждым из них раскрывались хранилища старорусской письменности, у них складывалось представление о более длительном существовании русской литературы и о наличии преемственности между старой и новой словесностью, о наличии литературной традиции, вовсе не прерванной, как думали долгое время, реформами Петра.

Напротив, дворянские писатели, начиная с Сумарокова и продолжая А. Волковым, С. Домашневым и другими, признавали русскую литературу только со времени Петра I и полностью отвергали старорусскую письменность.

Несмотря на различие позиций авторов, и «Эпистола от Российския поэзии к Аполлину», и эпистолы о русском языке и о стихотворстве Сумарокова, в особенности приложенные к последним «Примечания на употребленные в сих эпистолах стихотворцев имена», принадлежат к одному и тому же, чрезвычайно распространенному в европейских литературах средневековья и нового времени как на латинском, так и на новых языках жанру литературоведческих дидактических поэм-посланий. Одной из основных целей подобных произведений было создание «поэтического канона», т. е. перечисление образцовых (а иногда, напротив, дурных, недостойных подражания) писателей.[3]

Будучи обусловлены классовой идеологией своих авторов, проявляющейся в методологии, методике исследования и отборе

---

[3] Подробнее об этом см. в кн.: E. R. Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948, Kap. 14, §§ 3—5, S. 259—274; 2. Aufl. Bern, 1954, S. 261—276. — С третьим изданием этой книги (1959) мне не удалось ознакомиться.

материала, «поэмы-каноны», как и прозаические, критические обзоры современной (для той эпохи) литературы, являются в то же время какой-то попыткой понять, охарактеризовать и по-своему добросовестно отобразить отдельные явления литературы и объективный литературный процесс в целом. При изучении литературной историографии мы должны учитывать этот двусторонний характер любого литературоведческого труда. Это оградит историографа от грозящей ему опасности, однобокого — абстрактно-идеологического или безыдейно-фактографического — подхода к изучаемым документам и придаст историографическому труду подлинную научную объективность.

Вместе с тем внимание исследователя должно быть направлено также на изучение и научное истолкование возникновения тех форм, в которые отливаются в разные периоды истории литературной науки различные литературно-историографические труды. Выше было указано на существование у нас во второй четверти XVIII в. и даже позднее «поэм-канонов». Далее мы встречаемся с формой «словаря писателей»; сначала в таких словарях материал располагался в хронологическом порядке, затем — в алфавитном. Позднее появляются различного рода «истории»: истории российского стихотворства, просвещения, словесности, литературы и т. д. Все они сначала представляют по существу опять-таки словари писателей, расположенные в хронологическом порядке и осложненные анализом явлений истории литературного языка и истории образования, но в дальнейшем этот словарный характер ими утрачивается, и на смену приходят другие виды «истории литературы». Уже в XVIII в. мы сталкиваемся с формой рецензии, критико-биографического очерка, некролога и т. д. Появляются также первые опыты библиографических перечней различного типа, из которых вырастает большая и разнообразная литературоведческая библиография. Все это должно быть не только учтено в литературной историографии, но и объяснено, связано с развитием русской общественно-политической мысли и русской истории вообще.

Литературному историографу необходимо изучать и средства, которыми располагает история литературы в тот или иной момент своего существования, а именно: учитывать наличие библиотек государственных, общественных и частных, архивов, рукописных собраний, музеев общекультурных и специально литературных, журналов, сборников, библиографических и иных пособий (по палеографии, филигранистике, хронологии, текстологии), общих и специально литературных биографических словарей и т. д.

Наконец, при изложении литературной историографии необходимо также характеризовать приемы изучения истории литературы, применявшиеся в разное время литературоведами.

Конечно, почти все перечисленные элементы литературно-историографического изучения связаны между собой: классо-

вая позиция литературоведа определяет отбор имен писателей и освещение их деятельности, но даже самая возможность этого отбора зависит от существующих библиотек и полноты их собраний. Приемы изучения хотя и совершенствуются с течением времени, но прежде всего зависят от тех целей, которые ставит перед собой исследователь, т. е. в конечном счете опять-таки от его классовой позиции. В то же время несомненно, что приемы изучения, с одной стороны, ограничиваются существующими средствами (библиотеками, рукописными собраниями и т. д.), а с другой — влияют на создание новых средств изучения.

Из сказанного явствует, что литературная историография есть история литературной науки, есть наука о развитии литературоведения, в первую очередь истории литературы в идейном и материальном отношениях. Она показывает историческую обусловленность сменяющих друг друга «методов», т. е. идеологических концепций, свойственных тем или иным литературоведам, объясняет судьбу (возникновение, развитие, исчезновение, полное, частичное или трансформацию) приемов изучения и характеризует эволюцию, а иногда и революцию в области создания средств литературоведческого изучения.

Литературная историография обладает определенным и точным объектом изучения; у нее есть свой метод — марксистско-ленинский диалектический метод. Это дает ей право называться наукой. Однако она является наукой не самостоятельной, а историографической, т. е. изучающей вторичный исторический процесс — процесс развития истории истории литературы, тогда как последняя изучает первичный процесс — развитие самой литературы. Этот вторичный характер литературной историографии, ее подчиненность более частным целям, заставляет нас считать ее вспомогательной наукой или дисциплиной.

И именно как вспомогательная литературоведческая дисциплина литературная историография имеет важное значение в нашей науке. Она расширяет научный кругозор исследователя, раскрывает перед ним историческую закономерность развития литературной науки и тем самым показывает универсальное, основополагающее и исключительно всестороннее значение марксистско-ленинского диалектического метода; она вооружает литературоведа знанием того, как, при каких условиях и с какой целью накопились в литературной науке горы фактов, вносилась в них определенная руководящая идея, система, как складывались, уточнялись и утончались приемы литературоведческого анализа и вырастали литературоведческие учреждения, организации,— короче говоря, литературная историография помогает исследователю исторически правильно понять современное состояние литературной науки.

Вне этой связи с современностью, с задачами, стоящими перед нынешним этапом нашего литературоведения, литературная историография утрачивает свое прямое назначение — помогать лите-

ратуроведу в его постоянной, повседневной работе. Напротив, она становится в таком случае балластом для памяти, «знанием для знания», весьма привлекательной областью занятий для коллекционеров фактов, бесполезной для ученого, живущего интересами своей эпохи.

Подобным пониманием сущности литературной историографии определяется позиция автора настоящей работы.[4]

---

[4] Полных, обобщающих трудов по истории русской литературной науки до сих пор нет. Защищенная мною в декабре 1929 г. диссертация «Ранний период русской литературной историографии. XVIII век и первая четверть XIX» не была напечатана. Коллективная «История русского литературоведения», намечавшаяся к изданию Институтом русской литературы АН СССР, не была осуществлена (ср.: Очерки по истории русского литературоведения Проспект. М., 1953).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

XVIII век

Первые работы по изучению русской литературы XVIII в. вовсе не были посвящены истории литературы. Характер исторического источника, литературно-историографического документа они приобрели позже благодаря естественному ходу вещей, благодаря времени, протекшему с момента их написания. Когда же они создавались, то и по идее, и по выполнению это были критические работы, посвященные литературе того времени. Они являлись прежде всего фактами общественной борьбы, документами литературной политики соответствующего периода. Классово обусловленный подход их авторов к освещению и оценке литературных явлений своей поры обнаруживался и в отборе тех или иных имен, и в характеристике — положительной или отрицательной — деятельности определенных писателей, и в превознесении одних и в замалчивании и пренебрежительном отношении к другим современным им литераторам, и, наконец, в решении вопроса о времени возникновения русской литературы, о литературной генеалогии разных явлений, например версификации, жанров и т. д.

Наиболее ранние, по крайней мере известные в настоящее время в науке, работы по истории русской литературы были написаны не русскими авторами, а иностранцами, жившими в России в XVIII в. и наблюдавшими ее культурную жизнь. Однако хотя эти работы и были известны многим русским читателям XVIII в., они не оказывали прямого и непосредственного влияния на формирование русской литературной историографии, которая возникла несколько позднее из внутренних потребностей тогдашней русской культуры.

В 1725 г. появилась первая работа, написанная на латинском языке Михаилом Схендом фан дер Бехом, врачом греком, который служил во времена Петра I в военно-медицинских учреждениях Петербурга а затем был сослан в Сибирь по обвинению в

политическом преступлении, через много лет возвращен обратно в столицу и вскоре после этого умер. Статья фан дер Беха была напечатана в нюрнбергском академическом журнале «Физико-медицинские труды Императорской академии испытателей природы» (Acta Physico-medica Academiae Caesareae Naturae curiosorum, 1727, т. I, приложение, стр. 131—149) под названием «Современное состояние русской литературы» (Praesens Russiae literariae status).

В обширной, многоречивой статье фан дер Бех в приподнято-хвалебном тоне говорит о политическом и культурном состоянии России при Петре I и дает беглые характеристики Феофана Прокоповича, Феофилакта Лопатинского, Феофила Кролика (у Беха — Крулец), кн. Дмитрия Кантемира и др. Между прочим, он предсказал большую будущность совсем молодому тогда кн. Антиоху Кантемиру. Статья Беха, несмотря на панегирический тон, содержит ряд ценных подробностей из истории русской образованности середины 1720-х годов.[1] Она вызвала большой интерес на Западе и, по указанию одного из современников, будто бы была перепечатана во многих изданиях, в том числе и в пользовавшемся большим распространением итальянском ученом журнале «Galleria di Minerva».[2]

В самом деле, с конца XVII в., а в особенности в первую четверть XVIII в., политические и экономические связи Запада с Россией стали пробуждать все более увеличивавшийся интерес к культурной жизни новой, петровской державы и стимулировали появление ряда работ, аналогичных статье Михаила фан дер Беха.[3] К началу 1740-х годов этот интерес к русской литературе на Западе стабилизировался. В европейских ученых журналах регулярно появляются сведения о научной деятельности Петербургской академии наук, но о русской художественной литературе сведения были очень скудны, что, впрочем, объясняется тем, что сама она делала тогда первые шаги.

Тем не менее с 20-х годов XVIII в. в западноевропейских литературах стали появляться переводы «слов» Феофана Прокоповича, Гавриила Бужинского, перепечатывались латинские речи и стихи Феофана Прокоповича. Работам о русской церковной и светской культуре посвящались то краткие информационные заметки, то обстоятельные рецензии.[4]

---

[1] Подробнее о Михаиле Схенде фан дер Бехе см. в статье: П. Н. Берков. Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке. — Язык и литература, т. V, 1930, стр. 97—99; не вполне точный и полный перевод статьи Беха см.: «Сын отечества», 1842, ч. I, № 1, январь, стр. 5—35 («О состоянии просвещения в России в 1725 г.»).

[2] Язык и литература, т. V, 1930, стр 97

[3] Там же, стр. 88—109.

[4] Dr. H Raab. 1) Deutsch-russische Literaturbeziehungen in der Zeit von der Aufklärung bis zur Romantik. — WissenschaftlicheZeitschrift der Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald, Jhg. V, 1955/56. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Nr 2/3, S. 91—99; dasselbe gekürtz—«Neue deutsche Literatur», 1957, Nr 1, S. 91—104; 2) Die Anfänge der slawistischen Studien

Лишь после Семилетней войны, близко столкнувшей европейцев с Россией, появились одновременно две работы, принадлежавшие перу иностранцев, живших в России и выпустивших около 1767 г. небольшие обзоры истории русской литературы. Оставляя в стороне малосодержательную с фактической стороны латинскую «Историческую диссертацию о древнем и современном состоянии образованности в Российской империи» некоего выборгского жителя Андрея Нессина,[5] обратимся к другой, также латинской, диссертации, а именно «Краткому начертанию состояния наук и искусств в Российской империи» (1766) бывшего профессора философии в Московском университете Иоанна-Генриха Фроманна. Фроманн впервые знакомит европейских читателей с представителями русской художественной литературы. Он называет князя Дмитрия (имея в виду Антиоха) Кантемира, хотя говорит о нем как о сатирике, Ломоносова, Поповского, Елагина и Сумарокова, затем Хераскова и Тредиаковского.[6]

Брошюра Фроманна вызвала суровую рецензию в одном из авторитетных немецких ученых журналов. Рецензент упрекнул автора за неточность и недостаточность сведений, непростительных, по его словам, человеку, проведшему 10 лет в Москве. «Грешат против исторической правды, поступают несправедливо

---

im deutschen Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung von Mecklenburg und Vorpommern. — Wissenschaftliche Zeitschrift... Greifswald, Jhg V, 1955/56. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Nr 4/5, S. 339—403; 3) Anfänge einer russischen Literaturbetrachtung in deutschen Zeitschriften — Zeitschrift für Slawistik, Bd. I, 1956, H. 4, S 108—114; 4) Zur Tradition der Deutschrussischen Wechselseitigkeit im Ostseeraum. — Wissenschaftliche Zeitschrift... Greifswald, Jhg. VII, 1957/58, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Nr 3, S. 1—5; 5) Die Universität Greifswald und die Begegnung der deutschen und der russischen Kultur im 18 Jahrhundert. — Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler. Berlin, 1958, S 164—169, 6) Вклад Грайфсвальда в изучение России немцами в петровскую эпоху — XVIII век Сб. 4. М.—Л., 1959, стр. 323—326; J. Tetzner. 1) Die Leipziger Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen über die Anfänge der Petersburger Akademie — Zeitschrift für Slawistik, Jhg. I, 1956, H 2, S 93—120; 2) Verkauf russischer Bücher in Leipzig am Anfang des 18. Jahrhunderts —Ebenda, Jhg. II, 1957, H. 4, S. 603—605; P. N. Berkov. 1) Deutsch-russische kulturelle Beziehungen im 18. Jahrhundert. — Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler, S. 64—85; 2) Des relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730· Trédiakovskij et l'abbé Girard. — Revue des études slaves, t. XXXV, 1958, fasc. 1—4, p. 7—14; П. Н. Берков. Томас Консетт, капеллан английской фактории в России (К истории русско-английских литературных связей в 1720-е годы). — Проблемы международных литературных связей. Под ред. проф. Б. Г. Реизова Л., 1962, стр. 3—26; R. Picchio. La Introductio in historiam et rem literariam slavorum di J. P. Kohl. — «Ricerche slavistiche», vol. II, 1953, p. 3—28. — Ценные, в основном биографические, сведения о немецких ученых, действовавших в России в XVIII в. на разных поприщах, в том числе и в области истории литературы, находятся в кн: E. Amburger Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen. Gießen, 1961 (Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Bd 14).

[5] Язык и литература, т. V, 1930, стр. 114—116.

[6] Там же, стр. 110—114.

в отношении целого народа, если судят о нем по таким отрывочным мелочам»,— пишет неизвестный рецензент. Этот отклик на диссертацию Фроманна любопытен как свидетельство того, что в Германии были люди, интересовавшиеся русской культурной жизнью, следившие за ней и бывшие в состоянии оценивать характеристики ее со стороны полноты и точности приводимых сведений.[7]

Безусловно, с этим интересом к русской литературе связано появление в 1768 г. на страницах лейпцигского журнала «Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste» (H. VII) статьи «проезжего русского дворянина», как он охарактеризован в редакционном примечании, называвшейся «Nachricht von einigen russischen Schriftstellern, nebst einem kurzen Bericht über den russischen Theater» (Известие о некоторых русских писателях с приложением кратких сведений о русском театре). Эта статья, опубликованная анонимно и написанная заметным в свое время писателем конца 1750-х — начала 1760-х годов Александром Андреевичем Волковым (1736—1788),[8] представляет значительный интерес. В следующем году она была в сокращенном виде перепечатана в лейпцигском журнале «Zusätze zur Theorie der Poesie und Nachrichten von den besten Dichtern» (1769, S. 210—218),[9] а через несколько лет дважды издана во французском переводе, и, может быть, итальянском,[10] и стала известна в России. В то время как на Западе появились, кажется, только две рецензии, в России «Известие» Волкова было воспринято как пристрастное изображение истории русской литературы с определенных литературно-партийных позиций и способствовало опубликованию «Опыта исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (1772).

В статье Волкова, масона, театрала, придворного кавалера, близкого к И. П. Елагину, излагалась в форме хронологически расположенных биографий история русской литературы лишь со времени Анны Иоанновны, начиная с Феофана Прокоповича и Тредиаковского и кончая молодыми писателями середины 1760-х годов. Литература допетровского времени и А. Кантемир в статье не упомянуты вовсе, опущен в ней также ряд писателей той эпохи. Случайностью, слабостью памяти, недостатком пособий, на которые ссылается в статье Волков, объяснять это

---

7 Göttinger gelehrte Anzeigen, 1768, S 669

8 Об А. А. Волкове как авторе лейпцигского «Известия» см. мою статью. Известия АН, Отд общ наук, 1931, № 8, стр. 937—952. Прочую литературу вопроса см. в кн: И. М Кауфман Русские биографические и биобиблиографические словари. М., 1955, стр. 283—284.

9 М А. Арзуманова. О связях с Россией А. Н. Радищева в лейпцигский период. — XVIII век Сб. 3. М —Л., 1958, стр. 535—536.

10 См: П. Н. Берков Доминик Блэкфорд и русская литература. — Научный бюллетень Ленингр. ун-та, 1946, № 8, стр. 12—14; Fr. Venturi Qui est le traducteur de l'Essai sur la littérature russe? — Revue des études slaves, t XXXVIII, Mélanges Pierre Pascal, 1961, p. 217—221.

отсутствие было бы неверно, тем более, что иногда автор «Известия» проявляет большую библиографическую точность. Для «просвещенного» придворного писателя, каким считал себя Волков, допетровская литература была не только неинтересна, но даже принципиально неприемлема. Он проводит в статье общую для многих литературоведов XVIII в. идею «просвещенно-абсолютистского» развития русской литературы; поэтому для него русская словесность начиналась с момента появления некоего «просвещенного» монарха — Петра. Кроме того, отбор писателей, произведенный Волковым, очень тенденциозен и подчеркивает мысль о том, что русская литература в основном творится «настоящими», т. е. родовитыми, дворянами, а не разночинцами или дворянами по табели о рангах. С этой точки зрения, древнерусская литература — создание монахов и не дворян — не заслуживает даже упоминания перед европейской аудиторией, на которую рассчитана статья в немецком журнале, как не следует останавливаться и на деятельности Ф. Эмина, Веревкина, Рубана, В. Петрова и других недворянских писателей 1750—1760-х годов.

Несмотря на несомненную субъективность в отборе и оценке авторов и их произведений, беглость и неполноту сообщаемых сведений, наконец на ошибки и неточности, «Известие» Волкова имеет безусловную ценность как попытка выделить наиболее заметных деятелей русской литературы 30—60-х годов XVIII в. Если сопоставить круг анализируемых нашей современной советской литературной наукой писателей этого периода с тем, что имеется у Волкова, можно убедиться, что в основном отбор произвел он правильно и дал со своей точки зрения и при тогдашнем состоянии науки новый и ценный материал.[11]

«Известием» Волкова можно закончить рассмотрение работ о русской литературе XVIII в., которые были опубликованы в те годы на иностранных языках, так как с этого времени начинает развиваться история русской литературы на русском языке. Это не значит, конечно, что на иностранных языках аналогичные работы больше не появляются, однако эти дальнейшие этапы иностранных штудий тогдашней русской литературы не представляют для нас в данной связи прямого интереса; краткие сведения о них изложены в упоминавшейся выше моей статье в «Языке и литературе» (т. V, 1930).

---

[11] Статья Волкова в немецком журнале была обнаружена известным поэтом-переводчиком М. Л. Михайловым (1829—1865), серьезно занимавшимся историей литературы XVIII в., и напечатана под названием «Немецкое известие о русских писателях» в «Библиографических записках», 1861, № 20, стр. 609—633, и отд. оттиск — СПб, 1862, 44 стр. (перепечатано в «Материалах для истории русской литературы» П. А. Ефремова. СПб., 1867, стр. 129—160). В 1851 г. в журнале «La revue etrangère» (Oct., t. 80, p. 1—15) и отдельно (SPb., 1851) был воспроизведен французский перевод лейпцигского «Известия», вышедший в Ливорно в 1771 г. (перепечатан у Ефремова, стр. 145—160).

До «Опыта исторического словаря о российских писателях» Новикова, который, как отмечалось выше, появился в ответ на «Известие» Волкова, уже делались на русском языке попытки обозреть развитие русской литературы. Первым таким произведением можно признать «Эпистолу о стихотворстве» (1747) А. П. Сумарокова. Она посвящена общим вопросам теории поэзии, но попутно в ней характеризуются иностранные и русские поэты. По-видимому, из цензурных соображений имеющиеся в сохранившемся рукописном тексте строки о Феофане Прокоповиче и А. Кантемире в печатном издании были опущены.[12] В результате этого в окончательном тексте «Эпистолы» из русских поэтов остались только Ломоносов, о котором сказано:

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен, —

и Тредиаковский, названный не по имени:

А ты, Штивелиус, лишь только врать способен

Приложенные к «Эпистоле» «Примечания на употребленные в сих эпистолах стихотворцев имена»[13] были первым русским словарем писателей. Расположенный в алфавитном порядке, этот словарь интересен по принятому в нем принципу построения статей об отдельных поэтах: после имени стихотворца, как правило, указываются его национальность, литературный жанр, в котором он писал («упражнялся»), даются точные или приблизительные даты рождения и смерти писателей прошлого (о своих современниках или недавно умерших авторах, например Ломоносове, Кантемире, Гюнтере, Вольтере, Попе, Руссо и т. д., Сумароков таких данных не приводит), а затем следуют критические замечания об отдельных произведениях или оценки творчества поэта в целом.

«Эпистола» Сумарокова отразила литературные отношения русских поэтов второй половины 40-х годов XVIII в. В сущности она представляла программный документ русской дворянской поэзии тех лет и, несмотря на краткость отзывов о русских поэтах, уже решала ряд актуальных для той эпохи историко-литературных вопросов: ни «разумный Феофан», который «достойного в стихах не сделал ничего», ни «разумный Кантемир», в стремлении которого на Парнас «не было успеха», не рассматриваются Сумароковым как непосредственные предшественники и учителя. Однако и Ломоносов, которому, на первый взгляд, воздана высокая похвала, на самом деле похвален лукаво. Как показал в одном ненапечатанном докладе 1936 г. Г. А. Гуковский, слова: «Он наших стран Мальгерб» — связаны со стихом Буало из «Искусства поэзии»:

---

[12] Полный текст «Эпистолы» см. в кн.: А. П. Сумароков. Избранные произведения. Л., 1957, стр. 115—125 (Библиотека поэта. Большая серия).
[13] Там же, стр. 126—129.

Enfin Malherbe vint, et le premier en France...
(«Но вот пришел Малерб и первый дал французам...»)

А этот стих в XVIII в. понимался и во Франции, и во всей Европе, в том числе в России, как признание прошлых заслуг какого-либо писателя и в то же время отказ в признании современного его значения. Таким образом, этот якобы похвальный отзыв Сумарокова в известной мере предварял литературную полемику между Ломоносовым и Сумароковым, развернувшуюся в 1750-х годах.

К этой же полемике относится набросок Ломоносова «О нынешнем состоянии словесных наук в России»,[14] зачеркнутое начало которого — «Предпринимая описание нынешнего состояния словесных наук в России...» — можно истолковать как намерение автора дать общую характеристику современной русской литературы. Однако обзорно-фактического характера статья Ломоносова не получила и вылилась в полемическое «О качествах стихотворца рассуждение», помещенное в «Ежемесячных сочинениях» (1755, май).[15]

В тех же «Ежемесячных сочинениях» (1755, июнь) была напечатана пространная статья В. К. Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», посвященная, собственно говоря, вопросу о смене различных версификационных систем в русской литературе. Изучение «древнего, среднего и нового стихотворения российского», иначе говоря, занятия версификацией в историческом плане привели Тредиаковского к необходимости остановиться на деятельности отдельных поэтов, и поэтому в его рассуждение оказались включенными биобиблиографические характеристики ряда авторов «среднего стихотворения». Образцом в этом отношении послужили Тредиаковскому хорошо знакомые ему латинские, французские и немецкие пиитики, в которых имелись иногда исторические отделы, развившиеся впоследствии в целые «истории поэзии».

В этой части рассуждения Тредиаковский высказывает большую симпатию к поэзии силлабиков и в выборе образцов для иллюстраций, и в сочувственных характеристиках поэтов «среднего российского стихотворения». Основная мысль статьи Тре-

---

14 М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952, стр. 581—582.

15 П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. Л., 1936, стр. 156—170.—В 1947 г. Л. Б. Модзалевский в своей полностью не напечатанной докторской диссертации о Ломоносове выступил с гипотезой о принадлежности рассуждения «О качествах стихотворца» перу Г. Н. Теплова. См. его статью «Ломоносов и „О качествах стихотворца рассуждение“ (Из истории русской журналистики 1755 г.)» в сборнике «Литературное творчество Ломоносова» (М.—Л., 1962, стр. 133—162). Точку зрения Л. Б. Модзалевского разделяет А. Штамбок: Об авторе рассуждения «О качествах стихотворца» (К вопросу о двух направлениях в русской эстетике классицизма) — «Русская литература», 1961, № 1, стр. 169—181. — Я остаюсь при прежней точке зрения.

диаковского состоит в том, что русская поэзия, по крайней мере в прошлом, по своему происхождению — не дворянская, что она создавалась «простонародьем», лицами духовного звания и разночинцами. Наиболее интересная для нас часть работы Тредиаковского, посвященная «новому стихотворению», изложена очень бегло, в ней особенно подчеркивается роль самого Тредиаковского в создании и упрочении тонического стихосложения в русской поэзии.

Помимо этой статьи, Тредиаковским было написано направленное против Сумарокова «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю» (1750). Напечатано оно было лишь в 1865 г. акад. А. А. Куником в «Сборнике материалов для истории Академии наук в XVIII в.» (ч. II. СПб., 1865, стр. 435—500), дошло до нас только в одном списке и едва ли имело широкое обращение среди литературной публики XVIII в. Хотя «Письмо» Тредиаковского и содержит кое-какие данные по истории литературы 1740-х годов, однако правильнее видеть в нем вслед за акад. Куником документ литературной критики.

В эти и в последующие годы появляются материалы литературно-критического порядка, содержащие данные по истории литературы того периода, но на них останавливаться мы не будем, так как в настоящем обзоре важно установить основные этапы изучения литературы XVIII в. в целом. Поэтому мы можем опустить и французское «Письмо молодого русского вельможи» гр. Андрея Шувалова,[16] и дошедшее до нас на французском «Рассуждение о российском стихотворстве» М. М. Хераскова,[17] и другие факты подобного рода.

Особо нужно отметить статью С. Г. Домашнева «О стихотворстве», помещенную в журнале «Полезное увеселение» (1762, май, стр. 195—220, июнь, стр. 227—243). Она интересна прежде всего тем, что после «Эпистолы» Тредиаковского и «Примечаний на употребленные в сих эпистолах стихотворцев имена» Сумарокова это была первая попытка включить историю русской поэзии в историю мировой литературы.[18] Домашнев коротко из-

---

[16] Об А. П Шувалове и его статье см.: П. Н. Берков. 1) Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. II. О «Письме молодого русского вельможи». — XVIII век. Сб. 1 М.—Л., 1935, стр. 351—366; 2) Ломоносов и литературная полемика его времени. М.—Л., 1936, стр 251—266.

[17] П Н. Берков. «Рассуждение о российском стихотворстве». Неизвестная статья М. М. Хераскова. — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 287—294.

[18] На Западе русская литература впервые была рассмотрена среди европейских в книге грайфсвальдского профессора Андреаса Вестфаля «De statu rei litterariae presenti in Europa» (Gryphiswaldiae, 1724, cap. II) Для Вестфаля «литература» — это образованность (см.: Г. Рааб. Вклад Грайфсвальда в изучение России немцами в петровскую эпоху. — XVIII век. Сб 1, стр. 326).

лагает в своей компилятивной статье историю стихотворств греческого, римского и других, а в заключение — российского. По своей идеологической позиции и литературным вкусам Домашнев принадлежал к дворянским писателям, признававшим своими учителями Сумарокова и Хераскова.

Как и Сумароков, Домашнев рассматривает русскую литературу только с послепетровского времени и так же холодно оценивает деятельность Кантемира и Ломоносова.

Таким образом, значение статьи Домашнева состояло прежде всего в том, что она была первой по времени историей русского стихотворства и рассматривала русскую поэзию как часть мировой литературы.

Бесспорно, крупнейшей вехой в изучении истории русской литературы как XVIII в., так и предшествующего периода был «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (1772), известного в те годы как издателя сатирических журналов, направленных против Екатерины II и ее окружения, против «знати». В последнее время деятельность Новикова получила всестороннее освещение в работах Г. П. Макогоненко, хотя и не во всем можно с ним согласиться. Несомненно, однако, что на этом этапе литературной и культурной деятельности Новиков был выразителем общественных интересов во многом различных демократических групп, объединившихся в его представлении в так называемый «средний класс».

Выступая «просветителем» и выразителем интересов «среднего класса», Новиков постоянно противополагал «народ» «знатным боярам». Противопоставлял он их, говоря и о судьбах просвещения в современной ему России; если оно будет ограничиваться узкими рамками придворного круга, то не сделает больших успехов. «Мысль эта,— по словам Плеханова,— была одной из любимых мыслей Новикова».[19] В сущности и ранняя издательская деятельность Новикова, его сатирические журналы 1769—1770 гг. «Трутень» и «Пустомеля» были посвящены «собиранию сил» демократической литературы.

И с этой стороны понятна причина появления «Опыта исторического словаря» именно в 1772 г., после «Трутня» и «Пустомели», в которых Новиков вел такую упорную борьбу с лицемерным «либерализмом» Екатерины.[20] В «Опыте исторического словаря» Новиков хотел показать, что культура России, «просвещение» ее созданы в подавляющем большинстве «средним классом» — духовенством, небогатыми дворянами, разночинцами, образованными выходцами из купечества и других группировок — и что незначительное меньшинство писателей составляли «знатные». В самом деле, в словаре перечислено 317 писа-

---

[19] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXII. М.—Л., 1925, стр. 303.

[20] См.: Сатирические журналы Н. И. Новикова. Под ред. П. Н. Беркова. М.—Л., 1951, стр. 7—42; П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, стр. 156—225, 252—258 и 268—276.

телей, из которых лишь 50 могут считаться принадлежащими к «знатным», т. е. которые были представителями титулованных фамилий (боярин, князь, граф) или занимали высокое общественное положение (тайные советники, офицеры привилегированных гвардейских полков и т. п.). Остальные $^{5}/_{6}$ образуют «средний класс» — небогатое дворянство, духовенство, разночинцы и пр.

Не менее показательно и распределение в словаре писателей во времени. А. А. Волков в своем «Известии» и другие дворянские авторы целиком отметали древнерусскую литературу, тем самым подчеркивая «аристократический» характер новой русской словесности. Новиков же из 317 писателей, перечисленных им в словаре, указал 54, живших и действовавших до XVIII в. Пусть это составляет всего лишь 17% общего числа, но все же это было большим шагом вперед: русская литература переставала быть «новорожденным младенцем», а приобретала историю, увязывалась с прошлой культурой страны, оказывалась обладающей традициями, преемственностью. Этим наносился удар по «аристократической» теории Волкова.

Словарь Новикова с фактической стороны превосходит все предыдущие попытки в данном направлении, но он далеко не так точен и безупречен, как казалось литературоведам досоветского времени. Например, Новиков нередко был, возможно, намеренно скуп в приведении биографических и библиографических сведений (о Л. Сичкареве, В. Петрове), а иногда столь же намеренно обстоятелен (о Ф. Эмине). Им не указаны даты рождения писателей-современников. Не всегда точны названия произведений. Тем не менее словарь Новикова, несмотря на ошибки и на мягкий в общем характер оценок, имел большое значение для развития истории русской литературы, в частности для истории литературы XVIII в.[21]

Возникает вопрос, как мог Новиков при полном отсутствии в то время библиографических пособий и скудости фактических материалов у его непосредственных предшественников дать такие обширные сведения — иногда первые и единственные в русской литературной науке — о писателях древнего и нового периода. Можно только высказать предположения. Очевидно, он имел доступ к библиотеке Академии наук, называвшейся тогда императорской библиотекой. Так, в ряде случаев Новиков указывает, что называемые им книги, печатные или «писменные», «хранятся в императорской библиотеке» (см. статьи «Адриан», «Дегенин», «Истомин Карион», «Иоаким», «Иосиф Волоколамский», «Крекшин», «Кирилл Белозерский», «Климовский» и др.). Вероятно, пользовался Новиков и так называемым «Камерным

---

[21] «Опыт» Новикова был перепечатан в «Материалах для истории русской литературы» П. А. Ефремова (СПб., 1867, стр. 1—128) и в Избранных сочинениях Н. И. Новикова (М.—Л., 1951, стр. 277—370).

каталогом» библиотеки Академии наук.[22] Несомненно также, что сведения о современных писателях он получил от них самих. Иногда Новиков признавался в бесплодности своих поисков (в статье «Гедеский»: «О имени сего писателя и о том, в которое время он жил и писал, никакого не мог я найти известия»).

Новиков предполагал издать историю русского театра.

Из всех русских литературно-историографических трудов XVIII в. «Опыт» Новикова — безусловно самое крупное научное и общественное явление.[23]

Статья Волкова с ее «аристократической» тенденцией и «Опыт» Новикова с его демократическими устремлениями представляли в середине XVIII в. две боровшиеся линии в построении истории русской литературы; при этом общей для обоих произведений была «словарная» форма расположения материала, хронологическая в первом, алфавитная во втором случае. Дальнейшее развитие лексикографической формы истории русской литературы («Словарь исторический», 1790—1798; неизданный «Словарь» гр. Д. И. Хвостова, «Словарь» Евгения, о котором подробнее ниже, и др.) продолжает соответственно две наметившиеся линии и отражает общественно-политическую позицию авторов как в выборе перечисляемых писателей и их распределении по социальному признаку, так и в приемах характеристики.

Наряду со словарной формой литературоведческих работ во второй половине XVIII в. возникают и иные «жанры». Так, в 1762 г. впервые издаются «Сатиры» А. Кантемира, которым была предпослана биографическая статья о нем, написанная И. С. Барковым. Не существенно то, что автор был несамостоятелен и использовал аналогичную статью, приложенную к французскому переводу «Сатир» Кантемира, изданному в Лондоне (1749, 1750). Важно другое: русскому читателю впервые было показано, что изданию писателя прошлого времени необходимо предпосылать биографическую статью. На Западе это было принято со времен поздней античности.[24] В русской литератур-

[22] Н. В. Здобнов. История русской библиографии до начала XX века, изд. 3-е. М., 1955, стр. 54—55 и 578—579; М. В. Сокурова. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708—1955, изд. 2-е. Под ред. и со вступ. статьей П. Н. Беркова. Л., 1956, стр. 59—64; И. Н. Кобленц. А. И. Богданов. М., 1958, стр. 89—101 и 141—144.

[23] Из большой литературы о новиковском «Опыте» отметим: М. И. Сухомлинов. Н. И. Новиков, автор «Опыта исторического словаря о российских писателях». — Зап. Импер. АН, т. 6, вып. 2, 1865, стр. 230—261, и отд. отт.; перепечатано в «Исследованиях и статьях» М. И. Сухомлинова, т. II (СПб., 1889, стр. 3—34); Г. П. Макогоненко. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.—Л., 1951, стр. 171—181; М. И. Плотников. «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова как одна из первых крупных работ русской критики XVIII века. — Уч. зап. Тульск. пед. ин-та, 1953, вып. 4, стр. 192—208; И. М. Кауфман. Русские биографические и библиографические словари. М., 1955, стр. 285—286.

[24] E. R. Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948, S 226; 2. Aufl. Bern, 1954, S. 228.

ной практике уже имелся аналогичный пример: подготовляя к изданию свои переводы «Песен Анакреонта» и «Писем» Горация, Кантемир в каждой рукописи, помимо предисловия, представлявшего оценку творчества поэта, поместил посвященный ему биографический очерк — «Анакреонтова жизнь» и «Житие Квинта Горация Флакка».[25] Хотя эти переводы при жизни Кантемира не были напечатаны, они распространялись, как и многие другие его произведения, в списках, так что русскому читателю эти биографические очерки были известны. Но статья Баркова о Кантемире явилась первым в русской литературе примером подобного рода. За нею — через двадцать лет — последовала статья М. И. Веревкина «Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова»[26] в Полном собрании сочинений М. В. Ломоносова в издании Академии наук (ч. I. СПб., 1784, стр. I, III—XVIII), позднее она постоянно перепечатывалась в академических изданиях Ломоносова. Новиков предполагал поместить в первом томе дважды изданного им Полного собрания всех сочинений А. С. Сумарокова биографический очерк о нем, но, несмотря на печатные объявления об этом, замысла своего не осуществил; может быть, потому, что не считал нужным скрывать и не находил возможным прямо говорить о борьбе Сумарокова с Екатериной.

Во всяком случае по примеру Баркова и Веревкина с начала XIX в. стало обыкновением предварять издания произведений умерших писателей XVIII в. биографическими статьями о них.

С именем Новикова связано возникновение жанра журнальной литературно-биографической статьи. В ч. I «Древней российской вивлиофики» (1773, май, стр. 369—372) он поместил биографическое известие об Бургарде Адаме Селлии,[27] позднее перепечатанное в «Санкт-Петербургских ученых ведомостях» (1777, № 10, стр. 78—80: «Краткое описание жизни Никодима Селлия»).

В конце 70-х годов XVIII в. русская литературная наука обогащается еще одним жанром — журнальным некрологом. Первый случай подобного рода, известный нам,— это статья «Сокращенная повесть о жизни и писаниях покойного Александра

---

25 «Анакреонтова жизнь» и «Житие Квинта Горация Флакка» напечатаны в Сочинениях Кантемира под редакцией П. А. Ефремова (т. I. СПб., 1867, стр. 342 и 387—388).

26 Д. С. Бабкин. Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками. — Ломоносов Сб. II. М.—Л., 1946, стр. 5—70; биография Ломоносова, писанная М. И. Веревкиным, перепечатана там же (стр 56—63), где и примечания к ней (стр. 63—64). О принадлежности данной биографии Веревкину см.: С. И. Пономарев. Материалы для библиографии литературы о Ломоносове. СПб., 1872, стр. 13—14 (прим. Л. Н. Майкова); Сочинения К. Н. Батюшкова, т II С прим. Л. Н. Майкова и В И Саитова. СПб., 1885, стр. 474.

27 Во 2-м издании «Древней российской вивлиофики» оно напечатано в т. XVI, стр. 39—41 («Известие о сочинителе Исторического зерцала»).

Петровича Сумарокова», напечатанная в «Санкт-Петербургском вестнике» (1778, ч. I, январь, стр. 39—48).

Особый интерес представляет жанр, широко распространенный в последней трети XVIII и начале XIX в. и являющийся одновременно и историко-литературным, и критическим, и в то же время художественно-поэтическим,— так называемая стихотворная «надпись к портрету». Этот жанр, составлявший разновидность жанра «надписи» вообще, требовал предельной краткости и помещения «таких описуемого предмета принадлежностей, коими он наиболее привлекает к себе внимание и коими отличается от всех прочих предметов».[28]

Первая такая «надпись» была помещена в т. I Собрания сочинений в стихах и в прозе Ломоносова, изданном Московским университетом в 1757 г.: «Московский здесь Парнас изобразил витию». В соответствии с требованиями жанра эта «надпись» перечисляла заслуги Ломоносова перед русской культурой.[29] Она послужила образцом для последующих произведений этого рода, которые появились, впрочем, лишь двадцать лет спустя. В № 1 «Санкт-Петербургских ученых ведомостей» (1777) в предисловии редакция обратилась к господам российским стихотворцам с предложением «сочинить надписи Феофану Прокоповичу, к. Антиоху Кантемиру, Николаю Никитичу Поповскому, в науках прославившимся мужам...» На призыв редакции откликнулись Ф. Козельский (№ 11, стр. 87—88), М. Н. Муравьев (№ 15, стр. 115), В. И. Майков (№ 22, стр. 171—172), приславшие надписи к портретам всех трех писателей (Майков прибавил еще надпись к портрету Ломоносова),[30] и И. И. Дмитриев (№ 15, стр. 117), ограничившийся одной только надписью «К. Антиоху Димитриевичу Кантемиру». Редакция выступала несколько раз с замечаниями по поводу этих произведений (№ 11, стр. 88; № 12, стр. 89—90; № 15, стр. 117; № 22 стр. 172—

[28] Н. Ф. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. II. СПб, 1821, стр 204. — Зачатки этого жанра относятся к самому концу 20-х годов XVIII в., когда Феофан Прокопович написал стихотворение «К творцу сатиры „К уму своему" („Не знаю, кто ты, пророче рогатый ..")» В дальнейшем этот жанр сливается с жанром стихотворного послания — «литературного портрета» (И. П. Елагин, Сумароков, В. Майков).

[29] Автором этой «надписи» Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» сначала назвал Н. Н. Поповского (П. А. Ефремов. Материалы.., стр. 66), а затем И. И. Шувалова (там же, стр. 121). Однако в последнем указании Новикова есть неясность: «некоторая особа» сообщила ему «достоверное известие», что «стихи к портрету г. Ломоносова» «сочинены г. графом Шуваловым». Как известно, И. И. Шувалов не был графом. Едва ли автором «надписи» мог быть граф Андрей Петрович Шувалов, хотя он писал французские, а возможно, и русские стихи: с октября 1756 г. по август 1759 г., т. е. как раз во время печатания Сочинений Ломоносова, А. П. Шувалов был в заграничном путешествии. Таким образом, вопрос об авторе «Стихов к портрету г. Ломоносова» по-прежнему остается открытым.

[30] «Надписи» В. Майкова не вошли ни в одно издание его сочинений. Они перепечатаны в «Хрестоматии критических материалов по русской литературе XVIII века» А. Д. Оришина (Львов, 1959, стр. 12)

174). Помещая в последнем номере журнала «надписи» В. И. Майкова, она наметила ряд новых тем, характеризующих ее представления о литературном «каноне» второй половины XVIII в.: редакция просила прислать надписи к портретам Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, В. И. Майкова и др.

Обращает на себя внимание, что среди перечисленных писателей отсутствует Фонвизин, очевидно в это время еще не настолько выдвинувшийся, чтобы удостоиться «надписи». Нет среди них и Ф. Эмина, Я. Б. Княжнина, И. Ф. Богдановича.

Поэтому вопрос о принципах отбора канонических имен в тот или иной период истории литературы не следует решать прямолинейно; необходимо всякий раз осторожно анализировать литературную обстановку, учитывать по мере возможности отношения между писателями и лишь тогда определять, чем можно объяснить включение в список того или иного писателя (например, В. Петрова) и отсутствие другого (например, Фонвизина).

Как уже отмечалось, в распоряжении Новикова, а значит, и других лиц, занимавшихся в XVIII в. историей русской литературы, было очень мало пособий. В Петербурге была только одна государственная библиотека — императорская; так называлась библиотека Академии наук, доступ к которой посторонним лицам был строго воспрещен. Новиков в порядке исключения получил от Екатерины право пользования книгами и рукописями императорской библиотеки и, что еще важнее, право издания документов. Екатерина II рассчитывала, что эта работа может отвлечь Новикова от неприятной полемики, которую он вел с ней в «Трутне», «Пустомеле» и «Живописце», и предписала директору Московского императорского архива Г. Ф. Миллеру «сообщать», т. е. присылать, Новикову копии разных исторических материалов. Этим правом он достаточно широко воспользовался: в «Древней российской вивлиофике» (в обоих изданиях) наряду с документами историческими Новиков напечатал несколько произведений русской литературы XVII в., например «комедии» Симеона Полоцкого, «Плач и утешение» и другие вирши Сильвестра Медведева и т. п.

Новиков обращался также к материалам, хранившимся в частных библиотеках,— Г. Ф. Миллера, кн. С. Д. Кантемира и др.

Можно с полным правом признать Новикова первым русским ученым — историком литературы. Никого равного ему по знаниям и по вкладу в историю русской литературной науки в XVIII в. не было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX в. — ПУШКИН

В научном сознании русских литературоведов первой четверти, даже первой трети XIX в. литература XVIII в. еще не выделилась в самостоятельный объект рассмотрения: она воспринималась как естественное начало, исток современной (для той эпохи) литературы, хронологически от последней не отграниченный и внутренне неразрывно с нею связанный. Однако и при таком недифференцированном подходе к явлениям литературы XVIII в. в тогдашнем литературоведении шла упорная и острая борьба за признание определенных авторов главными представителями литературы предшествующего периода, авторитетом своим упрочивающих современные литературные направления.

Неудивительно поэтому, что первые подобные оценки исходили от крупных писателей начала XIX в., с одной стороны, Карамзина,[1] Жуковского,[2] Батюшкова,[3] с другой — адмирала А. С. Шишкова, главы литературных староверов, проф. М. Т. Каченовского, издателя «Вестника Европы» (после Карамзина), и др.[4]

В работах этих авторов литература XVIII в. рассматривается как ценнейшее, образцовое наследие, мастерство отдельных представителей которого для молодых современных писателей недо-

---

1 «Пантеон российских авторов», 1801—1803; статья «О Богдановиче и его сочинениях», 1803; раздел, посвященный литературе, в «Историческом похвальном слове Екатерине II», 1803.

2 «О басне и баснях Крылова», 1809; «О сатире и сатирах Кантемира», 1809.

3 «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева», 1814; «О характере Ломоносова», 1815; «Вечер у Кантемира», 1816; «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», 1816.

4 Библиографию разработки истории русской литературы в первой половине XIX в. см. в кн.: Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы, изд. 2-е. М., 1924, стр. 244—246. — О позиции Каченовского см. превосходную статью В. В. Гиппиуса «Вестник Европы 1802—1830 годов». — Уч. зап. ЛГУ, 1939, № 46, стр. 212, 218 и 222.

стижимо. Вставал только вопрос, кому из классиков XVIII в. следует подражать, у кого учиться. При внимательном анализе всех этих статей складывается убеждение, что, восхваляя Ломоносова, Кантемира, Сумарокова, отчасти Хераскова и других писателей предшествовавшего столетия, молодые авторы начала XIX в. делали это скорее из вежливости, чем по искреннему чувству. «Соорудим новые статуи, естьли надобно; не будем разрушать тех, которые воздвигнуты благородною ревностию отцов наших!», — писал в 1802 г. Карамзин в статье о Сумарокове, опубликованной в «Пантеоне российских авторов».

Иначе к этому вопросу подходили Шишков, Каченовский и другие староверы. В их работах литература XVIII в. истолковывалась как непререкаемая норма, причем она резко противопоставлялась современной литературе и тем самым мешала развитию последней. Естественно, что такое реакционное использование литературы XVIII в. вызвало решительную оппозицию, в особенности в 20—30-е годы XIX в. (Пушкин, Белинский),—подробнее см. ниже.

Однако и в самом начале XIX в. наряду с «сооружением новых статуй», в первую очередь Карамзину, Жуковскому, Батюшкову и другим, их молодые современники стали энергично «разрушать» авторитеты писателей XVIII в.: Мерзляков развенчал Сумарокова, П. М. Строев «низверг кумир» Хераскова и т. д. Пересмотр старых авторитетов шел параллельно с попытками утвердить другую линию — передовую, реалистическую — в литературе XVIII в.: «. . .истинные дарования остаются иногда в неизвестности,— писал П. М. Строев,— Тысячи рукоплескают при представлении „Недоросля"; но многие ли понимают истинные достоинства сей комедии? Многие ли знают, что она достойна стоять наряду с „Мизантропами" и „Тартюфами"? Не стыдно ли даже нам, что мы не имеем полного собрания сочинений г. Фонвизина, сего бессмертного писателя, коим по всей справедливости мы можем гордиться».[5]

Еще раньше, в «Санкт-Петербургском журнале», также дана была чрезвычайно положительная характеристика литературного наследия Фонвизина: «Фон-Визина нет более!—Российский феатр лишился в нем своего Мольера, словесность нужнейшего ей сотрудника, члена, славу ей приносившего, отечество потеряло в нем верного сына, доброго гражданина.—Его нет более!—Но доколе свет наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и творения его останутся навсегда драгоценным памятником для его читателей».[6]

Между тем Карамзин не включил Фонвизина в «Пантеон российских авторов», что, впрочем, может быть, объясняется тем, что

---

[5] П. М. Строев. Письма о русской словесности. О Россияде, поэме г. Хераскова. — «Современный наблюдатель российской словесности», 1815, № 1, стр. 11.

[6] Санкт-Петербургский журнал, 1798, ч. III, стр. 65

портрет автора «Недоросля» предполагалось издать в невышедших в свет тетрадях «Пантеона». Однако имя Фонвизина не было упомянуто Карамзиным и в «Историческом похвальном слове Екатерине II», в разделе, где говорится об успехах литературы во второй половине XVIII в.: здесь называются только Херасков, Державин, Богданович и сама Екатерина. Естественно, что нет имени Радищева, жертвы Екатерины. Не упоминает о Фонвизине и Радищеве и Жуковский.

Зато у Батюшкова мы встречаем иные имена, иное понимание развития русской литературы. Кроме названных выше статей, Батюшков говорил о литературе XVIII в. в записной книжке «Чужое — мое сокровище»; среди тем для прозаических статей указано: «О сочинении Радищева», т. е., несомненно, о «Путешествии из Петербурга в Москву».[7] Далее в той же записной книжке набросан интереснейший план книги по истории русской литературы, где рассмотрение литературных материалов начинается с эпохи Петра I (языковых — с более ранних времен).[8] В этом контексте в сущности перечисляются все важнейшие литературные имена XVIII в., иногда суммарно («проповедники» в эпоху Петра, т. е. Феофан Прокопович в первую очередь), а чаще всего раздельно: от Кантемира и до второстепенных писателей второго десятилетия XIX в. Однако особый интерес представляет то, что ряд имен (Ломоносов, Фонвизин, Державин, Богданович, Херасков, Карамзин, Дмитриев, Озеров, Муравьев, Шишков) набран в разрядку, по-видимому потому, что с ними Батюшков связывал существеннейшие, узловые моменты литературного развития. Кроме них, Батюшков отмечает: «Хемницер. Крылов. Жуковский», «Новикова труды», «Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев». Имя Фонвизина он упоминает в связи с «образованием прозы».

Батюшков делает опыт периодизации литературного процесса XVIII—начала XIX в.: «Словесность надлежит разделить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонвизина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до времен наших. Сии эпохи должны быть ясными точками».[9]

Таким образом, среди молодых писателей начала XIX в. одни придавали важное значение сатирическому и реалистическому направлениям в русской литературе XVIII в., другие отрицали его и предпочитали Богдановича, Хераскова, Державина и Ломоносова.

Позиция Батюшкова была сложнее, чем просто эклектиче-

---

7 К. Н. Батюшков. Сочинения, т. II. Под ред. Л. Н. Майкова. СПб, 1885, стр. 288.

8 Там же, стр. 336—339. — В примечаниях к этому тому (стр. 468—528) Л. Н. Майков привел все суждения Батюшкова о русских писателях XVIII—XIX вв. Кроме того, в том же томе см. стр. 310—312 (о Хераскове), 344—347 (о Ломоносове), 361—362 и 366—367 (о Державине).

9 Там же, стр. 338.

ская. Д. Д. Благой, на наш взгляд, следуя традиции, слишком односторонне характеризует литературную ситуацию первых десятилетий XIX в.: «Борьба, как известно, шла в основном вокруг вопросов о языке и преимущественном значении тех или иных поэтических жанров... Батюшков в своей борьбе за новые жанры легкой поэзии стремился опереться на традицию обоих направлений нашей литературы XVIII в. — не только Карамзинской школы, но и классицизма».[10] Для Батюшкова развитие легкой поэзии было только частным моментом литературного процесса; он видел в этом процессе разные, враждебные друг другу направления и, судя по некоторым его замечаниям, с симпатией относился к Фонвизину, Радищеву, Пнину и Крылову, чего нельзя сказать о Карамзине и Жуковском.

К этому времени относятся и первые попытки собственно историко-литературного характера. Наиболее ранним опытом подобного обзора истории русской литературы был третий раздел «Краткого руководства к российской словесности» И. М. Борна (1808). В этом школьном учебнике XVIII веку уделена бо́льшая часть названного раздела (стр. 144—162). Дается беглый очерк русской литературы XVIII в., начиная с Петра Буслаева и Феофана Прокоповича и кончая Карамзиным. Сообщаются биографические даты каждого автора, перечисляются главные труды и присваиваются обычные в то время характеристики-этикетки, являющиеся свидетельством недооценки родной литературы: Феофан Прокопович — «русской Златоуст», Кантемир — «русской Буало», Хемницер — «русской Геллерт», деятельность Тредиаковского сравнивается с деятельностью Готшеда, а судьба Карамзина (в отношении неудачных последователей) — с судьбой Стерна.

Однако наряду с подобными шаблонами Борн проявляет и самостоятельность суждения. Посвящая рассмотрению деятельности некоторых писателей XVIII в. отдельные главки (Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, Новиков), других поэтов и прозаиков Борн характеризует суммарно, очевидно не придавая особого значения тому или иному из них. Так, о Фонвизине он пишет: «Прозу сего писателя... почесть можно составляющею новую в русской словесности эпоху. С каким искусством умел Ф. Визин совокуплять славянскую важность с чистотою русского языка. Он не писал по-славянски... Денис Иванович сочинил между прочим две комедии: Недоросля и Бригадира, которые будут жить вместе с русским языком. Желательно вскоре увидеть полное собрание всех сочинений и переводов сего остроумного и оригинального русского писателя».[11] Характерно, что Борн, впрочем уже после Карамзина, дал положительную оценку дея-

[10] Д. Д. Благой. Пушкин и русская литература XVIII века. — В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, стр. 104.

[11] И. М. Борн. Краткое руководство к российской словесности. СПб., 1808, стр. 154—155.

тельности Н. И. Новикова, которого он называет «мужем, отличившимся патриотическою ревностию в распространении успехов словесности»,[12] и подчеркивает, что Новиков «первый заложил библиотеку для чтения (cabinet de lecture) и сим средством много способствовал к распространению вкуса в отечественной словесности».[13]

Как известно, И. М. Борн входил в состав «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», объединявшего последователей Радищева и Пнина. Казалось бы, в обзоре истории русской литературы XVIII в. он, безусловно, должен был уделить внимание деятельности авторов «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Опыта просвещения относительно России», если уж упоминаются П. И. Голенищев-Кутузов и П. М. Карабанов. Однако и Радищев, и Пнин даже не названы Борном.

Несмотря на отсутствие имен Радищева и Пнина, историко-литературный обзор Борна проникнут демократическими тенденциями, и, может быть, этим объясняется несколько сдержанное отношение к Карамзину и его языковой реформе («проза сего писателя составила *как бы* новую эпоху в нашей словесности», стр. 160) и почти насмешливое отношение к карамзинистам.[14]

Значительные изменения произошли к этому времени в области «средств» исследования.

Со времен Новикова в России появляются «библиотеки для чтения», дававшие лицам, не имевшим доступа к императорской библиотеке, возможность следить за современной литературой и журналистикой. Особенное значение в начале XIX в. приобрела петербургская библиотека В. А. Плавильщикова, перешедшая затем по завещанию владельца к его приказчику А. Ф. Смирдину. Сначала Плавильщиков, а затем и Смирдин выпустили «Росписи» своих библиотек (1820—1826; 1828—1847), содержавшие огромное для того времени количество более или менее точных библиографических сведений (у Плавильщикова — 8840 номеров, у Смирдина — около 19 000), расположенных в систематическом порядке. «Росписи» эти стали одним из наиболее популярных пособий по русской библиографии, преимущественно XVIII в.[15] «Роспись» Плавильщикова была составлена В. Г. Анастасевичем.[16]

---

12 Там же, стр. 155.

13 Там же, стр. 156.

14 Мне представляется недоказанным утверждение проф. А. П. Скафтымова, что Борн — карамзинист. См. чрезвычайно ценную работу: А. П. Скафтымов. Преподавание литературы в дореволюционной школе. — Уч. зап. Саратовск. гос. пед. ин-та, 1938, вып. III, стр. 127.

15 О Плавильщикове и Смирдине см.: Н. В. Здобнов. История русской библиографии до начала XX века, изд. 3-е. М., 1955, стр. 158—162; М. В. Сокурова. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708—1955, изд. 2-е. Л., 1956, стр. 88—93 и 100—107; Н. П. Смирнов-Сокольский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М, 1957.

16 М. А. Брискман. В. Г. Анастасевич. М, 1958, стр. 161—233.

Еще бо́льшее значение для истории русской литературы вообще, для построений истории литературы XVIII в. в частности имело издание В. С. Сопиковым «Опыта российской библиографии» (1813—1821). Здесь впервые были приведены наиболее полные библиографические данные о русской литературной продукции XVIII в., и, хотя отсутствие вспомогательных указателей очень затрудняло пользование трудом Сопикова, несомненно именно благодаря ему могли оказаться столь богатыми в фактическом отношении историко-литературные работы последующих десятилетий, посвященные XVIII в. Как и упомянутые выше «Росписи» библиотек Плавильщикова и Смирдина, «Опыт» Сопикова до сих пор является одним из самых популярных источников по библиографии русской литературы XVIII в.[17]

Кроме частных «библиотек для чтения», большое значение для развития литературной историографии XVIII в. имело открытие Императорской публичной библиотеки (1814), русский фонд которой становился все более полным и доступным для исследователей. Отсутствие печатных каталогов Публичной библиотеки возмещалось превосходной осведомленностью библиографов, обслуживавших читателей.

Меньшую роль сыграли в этом отношении библиотеки библиофилов (гр. Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, купца И. Н. Царского и др.), внимание которых было направлено главным образом на собирание рукописной и старопечатной книги.[18] Однако и в этих библиотеках оказывались рукописи литературных произведений XVIII в., например сатир Кантемира, анонимных повестей и школьных драм XVIII в. и т. п.[19] Среди подобных библиофильских библиотек особенно должны быть отмечены две: а) гр. Н. П. Румянцева,[20] пожертвованная его братом С. П. Румянцевым после смерти владельца Императорской публичной библиотеке и потом переданная в дар городу Москве; объединенная с Историческим музеем, она стала основой нынешней Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина; б) А. Д. Черткова, состоявшая из книг по истории, географии, культуре России. Изданный дважды каталог чертковской библиотеки[21] был

---

[17] Об общественно-политических и специально библиографических взглядах Сопикова см.: П. Н Берков. Идеологическая позиция Сопикова в «Опыте российской библиографии». — «Советская библиография», 1933, № 1—3, стр. 139—155; ср. также: Н. В. Здобнов История русской библиографии.., стр. 174—184; М. В. Сокурова. Общие библиографии русских книг. , стр. 75—87.

[18] О них см.: Н. В. Здобнов. История русской библиографии.., стр 192—194.

[19] К. Калайдович и П. Строев. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке... графа Ф. А. Толстого. М., 1825, стр. LIII—LIV (7. Произведения словесности).

[20] А. Х. Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.

[21] Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях. М, 1838; изд. 2-е, 1863.

очень ценным источником и для изучения истории литературы XVIII в. Сейчас это собрание входит в состав Государственной исторической библиотеки (Москва).

Естественно, что одни библиографические пособия не могли удовлетворить потребностей тогдашних исследователей литературы XVIII в.: сведения биографические были не менее необходимы. В ответ на эту потребность в журналах первой трети XIX в. появляется довольно большое число биографических очерков о писателях предшествующего периода, печатаются «анекдоты», т. е. неизданные до того времени факты из жизни, иногда публикуются по рукописям неизвестные произведения или документальные материалы о служебной деятельности.

Однако бо́льшее научное значение, чем эти случайные данные, имели некоторые из вышедших в это время в свет словарей писателей.

Наиболее значительными были словари митрополита Евгения (Болховитинова) (1767—1837). Сначала биографические материалы, собранные Евгением, публиковались в журнале «Друг просвещения» (1805—1806),[22] затем в «Сыне отечества» (1821—1822).[23] Здесь биографии писателей светских и духовных печатались вперемежку. Позднее Евгений отделил материалы о писателях из духовенства в особый «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (2 ч. СПб., 1818; изд. 2-е, СПб., 1827). «Словарь русских светских писателей, соотечественников и иностранцев, писавших в России», выделенный из громадной авторской рукописи, был издан дважды: в 1838 г. И. М. Снегиревым (т. I, от А до Г) с дополнениями издателя и в 1845 г. М. П. Погодиным в двух частях по рукописи Евгения (ценные материалы Снегирева сюда не вошли).[24]

Основной тезис работ Евгения таков: в истории русской литературы роль духовенства в прошлом и даже настоящем (т. е. до начала XIX в.) чрезвычайно велика, и если писатели «духовного чина» играют не первенствующую роль, то во всяком случае их значение не следует преуменьшать. Кроме этой клерикальной установки, для словарей Евгения характерна тенденция излагать жестокую политику Екатерины II в отношении передовых писателей в «смягченном виде»: например, в биографии Радищева Евгений утверждает, что автор «Путешествия» был сослан в Казань (а не в Илимск) и умер от чахотки, а не покончил самоубийством. Об аресте и заключении Новикова в крепость не сказано ничего.

---

22 Евгений. Новый опыт исторического словаря о российских писателях. — «Друг просвещения», 1805, №№ 1—12; 1806, №№ 1—12.

23 Евгений. Биографии древних российских писателей. — «Сын отечества», 1821, ч. LXVIII—LXXIV; 1822, ч. LXXV—LXXVII.

24 О словарях Евгения см.: И. М. Кауфман. Русские биографические и биобиблиографические словари. М., 1955, стр. 288—294.

Впрочем, словари Евгения в основном стали выходить уже тогда, когда лексикографическая форма истории русской литературы утрачивала значение основного литературоведческого жанра, как было во второй половине XVIII в., и приобрела функцию справочную, уступая место иным историко-литературным формам, существовавшим в зачаточном виде и раньше, но окончательно утвердившимся к этому времени. Так, прежние «истории российского стихотворства» и «истории просвещения в России» в начале XIX в. объединяются, и возникает новая форма — «история российской словесности» или «литературы».

В сущности уже упоминавшееся выше «руководство» И. М. Борна представляло пример такого объединения «истории просвещения» и «истории стихотворства», но школьное назначение книги не позволило автору подробно изложить материалы обеих линий литературного развития.

Завершением этого направления в русской литературной историографии явился «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча (1822).

В годы, предшествовавшие восстанию декабристов, Греч не был еще тем одиозным соратником Фаддея Булгарина, каким он вошел в историю русской литературы и культуры. В «Опыте» Греч выступает как либерал, даже как своеобразный демократ. В противовес историкам литературы, стоявшим на дворянско-буржуазных позициях «просвещенного абсолютизма» как основного и едва ли не единственного двигателя литературного развития, Греч высказывает идею народного, самобытного возникновения литературы и даже ее прогресса. Для Греча «словесность... есть свободный, добровольный плод земли отечественной· меры правительства могут способствовать ее возвышению и уничтожению, но произвесть ее не могут: она рождается сама собою или, по крайней мере, чрез долгое время после посева».[25]

Характеризуя современное ему состояние литературы, Греч писал: «Высшие сословия русского народа принимают участие в успехах отечественной словесности, и люди низкого звания стараются облагородить ею свое существование. Плоды сих усилий, сего соревнования не могут быть обманчивы: если б надлежало в коротких словах означить отличительный характер литературы в наше время, то мы сказали бы, что при императрице Елисавете науки, искусства и словесность существовали для двора; при Екатерине двор занимался ими, желая поселить их в народе, а ныне россияне сами находят славу и наслаждение свое в сих дарах неба и благословляют Александра, великодушно доставляющего им средства вкушать сии сладостные плоды мира и просвещения».[26]

---

[25] Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы. СПб, 1822, стр. 101—102.

[26] Там же, стр. 262—263

XVIII веку Греч уделил почти половину книги (из 348 страниц — 147). Здесь значительно расширена количественная сторона материала, введены, по сравнению с трудом Борна, такие писатели, как Илья Копиевич, Семен Климовский, Кирша Данилов и др. Впрочем, при изложении истории литературы второй половины XVIII в. Греч скупее, чем можно было бы ожидать; он останавливается только на важнейших писателях, далеко не используя всего того, что можно было почерпнуть у Новикова.[27]

Книга Греча вызвала живейший интерес у читателей и послужила поводом к оживленной полемике, в которой приняли участие декабристы (см. ниже).[28] Несмотря на полусловарный характер, «Опыт краткой истории русской литературы» Греча наряду со словарями Евгения и библиографиями Сопикова и Смирдина долгие годы являлся источником для исследователей и преподавателей литературы XVIII в.

Одновременно с выходом в свет книги Греча к изучению истории русской литературы обратились декабристы — В. К. Кюхельбекер и А. А. Бестужев. Наиболее ранним выступлением является статья В. К. Кюхельбекера «Coup d'oeil sur l'état actuel de la littérature russe» (Взгляд на нынешнее состояние русской литературы) во французской газете, издававшейся в Петербурге, «Conservateur impartial» (1817, n⁰ 77, стр. 380).[29] Очевидно, Кюхельбекер предполагал дать более или менее подробную картину развития русской литературы второго десятилетия XIX в. (его «Взгляд» имеет подзаголовок «Статья первая», хотя продолжения не было); поэтому начало статьи представляло историческое введение, предлагающее не лишенную интереса схему историко-литературного процесса XVIII в. Зарождение русской литературы Кюхельбекер относит к царствованию Анны и Елизаветы; далее, по его словам, идет полоса господства французского классицизма, когда «не хотели признавать стихами ничего нерифмованного», когда «не существовало иных образцов, кроме тех, ко-

---

[27] О Грече см: В. Н. Перетц. К столетию «истории» русской литературы. Известия ОРЯС, т. XXVIII, 1923, стр. 200—213. А. С. Архангельский. Введение в историю русской литературы, т. I. История литературы как науки. Очерк научных изучений в области истории русской литературы. Пг., 1916, стр. 222—226.

[28] Несмотря на свои слабые стороны, книга Греча сыграла определенную роль в формировании славянского литературоведения. Она была переведена на польский язык под редакцией С. Б. Линде и с дополнениями последнего издана под названием «Mikolaia Grecza Rys historyczny literatury Rossyyskiey» (Warszawa, 1823). О значении книги Греча для чешского литературоведения см. ст.: А. С. Мыльников. История Й. Юнгмана и «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И Греча. — «Slavia», 1958, seš 2, str. 241—257.

[29] В. В. Гиппиус «Вестник Европы» 1802—1830 годов. — Уч зап. ЛГУ, 1939, № 46, стр. 218. — Перевод статьи Кюхельбекера см.: «Вестник Европы», 1817, ч 95, № 22, стр. 154—157. — Ответ Кюхельбекеру за подписью В. С (В Соц?) см.: «Вестник Европы», 1817, ч. 96, № 23 и 24, стр. 193—204.

торые были признаны Лагарпом», когда «не признавали великих немецких и английских поэтов». Затем упоминаются «усилия Радищева, Нарежного и еще кое-кого, усилия, которые, может быть, со временем будут оценены». К ним примыкает А. Х. Востоков, за которым следуют Гнедич и Жуковский. На этом короткая статья Кюхельбекера обрывается.

Хотя статья Кюхельбекера содержит не слишком много фактических данных по литературе XVIII в., она все же чрезвычайно интересна попыткой выделить особую линию — «усилия» Радищева, Нарежного и «еще кое-кого», возможно И. П. Пнина и его последователей. Упоминание о Радищеве при умолчании о нем Борна и Греча, сочетание имен Радищева и Нарежного как представителей особой линии, прогрессивной по отношению к другим литературным течениям конца XVIII — начала XIX в.,— все это служит показателем не только литературных, но и политических позиций Кюхельбекера. Как известно, когда позднее Кюхельбекер читал в Париже курс лекций о древнем периоде русской литературы и связывал ее развитие с политической структурой России, чтение это было прервано по требованию русского посла во Франции.[30]

Рассмотрению истории русской литературы XVIII в. уделил много внимания А. А. Бестужев в своей нашумевшей статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (альманах «Полярная звезда на 1823 г.»). Бегло и импрессионистически определяя заслуги и историческое место писателей XVIII в. в развитии руского языка и литературы, Бестужев как бы сформулировал декабристское отношение к «наследству» XVIII в. и вообще ко всей предшествующей русской литературе. Он не высказывал своих мыслей прямо и отчетливо, заставляя больше догадываться о своих позициях, чем давая непосредственный для этого материал. Так, он с самого начала ставит в зависимость замедление «хода просвещения и успехов словесности в России» от «политических препон».[31] Указывая в другой статье, что «под политической печатью „словесность кружится в обществе“»,[32] Бестужев в «Полярной звезде» старается между строк внушить читателю мысль, что политическая скованность русских писателей XVIII в. была причиной специфических форм развития русской литературы, как и «феодальная умонаклонность многих дворян».[33] Осторожно намекая на реакционность политических

[30] См.: Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная в Париже в 1821 г. Публикация и предисловие П. С. Бейсова. Статья Б. В. Томашевского «Вопросы языка в парижской лекции Кюхельбекера». — Литературное наследство, т. 59, 1954, стр 345—380 (французск. текст лекции — стр. 366—374; русск. перевод — стр. 374—380).

[31] Полярная звезда на 1823 г., стр. 3. — Перепечатано в кн.: А. А. Бестужев-Марлинский. Соч в двух томах, т. II. М., 1958, стр. 522.

[32] Полярная звезда на 1824 г., стр. 7.

[33] Полярная звезда на 1823 г., стр. 41; см. также: А А. Бестужев-Марлинский. Соч., т. II, стр. 538.

взглядов Карамзина («время рассудит Карамзина как историка» — стр. 15), Бестужев тем не менее признает его заслуги в усовершенствовании русского литературного языка.

Разделяя популярную в конце XVIII — начале XIX в. «климатологическую» теорию в литературоведении, согласно которой характер литературы определяется местожительством народа, создавшего ее, Бестужев начинает свой обзор риторическим вопросом: «...Подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности?» (стр. 4—5). После беглого обзора древнерусской литературы и народной поэзии, «одним шагом» переступив «расстояние пяти столетий», Бестужев сжато характеризует деятельность Феофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова и др. Высоко оценив роль Екатерины II в развитии русской литературы («наконец, настало золотое время для словесности и ученых... Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством» — стр. 10), Бестужев с большей или меньшей похвалой отзывается о В. Петрове, Хераскове, Богдановиче, Хемницере, Фонвизине («в комедиях своих „Бригадире“ и „Недоросле“ в высочайшей степени умел схватить черты народности» — стр. 12), Капнисте, Кострове, Княжнине и подробнее всего о Державине (стр. 13—14), затем о Карамзине и пр.

Таким образом, у Бестужева перечислены все крупные писатели XVIII в., за исключением Новикова и Радищева; последнее едва ли вызвано давлением цензуры (в эти годы цензура была мягче, чем в начале века). Кюхельбекер и во французской статье, и в русском ее переводе охарактеризовал Радищева как поэта.

Не отдавая явного предпочтения сатирической линии в русской литературе XVIII в., Бестужев все же представил довольно яркую картину ее развития.

* *
*

В работах декабристов по истории русской литературы XVIII в. (в основном в статье Бестужева) чрезмерное внимание уделялось ее подражательности и переоценивалась роль монархинь — Елизаветы и в особенности Екатерины II. Поэтому те несомненные прогрессивные элементы, которые свойственны историко-литературным выступлениям декабристов — выдвижение проблемы «народности», борьба с классицизмом за новый литературный язык, своеобразная постановка вопроса о национальной самобытности русского литературного процесса, — меньше всего были ощутимы в декабристских анализах литературы XVIII в.

Сохраняя ряд общих точек зрения с декабристами на русский литературный процесс в целом и, в частности, на литературу XVIII в., Пушкин ушел от них далеко вперед, во многом прибли-

жаясь к нашим современным взглядам на важнейшие проблемы литературного развития, начиная с царствования Екатерины II.

Вопрос об отношении Пушкина к литературе XVIII в. неоднократно привлекал внимание крупнейших пушкинистов. С. М. Бонди в содержательной статье «Историко-литературные опыты Пушкина»[34] свел воедино почти все, что относится к самостоятельным попыткам Пушкина в данном направлении. Однако, ограничив свои задачи рассмотрением материалов, относящихся только к неосуществленному историко-литературному замыслу поэта, С. М. Бонди обошел прочие данные, говорящие о трактовке Пушкиным литературы XVIII в.

Эту ошибку исправил Д. Д. Благой в интересной и ценной работе «Пушкин и русская литература XVIII века»,[35] первая часть которой озаглавлена «Русская литература XVIII века в сознании и оценке Пушкина» (стр. 101—138). Здесь рассмотрены личные отношения Пушкина к писателям XVIII в., еще продолжавшим действовать на литературном поприще, его стихотворные, эпистолярные и критико-журнальные отзывы о деятелях того столетия, перечислены книги тогдашних поэтов и прозаиков, сохранившиеся в его библиотеке, по-новому, с привлечением свежих материалов проанализированы пушкинские историко-литературные фрагменты и наброски. В итоге получилась как бы исчерпывающая работа.

Однако С. М. Бонди и Д. Д. Благой рассматривали взгляды Пушкина на литературу XVIII в. в отрыве от литературно-историографических споров того времени. У Благого есть, правда, отдельные замечания о позиции Батюшкова в оценке литературы XVIII в., высказаны убедительные соображения о связи пушкинского отрывка «Отчего первые стихотворения были сатиры» с соответствующим местом в «Литературных мечтаниях» Белинского,[36] но эти верные наблюдения и замечания без учета того литературно-историографического фона, на котором выступали опыты Пушкина, не дают полного представления о самостоятельности, свежести и главное — правильности взглядов поэта на литературу XVIII в., не позволяют понять полемичности пушкинской концепции русского историко-литературного процесса XVIII в.

Это прежде всего становится очевидным при рассмотрении отношения Пушкина к Радищеву, Фонвизину и Екатерине II.

Не все литературные имена XVIII в., как известно, были близки и дороги Пушкину. Самое высокое проявление русского литературного самосознания XVIII в. воплощалось для него в имени Радищева. И именно эта идеологическая, общественная направ-

---

[34] Литературное наследство, т. 16—18, 1934, стр. 421—442

[35] В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы, стр. 101—166

[36] Там же, стр. 134—137.

ленность определенной линии литературы XVIII в. связывает зрелого Пушкина с предшествовавшим ему столетием. Интерес к Радищеву, проявившийся у Пушкина в самые ранние годы, не пропал у него и позднее. В письме к А. Бестужеву от 13 июня 1823 г. по поводу статьи «Взгляд на старую и новую словесность в России» Пушкин упрекал своего адресата: «Жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание не простительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не ожидал».[37] И как бы потом Пушкин ни утверждал, вероятней всего из тактических или цензурных соображений, что никогда не считал «Радищева великим человеком», что «поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственною книгою» (XII, 32), все же остается незыблемым факт: в том же 1836 г., когда была написана цитированная статья, свои права на признательность народа поэт видел в том, что «вслед Радищеву восславил <...> Свободу».

От Борна и до Греча и Бестужева (за исключением одного только Кюхельбекера) намечается одна и та же линия — сознательного или бессознательного, вынужденного или добровольного замалчивания Радищева. Поэтому неоднократные попытки Пушкина так или иначе напомнить русскому обществу о Радищеве, привлечь к нему и его книге внимание были важнейшим моментом в историко-литературной позиции поэта, решительно отличавшим ее от всех предшествовавших и последующих характеристик литературы XVIII в.

Д. Д. Благой отмечает, что «изо всех писателей XVIII в. к Фонвизину Пушкин вообще относился с наибольшим сочувствием, считая его единственным представителем нашей литературы XVIII в., ряд произведений которого состоит из чистого золота, без малейшей примеси свинца».[38] Однако это безусловно правильное замечание Д. Д. Благого приобретает еще бóльшее значение и историко-литературный вес, если мы вспомним, как с «Санкт-Петербургского журнала» И. П. Пнина и А. Ф. Бестужева шла упорная борьба за признание особой роли Фонвизина в развитии русской литературы. А роль эту явно суживали и в 20-е, и в 30-е годы.

Так, например, Греч пишет о «Недоросле» следующее: «Из сочинений его превосходнейшее есть комедия „Недоросль“: хотя изображенные в ней характеры уже начинают у нас выводиться, но она никогда не потеряет цены своей по множеству острых, комических мыслей и забавных сцен. Можно сказать, что сия комедия принесла у нас большую пользу: ее влиянию отчасти

---

[37] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16 томах, т. XIII. М.—Л., Изд. АН СССР, 1937, стр. 64. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

[38] В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы, стр. 133.

до́лжно приписать перемену в образе жизни и мыслей некоторых сельских дворян».[39] Не особенно далек от гречевской характеристики «Недоросля» и отзыв А. А. Бестужева (частично цитированный выше): «Фонвизин, в комедиях своих „Бригадире“ и „Недоросле“, в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические <то есть сатирические> творения будут драгоценными для потомства как *съемок* (fac simile) нравов того времени».[40]

На фоне подобных высказываний о «Недоросле» особый смысл приобретает настойчивое подчеркивание Пушкиным того, что «Недоросль» — комедия народная. Очевидно, подобная оценка «Недоросля» была старым и прочным суждением Пушкина о комедии Фонвизина. Начиная с «Послания цензору» (1822), где молодой поэт писал:

сатирик превосходный
Громил невежество в комедии народной, —

продолжая «Опровержением на критики» (1830), в котором, хотя и мимоходом, упомянут «Недоросль», «сей единственный памятник народной сатиры» (XI, 155), Пушкин связывает пьесу Фонвизина с кругом своих идей о «народной драме», «народной сатире», «народной комедии». В неоконченной статье «О народной драме и драме „Марфа Посадница“» (1830) Пушкин, подчеркивая роль смеха в драматическом действии и указывая, что «древние трагики пренебрегали сею пружиною», писал: «Народная сатира овладела ею исключительно и приняла форму драматическую, более как пародию. Таким образом родилась комедия — со временем столь усовершенствованная» (XI, 178). Далее, отметив, что ни одна русская трагедия не стала народной драмой, Пушкин прибавил: «Комедия была счастливее. Мы имеем две драматические сатиры» (XI, 178—180).

Можно гадать, что разумел Пушкин под второй «драматической сатирой» — «Горе от ума» или «Бригадир», но что первой он считал «Недоросля», в этом сомнения нет.

В отличие от Греча и Бестужева, явно недооценивавших народный характер фонвизинской комедии и видевших в ней только изображение нравов сельских дворян с игрой их мелких страстей, Пушкин постиг реалистический, глубоко национальный смысл деятельности Фонвизина и называл его «сатиры смелой властелином» и «другом свободы».

Наконец, чтобы правильно понять пушкинскую оценку литературы XVIII в., надо остановиться на его трактовке деятельности Екатерины II. И в этом вопросе Пушкин решительно расходился со своими предшественниками. В то время как Греч, Бе-

---

[39] Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы, стр. 197.
[40] Полярная звезда на 1824 г, стр. 12.

стужев, Н. Полевой, Вяземский и даже молодой Белинский в «Литературных мечтаниях» превозносили Екатерину II как государственного деятеля и истинную покровительницу русской литературы, Пушкин с кишиневских «Заметок по русской истории XVIII в.» и до последних дней своей жизни занимал резко отрицательную позицию в отношении «Тартюфа в юбке и короне».[41]

Советскому читателю не всегда понятна сложность оценок личности и царствования Екатерины II в первой половине XIX в. и даже несколько позднее. Александр I, вступивший на престол в результате отцеубийства, естественно стремился всячески подчеркнуть связь своей политической линии с деятельностью «любимой бабки», Екатерины II. При нем был официально прокламирован культ Екатерины, «мудрой», «либеральной», «великой». По любому поводу покойная императрица неумеренно восхвалялась, притом в такой форме, что бо́льшая доля лучей этой славы освещала Александра. Постоянное прославление Екатерины II, продолжавшееся четверть века, сделало свое дело: создалась прочная концепция «блистательного» во всех отношениях царствования Екатерины II.

В подобных условиях резким диссонансом призвучали неопубликованные при жизни Пушкина «Заметки по русской истории XVIII в. № 1».

В оценке Пушкина Екатерина II предстает со всеми присущими ей противоречиями; поэт отмечает значение ее военных мероприятий для последующего роста политического могущества России и с гениальной прозорливостью, поразительной даже для двадцатитрехлетнего Пушкина, выносит «египетский суд», как он любил позднее говорить, решительный, нелицеприятный, строгий и справедливый: «...со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия,— и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России» (XI, 16).

Эти страшные слова, остававшиеся до второй половины XIX в. вовсе не известными и долго не пропускавшиеся полностью в печать, не были результатом минутного заблуждения Пушкина, они не сменились позднее какой-либо положительной переоценкой Екатерины II и ее царствования. Об этом свидетельствует анализ всех последующих пушкинских высказываний о Екате-

---

[41] См.: П. Н. Берков Пушкин и Екатерина II. — Уч. зап. ЛГУ, 1955, № 200, сер. филолог. наук, вып. 25, стр. 212—225. — Интересные соображения о том, что Пушкин, резко критикуя внутреннюю политику Екатерины II, признавал ее исторические заслуги в области внешней политики, см. в кн.: Анна Чхеидзе. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Ред. и предисл. Д. Д. Благого. Тбилиси, 1963, стр. 37—38.

рине II, т. е. тех, в которых он от своего имени, а не от лица героев своих произведений (например, Маши Мироновой) характеризует императрицу. А это обстоятельство имеет исключительное значение при рассмотрении историко-литературных взглядов Пушкина. Без уяснения пушкинской трактовки Екатерины II нельзя понять известные наброски его статьи «О ничтожестве литературы русской», над которой он работал в последние годы жизни (1834) и которая является итогом всех его размышлений об истории русской литературы XVIII в.

Первые разделы конспекта этой статьи, упоминающие Кантемира, Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского, при всей лаконичности все же показывают расхождения Пушкина с его предшественниками и современниками в понимании начальных путей русской литературы. В то время как для всех литературных историографов XVIII и начала XIX в. Кантемир всегда и неизменно был только автором сатир, Пушкин отмечает, очевидно придавая этому существенное значение, его переводы Горация. Иными словами, Пушкин хочет показать многообразие и широту поэтических интересов Кантемира, выступает против обеднения его вклада в русскую литературу.

Краткая характеристика Ломоносова: «плененный гармонией рифмы, пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc» — не оставляет сомнений в желании Пушкина изложить давно уже устоявшиеся у него взгляды на деятельность и историческое значение своего великого предшественника.

В цитированной выше статье Д. Д. Благого почти исчерпывающе собраны материалы, раскрывающие отношение Пушкина к Ломоносову.[42] Однако ограничиться сопоставлением и приведением отдельных оценок, данных Пушкиным Ломоносову, нельзя.

Не следует забывать, что влиятельные литературные рутинеры постоянно превозносили деятельность писателей XVIII в. с целью принизить в глазах читателей творческую оригинальность Пушкина. Именно этим обстоятельством объясняется некоторая несправедливость Пушкина в оценке отдельных писателей и явлений литературы XVIII в. Достаточно прочесть нижеследующий отрывок из черновика статьи, условно называемой «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835), чтобы почувствовать полемическую позицию Пушкина. Говоря о Ломоносове, он пишет: «Его влияние было вредное и до сих пор еще отзывается в тощей нашей литературе. Изысканность, высокопарность, отвращение от простоты и точности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли

[42] В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы, стр. 117—118.

писать: *да лобжет мя лобзанием,* вместо *цалуй меня?* etc.[43] Знаю, что Ломоносов того не думал и что он предлагал изучение славенского языка как необходимое средство к основательному знанию языка русского. [Знаю, что *Рассуждение о старом и новом слоге* так же походит на *Слово о пользе книг церковных в российском языке,* как псалом Шатрова на *Размышление о величестве божием.* Но тем не менее должно укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных его последователей]» (XI, 226).

Следовательно, при анализе конспекта статьи «О ничтожестве литературы русской», как той части, которая относится к Ломоносову, Сумарокову и Тредиаковскому (по словам Пушкина, это «один понимающий свое дело»), так и других частей, нельзя упускать из виду «двустороннюю» позицию поэта: историко-литературную и современно-полемическую.

Однако наибольший интерес и наибольшую трудность для понимания представляет следующий, по пушкинскому счету — четвертый, пункт конспекта. Привожу это место в своем чтении:[44]

«4) Екатерина, ученица 18-го столе[тия]. Она одна дает толчек своему веку. Ее угождения философам. Наказ. Екат[ерина]. Ф[он]Визин и Радищ[ев]. Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ (члены ко[миссии] — депутаты). Державин, Богданович, Дмитриев, Карамзин (Радищев)».

Пушкин не счел нужным раскрыть свое понимание отдельных тезисов конспекта. В результате этого неясно, являются ли слова «Екатерина, ученица 18-го столе[тия]» и «Она одна дает толчек своему веку» утверждениями самого поэта или это только записанные им общепринятые взгляды, с которыми он полемизирует.

Мне кажется, что правильно именно последнее предположение. Отправляясь от традиционной для той эпохи оценки личности и деятельности Екатерины II, вероятно, даже цитируя какого-то определенного автора, Пушкин всем последующим изложением опровергает эту характеристику и показывает «Северную Семирамиду» в подлинном историческом свете. Иное понимание анализируемого отрывка должно привести к заключению, что пер-

---

[43] Ср., однако, в стихотворении «В крови горит огонь желанья» (1825):

Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.

[44] По факсимиле, приложенному к Трудам Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (вып. III. М., 1934). Транскрипция и сводный текст М. А. Цявловского на стр. 19—21 этого издания, сводка С. М. Бонди в «Литературном наследстве» (т. 16—18, стр. 440) и дальнейшие перепечатки в академическом и других изданиях сочинений Пушкина представляются мне не вполне отражающими ход мыслей поэта. В академическом издании (т. XI, стр. 496) вместо «угождения» напечатано «угождение», слова «Ек[атерина]. Ф[он]Визин и Радищ[ев]», написанные сбоку слева от фразы «ее угождения философам Наказ», почему-то перенесены в конец абзаца, чем нарушается последовательность мыслей Пушкина.

вая часть пушкинской концепции противоречит второй: если Екатерина одна дает толчок своему веку, то почему словесность, как и народ, отказываются следовать за нею? Если она — ученица XVIII столетия, зачем же говорить о ее угождениях философам, т. е. отмечать ее неискренность, преднамеренные заискивания перед философскими авторитетами эпохи?

Для правильного понимания этого раздела пушкинского плана статьи «О ничтожестве литературы русской» необходимо привлечь «Заметки по русской истории XVIII в. № 1» в той их части, где речь идет о царствовании Екатерины II. В этих заметках также подчеркивается «отвратительное фиглярство» Екатерины II «в сношениях с философами ее столетия». При истолковании записи Пушкина «Наказ» следует помнить то, что говорил Пушкин об этом произведении Екатерины в «Заметках»: «Наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный Наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования» (XI, 17). Сочетанию имен «Екатерина. Фонвизин и Радищев» соответствует в «Заметках» следующее место: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность» (XI, 16).

Эти слова, впрочем, могут иметь, как мне кажется, и другое значение, в зависимости от того, где их поместить (Пушкиным они приписаны на полях). Если считать, что слова «Ее угождения философам» и «Наказ» являются ответом Пушкина на чей-то оспариваемый им тезис «Екатерина, ученица 18-го столе[тия]», то, очевидно, фраза: «Она одна дает толчек своему веку» — опровергается всем дальнейшим содержанием анализируемого отрывка. В таком случае выходит, что в противовес мысли о роли Екатерины II в развитии русской литературы XVIII в. Пушкин выдвигает тезис о подлинном руководстве литературой со стороны Фонвизина и Радищева или по крайней мере о их полной самостоятельности и независимости. Тогда стоящая рядом фраза конспекта — «Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ (члены ко[миссии] — депутаты)» — является дальнейшим развитием мыслей Пушкина о руководящей роли Фонвизина и Радищева.

Очевидно, перечисленные затем имена Державина, Богдановича, Дмитриева, Карамзина и Радищева должны были характеризовать именно ту словесность, которая отказывалась следовать предначертаниям Екатерины II; такое понимание подсказывается построением «плана» и не представляет трудности. Гораздо сложнее толкование второй части фразы: «точно так же как народ (члены ко[миссии] — депутаты)». В «Заметках» о Комиссии 1767 г. говорится следующее: «Фарса наших депутатов, столь

непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие» (XI, 17). Может возникнуть предположение, что заключенные в скобки слова о депутатах комиссии должны показать противоположность отношения к Екатерине II народа и раболепного дворянства, верховодившего в Комиссии. Но гораздо вероятнее другое толкование. Из литературы о Комиссии 1767 г. известна оппозиционная настроенность ряда депутатов — однодворцев, государственных крестьян, казаков, представителей национальных меньшинств и пр. Историками и литературоведами собраны яркие факты антидворянской борьбы в Комиссии, защиты народных требований. Эти материалы свидетельствуют о том, что часть членов комиссии — депутатов, выражавшая на тогдашнем этапе русской общественной истории интересы широких масс народа, безусловно, не следовала за Екатериной II. Принимая во внимание превосходную осведомленность Пушкина в «делах» XVIII в., можно не сомневаться, что именно в таком смысле и надо понимать вторую часть анализируемой фразы.

Предлагаемый выше комментарий к плану статьи «О ничтожестве литературы русской» может вызвать возражения по основаниям хронологическим: «Заметки по русской истории XVIII в.» датированы 1822 г., план статьи относят к 1834 г. Однако самый ход мыслей Пушкина в цитированном отрывке плана не оставляет никаких сомнений в том, что в основе его лежал тот же самый круг идей, а возможно, и фактический материал, которым были продиктованы кишиневские «Заметки» 1822 г.

Подлинное отношение Пушкина к литературе XVIII в. объяснялось, с одной стороны, естественным стремлением установить общие линии между современной поэту русской литературой и литературой XVIII в., определить главную линию литературного процесса, найти в нем место для себя и указать своих прямых предшественников, и, с другой — продиктованным полемической тактикой отрицанием некоторых литературных авторитетов XVIII в.; отсюда, может быть, и идет столь характерное для Пушкина выдвижение систематически недооценивавшегося в то время Тредиаковского.

Если принять во внимание исключительную скудость в те годы печатных материалов о внутриполитической и культурной жизни России XVIII в., приходится удивляться огромной осведомленности Пушкина в тех важнейших событиях века, которыми определялось движение литературы. Очевидно, устное предание, рассказы старожилов и, может быть, знакомство с семейными архивами некоторых деятелей XVIII в. позволили поэту сделать ряд выводов, к которым наша историческая и историко-литературная наука пришла через много десятилетий на основании обильных архивных публикаций и иных изучений.

Многие высказывания Пушкина по истории русской литературы XVIII в. не были известны его современникам и ближайшему поколению исследователей; они были полностью опубликованы

только в советское время и по-настоящему до сих пор еще не осознаны во всей своей глубине и научной значительности. И, несмотря на то, что суждения Пушкина непосредственного влияния на литературную историографию не оказали, они должны быть сейчас, ретроспективно, признаны самым крупным явлением в истории изучения русской литературы XVIII в. в первой трети XIX в. Главная заслуга Пушкина как историка литературы XVIII в. заключалась в том, что он первый понял и показал противоположность интересов русской прогрессивной литературы и самодержавия Екатерины II, признал независимый характер литературы второй половины XVIII в. и наметил линию литературного развития от Фонвизина и Радищева к реалистическому творчеству 30-х годов XIX в. К сожалению, эта единственно правильная точка зрения долгое время не была принята в нашей литературной историографии.[45]

---

[45] Более подробно вопрос об отношении Пушкина к литературе XVIII в. освещен в статье: П. Н. Берков. Пушкинская концепция литературы XVIII века. — Пушкин. Исследования и материалы, т IV М.—Л., 1962, стр. 75—93.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

30-е и 40-е ГОДЫ XIX в.— БЕЛИНСКИЙ.— «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ» И «АКАДЕМИЧЕСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в.

Деятельность декабристов как критиков и историков литературы, историко-литературные и критические высказывания и статьи Пушкина, постепенное накопление новых материалов по истории литературы XVIII в., издание в 30-е годы сочинений Фонвизина, Державина, Кантемира и Тредиаковского — все это способствовало проявлению интереса к литературе предшествовавшего периода у молодого Белинского, с именем которого связан новый, значительный этап в развитии литературной историографии XVIII в.

Прежде чем мы обратимся к рассмотрению позиции Белинского в этом вопросе, необходимо остановиться на историко-литературной деятельности его предшественников, и в первую очередь Н. А. Полевого.

В романтической критике Полевого проявилось в наиболее резкой форме отрицательное отношение к литературе XVIII в. Выдвигая в качестве критерия литературной оценки принцип самобытности, Полевой характеризует литературу XVIII в. как совершенно несамостоятельную. В статье о «Державине и его творениях» он дает беглый очерк развития русской словесности, и XVIII век под его пером получает следующее освещение: «Петра уже не было; не умели руководствоваться его гением, перенимая у Европы, и перенимали все, и хорошее, и дурное. Подражание совершенно заменило самобытность. Следовали без разбора тому, что видели в Европе, и когда первые потребности были удовлетворены, безусловно отразилось на России и поэтическое стремление духа европейского; литература новая начала создаваться по образу нерусскому, чуждому. Переводили, переделывали, подражали, а не *творили* ... Подражание и классицизм были сущностью всей русской литературы».[1]

[1] Н. А. Полевой. Очерки русской литературы, ч. I. СПб., 1839, стр. 47—48.

И только для одного Державина из всех поэтов XVIII в. делает Полевой исключение: «Державин был совершенно самобытен и неподражаем ... не получив почти никаких пособий образования, он получил от природы все средства гения, рассыпал самородные, вековые сокровища в нашей поэзии и нашем языке и, наконец ... по самой беспристрастной, строгой оценке поставить дóлжно его в число первостепенных, великих поэтов мира — не одной России».[2]

Антиисторическая постановка Полевым вопроса о «подражательности» русской литературы XVIII в. приводит его к полному игнорированию реального содержания литературы этой эпохи, с полной доказательностью раскрытого позднее Белинским. Полевой утверждал, что одним из отличительных признаков нового европейского литературного движения, т. е. романтизма, является требование «всеобщности познания, не одного классицизма, и потом воссоздания *национальной, народной литературы* как единственного средства сделаться самобытными»,[3] поэтому он делает заключение, что всякий элемент усвоения чужого, всякое «подражание» есть признак несамобытности, а следовательно, и эстетической неполноценности художественного произведения и литературы в целом. «Два бывают состояния, — пишет Полевой в статье о Кантемире, — когда народ или страна творят. Период младенчества, когда гений народа создает свою народную песню, свои безотчетные песнопения, свои сказки: это время кончилось для России до Петра Великого.[4] Но есть другой, высший период возраста для народа и страны, когда сознается национальное и государственное достоинство, когда постигается народность, узнается свое место в истории человечества и ума человеческого. Это — время зрелости, и оно разве только теперь начинается для нас. Время между сими двумя эпохами посвящается переводам, подражанию тем, кто упредил своею образованностью. Никакое дарование не выйдет из уровня, какой налагает это время, потому что для создания и развития гения надобны не одни только дары природы, но другие обстоятельства, известная степень общей образованности и национальной самобытности». Указав затем, что Ломоносов «израсходовался» в обстановке подражательности, что «Державин не мог развиться при несчастных законах классицизма, которые он почитал за нерушимые» и т. д., Полевой приходит к выводу, что, «кажется, из

---

[2] Там же, стр. 66—67.

[3] Там же, стр. 155.

[4] В другом месте той же статьи Полевой говорит, что «русская литература до Петра Великого, до составления нынешнего русского языка, до начала гражданского учения и гражданской азбуки (азбуки, заметьте) была только приготовительным действием, а не настоящею русской литературою. В этом, кажется, спору быть не может» (там же, стр. 361).

всего справедливо и безобидно должно заключить о невозможности классических писателей в прежней России».[5]

Полевой в оценке русской литературы XVIII в. был вовсе не одинок в 1830-х и 1840-х годах.[6] В год смерти Пушкина вышла отдельным изданием работа, специально посвященная литературе XVIII в. Это — «Очерк русской словесности XVIII столетия» Н. Стрекалова, автора, о котором в литературе нет никаких сведений. Единственное, что удалось установить, это то, что Николай Стрекалов был студентом Московского университета, учился на первом словесном отделении и работал под руководством проф. М. Т. Каченовского. В 1835 г. в Ученых записках Московского университета (ч. VIII, стр. 301—319, 467—481) была помещена статья Стрекалова «О сочинениях Болтина», в 1836 г. он получил золотую медаль за сочинение «О характере древней, средней и новой истории»; в том же году он окончил университет со степенью кандидата.[7] Дальнейшая судьба его неизвестна.

Самый «Очерк русской словесности XVIII столетия» издан также в Москве.[8] Можно думать, что Стрекалов был одним из первых слушателей С. П. Шевырева, который около этого времени (1834) начал преподавать в Московском университете историю всеобщей, а затем и русской словесности.

Общая оценка, даваемая Стрекаловым XVIII в., отрицательная: «...отечественная словесность XVIII в. представляет довольно безотрадное зрелище».[9] Правда, еще более отрицательно, и в этом Стрекалов расходится с Шевыревым, относится он к предшествующим периодам русской литературы. Для Стрекалова литература до половины XV в. — это «возраст нашего народного младенчества»; следующий период, продолжавшийся до Петра I, — «период юности»[10] и, наконец, XVIII век — «только начало нашей литературы как самобытного выражения народной жизни».[11]

По своим философским воззрениям Стрекалов даже не шеллингианец, как можно было бы ожидать от слушателя Шевырева; он — откровенный эклектик: Виктор Кузен для него высший авторитет. Что касается источников; которыми пользовался

---

5 Там же, стр. 365—366.

6 Здесь следует упомянуть и брата Н. А. Полевого, Ксенофонта, автора полубеллетристической, полунаучной книги о Ломоносове (М., 1836), которую высоко ценил Белинский (ср.: Полн собр. соч, т. II. М.—Л., Изд. АН СССР 1953, стр. 185—195; т. X, 1956, стр. 143).

7 Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета 9 июня 1836 г. М, 1836, стр. 119; ср.: В. С. Иконников. Скептическая школа в историографии и ее противники. Киев, 1871, стр. 50—51, Н. П. Барсуков. Жизнь и труды Погодина, т. IV. СПб., 1891, стр. 217.

8 Возможно, это была магистерская диссертация Стрекалова.

9 Н. Стрекалов. Очерк русской словесности XVIII столетия. М, 1837, стр. 106.

10 Там же, стр. XIII.

11 Там же, стр. 37.

Стрекалов, то это «Опыт краткой истории русской литературы» Греча, «Словарь духовных писателей» Евгения, статьи Каченовского, Мерзлякова, Жуковского и т. д. Отбор авторов у него ограничивается школьными требованиями.

Общая точка зрения Стрекалова на развитие русской литературы выражена в заключительных строках книги, где он говорит о росте народности в словесности. «Религиозность, господствовавшая в нашем умственном развитии с самого младенчества, преобладает еще в нашей словесности в первой половине XVIII века. Гражданственность, начавшая проявляться в законодательстве с Иоанна III, быстро развивается с Петра Великого. Ученость собственно начинается только с половины прошлого столетия и возрастает исполински. Но в XIX в. все три стихии народной жизни представляют уже стройное равновесие, — и, при проявлении своем в словесности, стряхнув чуждое иго, тяготевшее над ними во все продолжение предыдущего века, стремятся с возрастающею быстротою слиться в одно общее направление — в народность».[12]

Много раз употребляя слово «народность», Н. Стрекалов избегает точной формулировки содержания, вкладываемого им в этот термин. Наиболее полно высказал он свою точку зрения на народность в конце I главы «От начала письменности до Петра Великого»: «Только с XVIII столетия Россия, внесенная Петром Великим в первый ряд европейских держав, начинает жить европейскою жизнию; в умственном развитии высказывается ученое направление; народный дух, вполне сознав свои силы, начинает познавать себя — и, след., здесь только начало нашей литературы как самобытного выражения народной жизни».[13]

Следует отметить, что книга Стрекалова, по-своему интересная, не вызвала никаких откликов в печати. Поэтому напомнить о первой попытке дать целостное монографическое построение истории литературы XVIII в., об этой, почти никому не известной книге в обзоре литературной историографии XVIII в. безусловно необходимо.

Подобно тому как Новиков в первый период изучения литературы XVIII в., а Пушкин во второй были наиболее крупными исследователями и истолкователями литературного процесса со времени Петра, так Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов представляют вершины литературной историографии XVIII в. в середине прошлого столетия. Они не занимались текстологической, библиографической и фактологической сторонами исследования литературы XVIII в., как ряд их современников, о которых подробнее будет сказано далее; однако истолкование ими литературных явлений, деятелей, литературного про-

---

12 Там же, стр 111

13 Там же, стр. 36—37.

цесса XVIII в. имело определяющее значение для последующего, точнее говоря, для советского этапа изучения литературы XVIII в.

Долгое время принято было считать, что в целом Белинский относился отрицательно, в лучшем случае сдержанно к литературе XVIII в. Однако в последние годы эту точку зрения стали пересматривать.[14] Не всю литературу XVIII в. отрицал Белинский и не в течение всей литературно-критической деятельности. Есть линии, имена, произведения, которые он не только выделял, но и высоко ценил. Однако в основном ему приходилось бороться против сознательной тенденции реакционных, а порой и «либеральных» (вроде П. А. Вяземского) авторов противопоставлять и предпочитать литературу XVIII в. литературе 30—40-х годов XIX в., и в процессе этой борьбы за идейную, общественно направленную, реалистическую литературу своей эпохи Белинский принужден был более строго оценивать литературу XVIII в., чем делал бы это в других условиях.

Начав с отрицания существования русской литературы вообще, включая и XVIII в. («Литературные мечтания», 1834), пройдя различные этапы «эстетического» развенчания авторитетов допушкинского периода, Белинский постепенно пришел к признанию прогрессивно-исторической роли литературы XVIII в. В первой статье «Сочинения Александра Пушкина» (1843), в статьях «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и некоторых других даны формулировки окончательных суждений Белинского о литературе XVIII в.

Противополагая художественной литературе народную поэзию, органичную, естественную, «живое свидетельство бесконечной силы духа» народа,[15] Белинский долгое время считал, что «русская литература была не плодом развития национального духа, а плодом реформы. Хотя Петр Великий ничего не писал

---

[14] А. Лаврецкий. 1) Историко-литературная концепция Белинского — «Литературный критик», 1935, № 7, стр. 47—73; 2) Историко-литературная концепция Белинского, ее предшественники, последователи и критики. — В сб.: Белинский — историк и теоретик литературы. М—Л., 1949, стр. 41—100; А. Г. Дементьев. Борьба Шевырева с Белинским по вопросам истории русской литературы. — Уч зап. ЛГУ, 1939, № 47, стр 175—178; А. И. Занчевский. Тезисы диссертации на тему «В. Г. Белинский и русская литература XVIII века» Л., 1947; П. Н. Берков. Белинский и классицизм. — Литературное наследство, т. 55, 1948, стр. 151—176; А. Д. Оришин. Белинский и русская литература XVIII века. Львов, 1954 (см. статью Н. К. Гудзия «Несправедливая критика», — «Литературная газета», 1955, 15 марта, — ответ на рецензию А. Ищука в «Радянській Україні», 1955, 16 января); Г. М. Краевська В. Г. Белінський — историк російської літератури 18 століття (еволюція поглядів Белінського на літературний процес. — Наукові записки Кам янець-Подільського державного пед. ін-ту, т. 4, вып 1—7, 1956, стор. 63—91; И. Г. Пехтелев. Белинский — историк русской литературы, изд. 2-е. М., 1961, стр. 150—179.

[15] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. V. М., Изд. АН СССР, 1953, стр. 329. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

и не издавал, подобно Екатерине II, но тем не менее он так же творец русской литературы, как и творец русской цивилизации, русского просвещения, русского величия и славы, словом — творец новой России. Написать историю русской литературы, не сказав ни слова о Петре Великом», Белинский считал абсурдом (VI, 287). О Петре I он говорил как «о величайшем явлении русской истории и об одном из величайших явлений всемирной истории» (V, 97; ср. стр. 329), и велик он тем, что, «совершенно отрывая свой народ от его прошедшего, стремясь сделать из него совсем другой народ, все-таки провидел в нем великую нацию и не вотще пророчествовал о ее великом назначении в будущем» (V, 329).

Для Белинского «искусственное» возникновение новой русской литературы на первых порах ее существования не представлялось чем-то не укладывавшимся в естественный ход исторического развития. В 1843 г., давая общий обзор развития русской литературы до Пушкина, Белинский вновь касается этого вопроса и формулирует свою точку зрения в таком виде: «Русская литература есть не туземное, а пересадное растение ... Одни растения, будучи перенесены в новый климат и пересажены в новую почву, сохраняют свой прежний вид и свои прежние качества; другие изменяются в том и другом, по влиянию на них нового климата и новой почвы» (VIII, 107). Отмечая, что «русская литература может быть сравниваема с растениями второго рода», Белинский едва ли не впервые излагает свою точку зрения на исторически определяемое отношение между «пересадной» литературой и русской почвой. Он считает, что история русской литературы, особенно до Пушкина и отчасти вплоть до начала 40-х годов XIX в., «состоит в постоянном стремлении — отрешиться от результатов искусственной пересадки, взять корни в новой почве и укрепиться ее питательными соками» (VII, 107).

При такой постановке вопроса Белинский должен был выяснить и для себя, и для своих читателей взаимоотношение старинной, народной поэзии и новой литературы. Рассмотрению этого повящена часть статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Здесь Белинский говорит следующее: «Однообразные формы нашей бедной народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них, для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время (suspendre) ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло

к воде, — у нас, естественно, все было реторикою — и нравы, и — их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усвоивания (assimilation), и потому литература от абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности» (X, 14—15).

Эта идея «органического сращения», движения «к живому началу самобытности» становится основным принципом историко-литературного восприятия XVIII в. Белинским. Под углом зрения понятий «европеизм» — «народность» переосмысливает он теперь весь литературный процесс XVIII в. и определяет генеалогию реалистического искусства XIX в. («натуральной школы»). «Натуральная школа» является результатом всего предшествующего развития русской литературы, которая «началась натурализмом». Сатирик Кантемир, первый светский писатель, несмотря на следование античным и западным образцам, умел остаться оригинальным, потому что был верен натуре и писал с нее. Ряд причин (однообразие сатирического жанра, грубость и необработанность языка, чуждый русской поэзии силлабизм) не позволил Кантемиру стать «образцом и законодателем в русской поэзии» (X, 289). И хотя миссия эта выпала на долю Ломоносова, Кантемир не может быть исключен из истории русской литературы. Признавая за Кантемиром как будто только исторические заслуги, видя в нем лишь «первого по времени» русского поэта, Белинский здесь же выдвигает следующий тезис: «Поэтому мы вправе сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, которые чем далее, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два до тех пор, пока в наше время не составили одного целого», «натуральную школу» (X, 289). И далее он раскрывает свою мысль о «двух руслах» русской литературы XVIII в.: «В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу, поняла себя как оракула жизни высшей, выспренней, как глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления были законны, и оба вышли не из жизни, а из теории, из книги, из школы» (X, 289).

Несмотря на признание законности обоих направлений, Белинский открыто симпатизирует тому течению, которое возглавлялось Кантемиром: «Манера, с какою Кантемир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности» (X, 289). Дальнейшее изложение того, как конкретизирует Белинский свою мысль о «двух руслах» русской литературы, «реальном» и «идеальном», не входит в наши задачи; для нас важна окончательная формулировка

того, как Белинский понимал философию истории русской литературы XVIII в.: «Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из реторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы» (X, 294).

Анализируя взгляды Белинского на литературу XVIII в. в том виде, как они определились во второй половине 40-х годов, нельзя не заметить, что великий критик суммировал и по-новому сформулировал основные положения русской литературной историографии в отношении изучения литературы XVIII в.: борьба предшествующей критики за Фонвизина и его сатирическое направление была поддержана Белинским и выразилась у него в виде концепции о критическом и идеальном «руслах» русской литературы. Тезису об ученическом, подражательном характере литературы XVIII в. Белинский противопоставил учение о постоянном стремлении новой русской литературы к сближению с жизнью, к самобытности. В то время как предшественники Белинского либо совсем отказывали литературе XVIII в. в народности, либо употребляли этот термин в крайне неопределенном смысле, великий критик в последние годы жизни со всей решительностью говорил о постоянном стремлении литературы XVIII в. к народности.

Слабым местом в историко-литературной концепции Белинского применительно к XVIII в. было то, что литература этого столетия представлялась ему «привозным растением», что он не видел — и при тогдашнем состоянии истории русской литературы древнего периода и XVIII в. не мог видеть — органической связи древнерусской литературы и литературы XVIII в. Но странно было бы упрекать его за это, если первые суждения о «допетровском предании» в русской литературе XVIII в.[16] появились в печати почти через сорок лет после смерти Белинского, а серьезно разработан этот вопрос только в последние годы.

Другим, также исторически объяснимым, недочетом концепции Белинского была явная переоценка исторической роли Петра I и Екатерины II. Борьба со славянофилами и недовольство политической линией Николая I — это те объективные условия, которые заставляли критика не только из тактических, но и из вполне искренних побуждений давать яркие эмоциональные характеристики личности и роли Петра.

По поводу положительных суждений Белинского, а позднее и Чернышевского о Екатерине II нужно заметить следующее.

---

[16] А. Н. Пыпин Допетровское предание в XVIII веке. I. Старина в нравах и бытовых понятиях. II Продолжение старых преданий в литературе — «Вестник Европы», 1886, июнь, стр. 680—717; июль, стр. 306—345

В царствование Николая I, в противоположность правлению Александра I, отношение правительства к Екатерине II было резко враждебным. «Память Екатерины II, — писал такой осведомленный историк и свидетель последних лет царствования Николая I, как издатель „Русского архива" П. И. Бартенев, — преследовалась и сыном, и вторым из царственных внуков ее. Самое имя ее было почти запретным; из печатных сборников выдирались неугодные узаконения ее».[17] По-видимому, именно в противовес официальному направлению передовые русские писатели, в частности Белинский и Чернышевский, стали подчеркивать «либерализм» Екатерины, ее деятельность в области народного образования и якобы благожелательное отношение к литературе.

Белинский первый поставил вопрос о том, какое литературное направление господствовало у нас в XVIII в. Им была разработана, хотя и не решена окончательно, проблема русского классицизма. И все дальнейшие суждения об этом явлении русской литературы неизменно исходили и, вероятно, будут исходить из того, что было сделано в этой области великим критиком.

Самое понятие «классицизм» появляется в нашей литературной критике одновременно с понятием «романтизм» в начале 20-х годов XIX в.[18] Эти термины использовались в спорах по вопросам литературной современности и на историю литературы долго не переносились. Ни в «Опыте краткой истории русской литературы» Н. И. Греча, ни во «Взгляде на старую и новую словесность в России» А. А. Бестужева, ни в других литературно-историографических работах 20—30-х годов не встречается определения русской литературы XVIII в. как литературы эпохи классицизма. Даже Н. Стрекалов в «Очерке русской словесности XVIII столетия» говорит лишь «о влиянии французского классицизма на нашу литературу» (стр. 69, 88; ср. стр. 86: «наша эпопея, развившаяся под игом классицизма»; стр. 106: «Державин силою могучего гения свергает, наконец, оковы классицизма»), но нигде не употребляет выражения «русский классицизм».

Введение в литературно-историографический обиход понятий «русский классицизм» и «псевдоклассицизм» связано именно с деятельностью Белинского. Специальной статьи о классицизме у Белинского нет, и вообще нигде окончательно своей точки зрения на классицизм он не изложил. Поэтому можно лишь по отдельным замечаниям, по ряду более или менее подробных высказываний попытаться определить отношение критика к этому явлению.

---

17 «Русский архив», 1870, ч. II, стр. 280.

18 Слово «классический» в значении «относящийся или свойственный античным литературам» встречается уже в литературном языке 1760—1770-х годов.

В литературоведении с давних пор сложилось убеждение, что Белинский относился к классицизму («ложноклассицизму» или «псевдоклассицизму», по его терминологии) резко отрицательно и что раз навсегда сложившееся у него мнение об этом течении в дальнейшем не изменилось. Анализ фактического материала не подтверждает этой точки зрения. Как и некоторые другие литературно-эстетические понятия, понимание «классицизма» прошло у Белинского ряд ступеней — от полного и резкого отрицания этого направления до признания его неизбежным и закономерным моментом в истории литературы.

Однако правильно истолковать трактовку Белинским классицизма как литературного явления XVII—XIX вв. можно, только уяснив его отношение к античности, к миру классической древности.

В сознании Белинского с самого начала его критической деятельности и до ее конца присутствовала оставшаяся внешне почти неизменной, но на самом деле значительно развивавшаяся и углублявшаяся высокая оценка античной культуры, античной литературы.

В греческой поэзии, писал Белинский в 1841 г., нельзя искать личного начала, «человека с его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, страданиями и радостями, желаниями и лишениями»; нельзя искать по той причине, что грек «еще не сознал своей индивидуальности, ибо его *я* исчезало в *я* его народа, идея которого трепещет и дышит в его поэтических созданиях» (I, 263). Этот элемент «народности», «публичности» греческой культуры Белинский настойчиво подчеркивает и в последующие периоды своей деятельности.

«Греки, — пишет он в рецензии на „Римские элегии" Гёте в переводе А. Струговщикова, — явились полными и единственными представителями человечества... Превосходство греков над всеми другими народами древности состоит в том, что у них все *свое,* все народное, частное, семейное, домашнее, было ознаменовано печатию необходимости и разумности, отличалось характером общечеловеческим. Удивительно ли после этого, что ... все образованные народы считают Грецию как бы своим общим отечеством?». По мнению Белинского, «как ни противоположна наша жизнь греческой, мы всё понимаем в истории Греции так же ясно, как и в истории своего отечества»; критик считает, что «для нас, при небольшом изучении, грек понятен, будто наш современник» (V, 232).

Эти высказывания Белинского (а их легко умножить, ср. статьи «Деяния Петра Великого, соч. Голикова», «Русская литература в 1841 году», «Сочинения Державина, статья вторая» и пр.) завершаются оценкой значения античности для нового европейского общества и призывом изучать классическую культуру. «Изучение классической древности в новейшей Европе, — пишет критик в рецензии на „Сочинения Платона,

перев. проф. Карповым", — положено краеугольным камнем публичного воспитания юношества, — и в этом видна глубокая мудрость... Изучение классической древности преобразовало Европу, свергло тысячелетние оковы с ума человеческого, способствовало освобождению от инквизиции и тому подобных человеколюбивых и кротких мер к спасению душ. Законодательство римское заменило в новейшей Европе феодальную тиранию правом, на разуме основанном. Древняя Греция и Рим — страны духа, впервые освободившегося от деспотического владычества природы, представитель которого Азия. Там, на этой классической почве, развились семена гуманности, гражданской доблести, мышления и творчества, там начало всякой разумной общественности, там все ее первообразы и идеалы. Правда, там общество, освободив человека от природы, слишком покорило его себе. Зато средние века уж слишком освободили его от общества и впали в другую крайность. Теперь настает время примирения этих двух крайностей во имя *средних веков* и *древнего мира;* следовательно, Греция и Рим и теперь еще живут и действуют в нас, к нашему благу и нашему преуспеянию в осуществлении на деле *идеальной* истины, которая одна только истинна, ибо всякая эмпирическая истина — ложь» (VI, 389).

Для внимательного читателя начала 1840-х годов такие выражения, как «начало всякой разумной общественности», «семена гуманности, гражданской доблести, мышления и творчества», легко расшифровывались подстановками понятий «демократия», «республика», «общественная активность» и т. д. Еще отчетливее и даже с меньшей осторожностью по отношению к цензуре высказывает Белинский свое восхищение республиканским героизмом Рима в рецензии на «Стихотворения Аполлона Майкова». Для него история Рима — это «страстное самозабвение в идее государственности, в идее политического величия своего отечества, пафос к гражданской свободе, к ненарушимости и неприкосновенности прав сословий и каждого гражданина отдельно, гражданская доблесть, в цветущие времена великой республики, и гордая, стоистическая борьба с роком, увлекавшим к падению великую отчизну великих граждан» (VI, 22). Прав С. А. Венгеров, утверждая в примечании к только что цитированному месту, что именно здесь «источник любви Белинского к древности».[19] «Чем больше Белинский уклонялся влево, — пишет он, — тем любовь его к Риму и Греции все росла, и в изучении древности он все более и более видел средство привить русскому юношеству гражданские доблести Периклов, Катонов и Демосфенов».[20]

---

[19] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII. Под ред. С А Венгерова. СПб., 1904, стр. 562.
[20] Там же, стр. 557.

Еще отчетливее выразил Белинский свое отношение к античности в частной переписке. Особенно важно в этом смысле его письмо к В. П. Боткину от 28 июня 1841 г. Сообщив Боткину, что купил по его совету «Плутарха» Дестуниса и прочел, Белинский пишет, что «книга эта свела» его «с ума», что «из всех героев древности трое привлекли всю» его «любовь, обожание, энтузиазм — Тимолеон и Гракхи». Далее он объясняет причину такого отношения именно к этим античным героям: «Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести. Принимаясь за Плутарха, я думал, что греки заслонят от меня римлян — вышло не так. Я бесновался от Перикла и Алкивиада, но Тимолеон и Фокион (эти греко-римляне) закрыли для меня своею суровою колоссальностию прекрасные и грациозные образы представителей афинян. Но в римских биографиях душа моя плавала в океане. Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество. Без них средние века ничего не сделали бы. Я понял и французскую революцию, и ее римскую помпу, над которою прежде смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом. Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного. . .» (XII, 51—52).

Если знать эту «подкладку», как называет Венгеров отношение Белинского к античности, тогда станет понятно и не привлекающее обычно внимания высказывание критика в седьмой статье о Пушкине, что «настоящий герой римский — это даже не Юлий Цезарь, а разве братья Гракхи» (VII, 405). С начала 40-х годов античность ассоциировалась у Белинского с республиканской борьбой за свободу, революционной демократичностью и суровой героической доблестью.

Только в свете отношений Белинского к демократической, республиканской античности, только на фоне его трактовки античной литературы как выражения «общечеловеческой идеи» становится понятной первоначальная неприязнь великого критика к французскому и русскому классицизму, его борьба с этим течением и лишь постепенное признание «исторической» закономерности и необходимости классицизма.

О западноевропейском, точнее французском, классицизме Белинский специально не писал ни разу; все его суждения об этом литературном направлении обычно были связаны с обращением к русскому классицизму либо высказывались в связи с характеристикой французского романтизма, «неистовой школы». Первый признак и первый порок классицизма Белинский видит в отсутствии простоты и оригинальности. Он настойчиво отмечает несамостоятельность и подражательность даже луч-

ших произведений французского классицизма, в частности трагедии. Он не верит, особенно в ранний период своей деятельности, в искренность благородных чувств французских трагиков, считает их творчество сплошным подражанием. Много позднее, в середине 1840-х годов, Белинский по-прежнему подчеркивал искусственный, подражательный характер французского классицизма. Он отмечал эту сторону классицизма и тогда, когда изменил общую оценку этого течения. В то время как античную литературу, преимущественно греческую, Белинский высоко ценил за ее народность, за то, что в ней общечеловеческая идея выражена в глубоко национальной форме, французский классицизм он воспринимал как явление не народное, не национальное, а только как отражение жизни аристократической верхушки, придворной знати. Этим в известной степени и объясняется неприятие великим критиком французского классицизма и его крупнейших представителей. Ему претило то обстоятельство, что «поэты и теоретики нового классицизма исключили из поэзии простолюдинов и мещан и дали в ней место только царям, их придворным и героям благородного происхождения» (V, 295); его раздражали в классицизме «помпа, риторическая шумиха и вычурная парадность» (II, 474).

Отрицая народность и демократичность французского классицизма, подчеркивая его сословность и аристократичность, Белинский все же настаивал на том, что в классицизме отразился национальный характер французов. В особенности настойчиво проводит он эту мысль с начала 1840-х годов.

В своих суждениях о французском национальном характере Белинский также прошел несколько этапов. Сначала явно недооценивая значение французской революции 1789 г., в 1840-х годах он решительно изменил свое мнение о французах, «этом энергичном, благородном народе, льющем кровь свою за священнейшие права человечества», «великом народе» (письма к В. П. Боткину). С этого времени он стал признавать и значение отдельных французских писателей.

К концу литературной деятельности Белинский пришел к мысли, ставшей одним из основных принципов его историко-литературной концепции, о том, что французская революция непосредственно связана с классической литературой, что французский классицизм подготовил события 1789 г.

Развитие взглядов Белинского на французский классицизм не означало отказа от суровой художественной оценки произведений классиков. Неприятие классицизма критиком шло и по линии чисто теоретической, на основе эстетических принципов. Главный упрек Белинского был направлен против того, что являлось краеугольным камнем эстетики классиков — учения об искусстве как подражании «украшенной природе». Он отмечает теоретическую несостоятельность этого тезиса и на приме-

рах показывает, к чему приводит последовательное его применение. Несмотря на резкое отрицание принципа «украшенной природы», Белинский в то же время не мог не видеть некоторой правды в известном тезисе классиков: «Как, по-видимому, ни нелепа мысль французских эстетиков прошлого века, что искусство должно украшать природу, но в ней есть своя часть истины; только они не поняли себя и, по рассудочному противоречию, отрицая простое списывание с природы, приняли подражание природе, хотя и украшенной. И если их подражания были манерны, искусственны и мертвы, то не дальше их ушли и эти quasi-романтические списывания с натуры, в которых красуются мужицкие побранки и поговорки во всей их неопрятной естественности» (IV, 492).

В отказе французских теоретиков от воспроизведения «грубой природы» Белинский усмотрел здоровое зерно — неприятие натуралистичности, отказ от простого копирования природы.

Почти все замечания и суждения Белинского о классицизме связаны с критическими анализами русского романтизма, с обоснованием принципов «натуральной школы», с обзорами развития русской литературы, иными словами, вызваны интересами русской действительности, литературной борьбы того времени. И именно тем, что апелляция «староверов и верхоглядов» к французскому классицизму как к непререкаемому образцу затрагивала кровные интересы русской литературы, касалась путей ее развития, объяснялась первоначально ненависть Белинского к классицизму, а затем более сдержанное, но все же неблагожелательное отношение к нему. Конечно, к этому присоединялись и чисто эстетические основания, художественные воззрения Белинского, но ведь и они в свою очередь продиктованы были безграничной любовью к родному народу, к родной литературе.

С «Литературных мечтаний» и до конца своей критической деятельности Белинский не переставал считать, что «в России классицизм был не больше, не меньше, как слабый отголосок европейского эха» (I, 69). И именно слабость, наносность этого течения были причиной того, что оно не оказало гибельного влияния на русскую литературу, что противостоявшие ему черты самобытности неизменно брали верх, что тяготение к жизненной правде оказывалось сильнее, нежели заимствованные, искусственные формы. Эта мысль проходит через все этапы философского развития Белинского, через все фазы постепенно складывавшейся его историко-литературной концепции. Меняются философские обоснования этих воззрений, вкладывается более углубленное и уточненное содержание в отдельные элементы этой целостной идеи, но сама она в общем остается неизменной.

Все важнейшие отзывы Белинского о крупнейших представителях русского классицизма объединяет, несмотря на разновременность их появления, одинаковое понимание роли русской

общественной жизни как фактора, парализовавшего или по меньшей мере ослаблявшего вредное влияние «реторической поэзии» классицизма. И Белинского в последние годы его жизни не только не отпугивает вторжение «общественности» и «дидактизма» в литературу: напротив, заслугу великих русских писателей XVIII в. он видит именно в том, что они дали место этим началам в художественной практике.

Следовательно, Белинский видит в истории классицизма на русской почве знакомую нам борьбу национального, общественного содержания с чуждой, заимствованной, стеснительной формой. Идейные и художественные достижения русской литературы явились в результате сравнительных «успехов общества» (X, 11). Белинский нисколько не преувеличивал значение «дидактизма» и «социальности» как тенденций, противостоящих «реторическому направлению» в литературе XVIII в. Это были положительные, прогрессивные тенденции литературного развития.

Но в классицизме XVIII в. Белинский видел не только положительные черты, получившие дальнейшее развитие, но и мертвящие формы, как заимствованные у французских классиков, так и появившиеся на нашей собственной почве. Он отмечал в русском классицизме то, что роднило его с классицизмом французским, и то, что невыгодно отличало его от последнего.

На первых порах классицизм был полезен, более того, был необходим. Однако этому положительному процессу чем дальше, тем сильнее стали противодействовать определенные литературные и общественные силы XVIII и начала XIX в., которые сознательно удерживали и поддерживали устарелые формы классицизма, переставшие отвечать новым общественным потребностям.

Белинский отдавал дань уважения русскому романтизму, в особенности романтической критике, за их борьбу с классицизмом, со всякой косностью и рутиной. Верный своему пониманию классицизма как античного искусства, а романтизма — как искусства католического европейского средневековья, Белинский под внешней оболочкой борьбы русских классиков и романтиков прослеживает более глубокий процесс. «Если сказать по правде, — писал Белинский в рецензии на „Сочинения князя В. Ф. Одоевского", — тут не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственного движения с умственным застоем». Критик отмечает, что «борьба, какая бы она ни была, редко носит имя того дела, за которое она возникла, и это имя, равно как и значение этого дела, почти всегда уясняются уже тогда, когда борьба кончится» (VIII, 297).

Итак, несмотря на то, что наш романтизм был «мнимым романтизмом», что он недалеко ушел от оспариваемого им «псевдоклассицизма», Белинский признавал его на определенном этапе исторически полезным явлением, помня в то же вре-

мя, что этот же самый романтизм станет позднее такой же «плотиною» для реализма, для «натуральной школы».

Еще более определенно говорит он об этом в статье «Николай Алексеевич Полевой». Признав, что Пушкину принадлежит лучшая оценка Ломоносова как поэтически мыслившего и чувствовавшего, но не владевшего поэтическим даром человека, он приводит эту известную характеристику Ломоносова и останавливается на пушкинском замечании: «Влияние Ломоносова на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается». Белинский видит в этих словах «взгляд удивительно верный, но односторонний». Ломоносовское влияние, классицизм («Теория Ломоносова опиралась на древних, как понимали их тогда в Европе» — X, 290) он расценивал как необходимый и, следовательно, на определенном этапе полезный момент в истории русской литературы.

Разумеется, далеко не все суждения Белинского о классицизме представляют для нас ценность: многие его приговоры и оценки утратили свою силу, поскольку они были вызваны борьбой с реакционерами в литературе и запоздалыми защитниками авторитетов XVIII в. в 30—40-х годах прошлого столетия. При всем том Белинский явился не только ниспровергателем классицизма, он сумел подойти к нему и с исторической точки зрения. Тем самым Белинский внес серьезный вклад в разработку вопроса о классицизме.

Сложность, диалектичность эстетических и литературоведческих воззрений Белинского, определившихся к концу его жизни, и неспособность ряда второстепенных, но влиятельных историков литературы и критиков, считавших себя продолжателями созданных им традиций, разобраться в его взглядах на такой комплекс явлений, как античность — французский классицизм XVII—XVIII вв. — русская литература XVIII в., — все это привело к тому, что в работах, посвященных литературе XVIII в., как научных, так и популярных, с конца 40-х годов XIX в. и до начала 30-х годов нашего столетия, до работ Г. А. Гуковского, прочно укрепился термин «псевдоклассицизм» или «ложноклассицизм». «Почти что невзначай» пущенное в ход великим критиком «словечко» превратилось, по словам С. А. Венгерова, «в давно установившийся и бесспорный историко-литературный термин».[21]

Дело, однако, не только в том, что термин этот почти сто лет пользовался никем не оспаривавшимися правами гражданства.[22] Гораздо печальнее то, что под его влиянием на

[21] Примечания С. А. Венгерова. См.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, стр. 542.

[22] В выходившем под редакцией С. А. Венгерова «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, уже после появления его замечаний о случайности возникновения данного термина, П. С. Коган поместил статью «Классицизм» (т. 21, стб. 812—815), который он понимал только как «псевдоклассицизм» и «ложноклассицизм».

многие десятилетия было утрачено в нашей литературной науке правильное понимание классицизма, его общественной, эстетической и историко-литературной сущности. Вопреки приведенным выше высказываниям Белинского, видевшего связь французских и русских классиков с породившей их современностью, создалось твердое мнение, что и французский, и русский классицизм оторваны от реальной жизни, от действительности. Эта неправильная трактовка отрицательно сказалась на общем отношении к изучению литературы XVIII в.: за последней долго не признавалось то, что вполне правомерно считается сущностью литературы, — отражение и выражение жизни. Глубокое диалектическое понимание существа французского и русского классицизма, которое характерно для Белинского конца 40-х годов, раскрылось по-настоящему, во всей полноте и значении только в советское время.

Сильные стороны историко-литературной концепции Белинского преобладают, конечно, над исторически обусловленными ее недочетами. Главную заслугу Белинского хорошо определил А. Лаврецкий: «Все, что отнималось у русской литературы абстрактно-метафизическим мышлением Белинского, возвращалось ей теперь пониманием литературы как живого и в своей жизненности диалектического процесса».[23] Эта характеристика творческого пути Белинского в полной мере и, может быть, в первую очередь относится к его оценкам литературы XVIII в.

Трактовка Белинским проблемы XVIII в. была прогрессивным этапом в развитии литературной историографии XVIII в. Впрочем, по-настоящему эти идеи Белинского были восприняты значительно позднее; при жизни же великого критика и вскоре после его смерти влияние его на историографию литературы XVIII в. выражалось главным образом в эстетической переоценке литературных кумиров, начиная с Кантемира и Ломоносова. Некоторым отголоском такого понимания идей Белинского может служить студенческая работа Н. Г. Чернышевского «О „Бригадире“ Фонвизина» (1850).[24]

Под воздействием Белинского, воспринятого сквозь призму либерального западничества, находились такие авторы, как А. П. Милюков, которому принадлежит «Очерк истории русской поэзии» (СПб., 1847; изд. 3-е, 1864), В. Я. Стоюнин[25] и др. Наибольший интерес из этой группы якобы «продолжателей» Белинского представляет А. Д. Галахов (1807—1892), автор значительного числа статей о писателях XVIII в., а также

[23] А. Лаврецкий. Историко-литературная концепция Белинского, ее предшественники, последователи и критики, стр. 66.

[24] Шестидесятые годы. М.—Л., 1940, стр. 7—15 (публикация Г. В. Прохорова). — Об этой статье Чернышевского см.: А. П. Медведев. Литературное ученичество Н. Г. Чернышевского. — Уч. зап. Саратовск. гос. пед. ин-та, 1939, вып. V, стр. 162 и сл.

[25] О Стоюнине см.: Я. А. Ротквич. Вопросы преподавания литературы. Историко-методические очерки. М., 1959, стр. 127—189.

«Истории русской словесности древней и новой» (СПб., 1863; изд. 3-е, 1894) и «Исторической хрестоматии нового периода русской словесности» (тт. 1—2, 1861—1864; изд. 15-е, 1916).[26]

Свою позицию в вопросах истории литературы Галахов определял как соединение «литературной» (эстетической) и «исторической» точек зрения. Хотя под влиянием знаменитой рецензии Н. С. Тихонравова[27] Галахов и попытался исправить свою «Историю русской словесности», но главным образом это отразилось на первой ее части, посвященной древнему периоду. В той же части, которая излагает материалы XVIII в., и в новом издании «эстетическая» точка зрения чисто механически переплетается с «исторической». И та, и другая проявляются в крайне неглубоких и носящих печать «отписки» характеристиках. Двух-трех примеров достаточно: «В отношении кантемировских сатир к современному обществу заключается их историческое значение»;[28] «Историческое значение похвальных од и других указанных сочинений <Ломоносова> состоит в их отношении к современной эпохе»;[29] «Это <историческое> значение <трагедий Сумарокова> заключается в их отношении к понятиям XVIII века»[30] и т. д. Не лучше обстоит у Галахова дело и с так называемой «эстетической» оценкой литературных произведений XVIII в.

Несмотря на критическую деятельность Белинского, казалось бы раз навсегда положившую конец господству старинной «нормативно-эстетической» критики, оценивавшей достоинства литературных произведений по степени их соответствия «канонам» и «образцам», несмотря на то, что Галахов объявлял себя и считался другими продолжателем дела Белинского, у него нередко можно встретить такие суждения: «Ода есть лирика сильного одушевления, возбуждаемого великими мировыми силами и явлениями. Восторженное чувство выражается образами, в которых поэт видит соответствие с предметом, его произведшим. Заимствуются эти образы из окружающей поэта действительности, который при их выборе руководствуется современным ему понятием о том, что истинно велико... В оде господствует сила одушевления и смелый полет фантазии, которая не рисует образы с эпической отчетливостью, а переходит от одного из них к другому; эти переходы или скачки представляют только кажущийся беспорядок, на самом же деле они подчиняются единству вдохновенной мысли. Ошибка псевдоклассических од в том и заключалась, что вместо этого подчи-

---

[26] Вопрос об отношениях Галахова и Белинского освещен в упомянутой выше статье А. Г. Дементьева «Борьба Шевырева с Белинским по вопросам истории русской литературы» (стр. 190—192 и сл.).

[27] Н. С. Тихонравов. Соч., т. I. М., 1898, стр. 1—126.

[28] А. Галахов. История русской словесности древней и новой, т. I. СПб., 1863, стр. 323.

[29] Там же, стр. 344.

[30] Там же, стр. 372.

нения являлись у них намеренные разрывы содержания, что переходы от одного образа к другому — искусственные, а не естественные сообразно развитию чувства — обозначались большею частию фигурами вопрошения и восклицания: „но что я зрю?“, „какое зрелище предстало!“ и т. п. Короче, являлась риторическая величавость или напыщенность вместо поэтического одушевления».[31]

Однако, помимо механичности соединения «эстетической» и «исторической» точек зрения, «История русской словесности» Галахова являлась шагом назад еще и по своей политической умеренности, стремлению выхолостить то прогрессивное содержание, которое вкладывал в литературные суждения Белинский. Галахов — благонамеренный и убежденный монархист. Еще в рецензии на книгу Н. Н. Булича (1854) он сформулировал свою точку зрения на основные принципы, на которых должна строиться история русской литературы: «Вслед за просвещением, которое водворялось у нас правительством, *шедшим всегда впереди народа* (курсив мой. — *П. Б.*), литература наша или славила плоды истинной цивилизации, или преследовала врагов ее как врагов предначертаний высшей власти. Надобно держаться этого положения твердо: в противном случае история нашей словесности будет построена криво».[32]

Тезис Галахова, что просвещение в царской России «водворялось правительством», «шедшим всегда впереди народа», держался в то время довольно прочно по двум причинам: монархически настроенные авторы вроде Галахова усматривали в этом принципе «законные» границы для «свободомыслия»; относительно передовые писатели считали, что в условиях николаевской реакции напоминание о том, что правительство якобы всегда шло в России впереди народной инициативы, есть форма борьбы за просвещение, за прогресс. Любопытно отметить, что двадцатитрехлетний Пушкин в кишиневских «Заметках по русской истории XVIII в.» с гораздо большей проницательностью характеризовал деятельность «ничтожных наследников северного исполина» и указывал, что «добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе».

В первом издании «Истории русской словесности» Галахов поместил большое теоретико-литературное введение. Он считает, что известную формулу Бюффона «слог есть человек» можно изменить применительно к литературе так: «литература есть народ». «Как в слоге выражается „личность“ писателя, так в словесности выражается личность народа — „народность“. Отношение литературных произведений к общественной жиз-

---

31 Там же, т. I, отд. 2, изд. 2-е. СПб., 1880, стр. 69—70. — См. подобные же суждения о трагедии (стр. 93—98), эпопее (стр. 195—198) и пр.

32 «Отечественные записки», 1854, т. XCIV, кн. 6, отд. III, стр. 36.

ни — двоякого рода: в одних видно „прямое“ выражение действительности, с ее местными и временными отличиями; в других раскрывается духовное настроение эпохи, идеи и потребности общества, общественное сознание, хотя при этом может и не быть прямого указания на действительность, верного воспроизведения событий и характеров. История литературы обязана разъяснить оба отношения».[33]

Но в эти нечеткие формулы, которые могут быть наполнены разным содержанием, Галахов вкладывал умеренно-либеральное истолкование литературных фактов. Не говоря уже об отсутствии в его книге раздела о Радищеве, приходится отметить явное «приглаживание» всяких оппозиционных выступлений против Екатерины II (Фонвизина, Новикова и др.).

Во втором издании «Истории русской словесности» Галахов избегает формулировать «общие» взгляды, но и здесь выявляется его умеренно-либеральная, монархически окрашенная позиция. Достаточно привести положение, выдвигаемое в разных местах книги и касающееся соотношения между свободой народа и его культурной подготовленностью, чтобы почувствовать, как далеко назад отошел Галахов от Белинского, автора «Письма к Гоголю»: «Возможное совершенство гражданского благоденствия существует только при народной нравственности. Только тот народ имеет право им пользоваться и действительно пользуется, в котором развито чувство долга, законности, справедливости, который свои действия уклоняет от зла, как источника бедствий, и направляет к добру, убежденный в его необходимости для счастия. Чтобы нравственно возвысить народ, надобно ему дать надлежащее воспитание».[34] И именно таким барским отношением к проблеме народной нравственности объясняется восторженная оценка Галаховым Екатерины II.

Впрочем, несмотря на слабость методологической позиции автора и на либеральную интерпретацию идей Белинского, «История русской словесности» имеет достоинства, которые она не утратила и до настоящего времени: это обширные фактические материалы, главным образом, биографического и отчасти библиографического характера. Не случайно поэтому в одной из рецензий на первое издание галаховской «Истории русской словесности» его метод был назван «библиографическим». В целом это, пожалуй, несправедливо, но в отдельных местах работа Галахова не что иное, как библиографическое перечисление произведений характеризуемых писателей.

Критика отмечала, что в освещении XVIII в. Галахов более самостоятелен, чем в предшествующей части. В самом деле, перед тем как приступить к составлению «Истории русской словесности», Галахов поместил в журналах, главным образом в «Оте-

---

33 А. Галахов. История русской словесности.., т. I, изд. 1-е, стр. 1.
34 Там же, т. I, отд. 2, изд. 2-е, стр. 120; изд. 1-е, стр. 401.

чественных записках», ряд статей о писателях XVIII в. — Кантемире, Сумарокове, Аблесимове, Фонвизине, Кострове, Княжнине, Карамзине и т. д. Статьи эти были написаны в связи с выходом в издательстве А. Ф. Смирдина Полного собрания сочинений русских авторов.

Предпринятая Смирдиным попытка издать полную библиотеку русских писателей, при всех ее текстологических, типографских и иных недочетах, имела большое значение для истории русской литературной науки. Смирдинское Полное собрание сочинений русских авторов, если не считать неудачные опыты середины 30-х годов, было первой большой серией, давшей русскому читателю возможность познакомиться с произведениями писателей XVIII—начала XIX в., от Тредиаковского до поэтов 20-х годов прошлого столетия. Оно как бы вновь открыло читателям середины XIX в. ту самую литературу, которая долгие годы являлась предметом журнальных споров, но была мало кому доступна, так как отстутствовала в продаже. В своих статьях, посвященных отдельным томикам смирдинского Собрания или написанных независимо от него, Галахов добросовестно использовал наличные материалы о соответствующих писателях и установил внутреннюю связь между отдельными фактами, произведениями и явлениями. Благодаря этому и в «Истории русской словесности» Галахов дал, помимо обильного материала, ряд свежих соображений и наблюдений. Такова, например, направленная против Белинского полемическая, но тем не менее правильная трактовка вопроса о роли Кантемира: «Открывать историю русской сатирической поэзии именем Кантемира значит позабывать однородные произведения предшествовавшей и современной ему словесности. Если он должен быть назван первым нашим сатириком, то лишь в том смысле, что он первый дал нам образцы сатиры, как особого вида дидактической лирики, возникшего у римлян».[35] Таковы страницы, отведенные рассмотрению переводной литературы XVIII в. (стр. 269 и сл.).[36]

Книга Галахова отвечала давно назревшей потребности в учебном пособии для средней и высшей школы. Дело в том, что в 1835 г. история русской литературы была введена в качестве предмета преподавания в программы словесного отделения философского факультета университета, но при этом оказалось, что налицо не было ни профессоров, способных вести такие курсы, ни соответствующих учебных пособий. Правда, и до 1835 г. в «Каталогах университетских лекций» значилась как предмет

---

[35] Там же, т. I, отд. 2, изд. 2-е, стр. 40.

[36] О Галахове см.: Д. Д. Языков. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц, вып. XII. СПб., 1912, стр. 35—55; А. Ельницкий. Русский биографический словарь («Гааг—Гербель») СПб, 1914, стр. 131—140. — Об «Истории русской словесности» Галахова см. статью. А. Г. Фомин. К биографии А. Д. Галахова (Неизданные материалы). — В сб.: Sertum bibliologicum в честь А. И. Малеина. Пг, 1922, стр 226—228.

история российской словесности, но, по сохранившимся данным, постановка ее преподавания оставляла желать много лучшего. Наиболее ранние сведения о преподавании истории российской словесности в университете приведены, по указанию акад. М. И. Сухомлинова, в «Обозрении лекций Харьковского университета» за 1809/10 г.,[37] где сказано, что проф. И. С. Рижский изложит науку красноречия по собственному сочинению и кратко пройдет историю русской словесности. Каково было содержание курса Рижского, за отсутствием материалов сказать невозможно. Даже рукопись подготовлявшегося Рижским к печати «Курса истории русской словесности» до нас не дошла.[38] Преподавание Рижского было очень коротким: в 1811 г. он умер. И хотя прямых указаний на характер и содержание курса истории русской словесности Рижского у нас нет, но то обстоятельство, что в своих лекциях по науке красноречия иллюстративный материал он заимствовал «из сочинений русских писателей периода от Ломоносова до Крылова»,[39] дает основания предполагать, что в истории словесности он говорил о тех же писателях, сообщая, очевидно, биографические и библиографические данные.[40]

Насколько типично было тогда подобное понимание истории литературы, видно из постановки этого предмета в Петербургском университете, открытом в 1819 г. В «Объявлении публичного преподавания наук» в Петербургском университете на 1824 г. сообщается, что проф. Я. И. Толмачев излагал историю русской словесности с критикой классических прозаиков и поэтов по собственным запискам, упражняя также студентов в «российском слоге».[41] В чем состояла «история русской словесности» Я. И. Толмачева, кратко, но достаточно определенно говорит, по своим воспоминаниям, историк Петербургского университета: «С отсталостию в преподавании истории могла сравниться достойно и отсталость, царствовавшая на кафедре отечественной словесности. Вера в способность образования писателей риторикою и пиитикою, преподававшихся самым схоластическим образом, господствовала здесь непоколебимо, об руку с поклонением

---

37 М. И. Сухомлинов. 1) Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПб., 1889, стр. 83 и 500; 2) О трудах по истории русской литературы. — ЖМНП, ч. CLVI, 1870, стр. 155.

38 Д. И. Багалей. Опыт истории Харьковского университета (По неизданным материалам), т. I. Харьков, 1893—1898, стр. 644.

39 Там же.

40 О Рижском см.: Н. Ф. Сумцов. И. С. Рижский — В кн.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905). I. История факультета. II. Биографический словарь профессоров и преподавателей. Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. Харьков, 1908, стр. 48—53 (второй пагинации); А. И. Белецкий. Наука о литературе в истории Харьковского университета. — Труди філологічного факультету Харківського державного університету ім. О. М. Горького, 1959, т. 7, стр. 6—7.

41 В. В. Григорьев. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, стр. 51; ср. стр. 57.

французскому псевдоклассицизму; критическая история русской литературы ограничивалась восхвалением Ломоносова с писателями екатерининского времени и хулою всего, что отзывалось позднейшим романтическим направлением. О движении лингвистики в Германии не заходило сюда и слуха: изложение языковедения производилось по де Броссу, с самыми дикими экскурсиями в область этимологии, рассказывавшимися по городу в виде образчиков нелепости.[42] Упражнение студентов в российском слоге, при неспособности к тому профессора, разучивало, а не приучало владеть отечественным языком».[43]

В 1832 г. Толмачев был уволен, и его место занял П. А. Плетнев, приятель Пушкина. Хотя он в истории литературы видел «историко-критическое объяснение произведений отечественной литературы, соединяя в нем взгляд на успехи умственных сил вообще с характеристикою самого искусства, в переменах которого показывал развитие духовной жизни науки», по словам того же Григорьева, «преподавание нового профессора не поразило его университетских слушателей ни особенною новостию взглядов, ни глубиною мысли, и еще менее ученостию».[44] Таким образом, хотя в 1835 г. по новому университетскому уставу предложено было ввести в качестве особого курса историю русской словесности, долгое время преподавание не могло быть налажено ввиду научной неразработанности самого предмета. Этим и объясняется появление таких работ, как «История древней русской словесности» М. А. Максимовича (1839) и «История русской словесности, преимущественно древней» С. П. Шевырева (1846). В области же истории литературы XVIII в., если не считать гимназического учебника Греча и подражаний ему М. Тимаева, В. Плаксина, А. Глаголева, П. Е. Георгиевского, первым серьезным трудом оказались именно второй и третий отделы «Истории русской словесности» А. Д. Галахова.

Кроме Галахова, в конце 1840-х—начале 1850-х годов стали печатать статьи и даже монографии о писателях XVIII в.

---

42 Григорьев, очевидно, из уважения к памяти Толмачева не приводит ни одного образчика его нелепых этимологий. Некоторые сведения об этом сохранил один из слушателей Толмачева, Ф. Н. Фортунатов. По словам мемуариста, Толмачев носился с мыслью о том, что русский (не древнеславянский) язык является источником всех остальных. Так, например, слово «кабинет» он объяснял следующим образом: когда человек в кабинете, занят, погружен в работу, его как бы нет, отсюда — кабинет. Там же приведены сведения о производных от слова «хлеб» (ср. «Русский архив», 1869, т. VII, № 2, стр. 330).

43 В. В. Григорьев. С.-Петербургский университет.., стр. 73.

44 Там же, стр. 90. — О преподавании русской литературы в Московском университете в те годы см.: Н. К. Гудзий. Изучение русской литературы в Московском университете (дооктябрьский период). М., 1958, стр. 4—8. — О Дерптском (Юрьевском) университете см.: Б. В. Правдин. Русская филология в Тартуском университете. — Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1954, вып. 35, стр. 130—142. О Казанском ун-те см.: Н. Н. Булич. Из первых лет Казанского университета (1805—1819), т. I. Казань, 1887; т. II, 1891.

М. Н. Лонгинов (1823—1875),[45] Г. Н. Геннади (1826—1880),[46] Н. Н. Булич (1824—1895),[47] А. Н. Афанасьев (1826—1871),[48] В. А. Милютин (1826—1855),[49] А. Н. Пыпин (1833—1904),[50] М. И. Сухомлинов (1828—1901),[51] Н. С. Тихонравов (1832—1893),[52] П. П. Пекарский (1828—1872)[53] и др. И именно их работы, имевшие биографический и библиографический характер, подготовили почву для обобщающего труда Галахова.[54]

Какими причинами был вызван этот интерес к литературе XVIII в.? Здесь можно наметить две линии в изучении литературной продукции XVIII в.: первая — «библиофильско-библиографическая», вторая—«академическая». «Библиофильско-библиографическая» линия возникла на почве аполитизма «мрачного семилетия» конца царствования Николая I (1848—1855), когда уход в XVIII в. для одних авторов был средством отгородиться от политической реакции, для других — естественным выражением «неприязни к современности».[55] Лучше всего охарактеризовано первое направление в статье Н. А. Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» (1856): «Теперь дорожат каждым малейшим фактом биографии и библиографии. Где первоначально были помещены такие-то стихи, какие в них были опечатки, как они изменены при последних изданиях, кому принадлежит подпись — А, или Б, или В в таком-то журнале или альманахе, в каком доме бывал известный писатель, [с кем он встречался, какой табак курил, какие носил сапоги, какие книги переводил по заказу книгопродавцев, на котором году написал

45 П. Н. Берков. — Литературная энциклопедия, т VI, стб. 567—568; О. И. Шведова. Историки СССР. М., 1941, стр. 74

46 У Г. Иваск Григорий Николаевич Геннади. М, 1913, О И. Шведова. Историки СССР, стр. 40.

47 С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т I. СПб, 1900, стр. 375; За сто лет. Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета (1804—1904 гг.), ч. I Под ред. Н П Загоскина. Казань, 1904, стр. 45—47, Краткая литературная энциклопедия, т I. М, 1962, стб. 770

48 Литературная энциклопедия, т I, стб 707, Э. В. Померанцева — Краткая литературная энциклопедия, т. I, стб. 359—360.

49 С. А. Венгеров. Источники.., т IV, стр. 318—319.

50 Н Глаголев — Литературная энциклопедия, т VIII, стб 456—459, О И. Шведова. Историки СССР, стр. 98.

51 О. И. Шведова. Историки СССР, стр. 113

52 П. Н. Берков. — Литературная энциклопедия, т. XI, стб. 279—281; Н. К. Гудзий Н. С. Тихонравов. М, 1956 (ср. рецензию на это издание. П. Н. Берков. — Известия АН СССР, ОЛЯ, 1958, вып. 4, стр. 371—374).

53 О. И. Шведова. Историки СССР, стр. 90; М. В. Машкова. П. П. Пекарский (1828—1872). М., 1957, стр. 41—47 (раздел написан мною).— О Пекарском подробнее см. ниже.

54 Особо следует упомянуть известного передового педагога Ир. И. Введенского (1813—1855), автора статей о Державине и Тредиаковском (в журн. «Северное сияние», 1849), и его ученика В. Ф. Кеневича (1831—1879), занимавшегося преимущественно изучением Крылова.

55 Любопытную характеристику этих течений с попыткой дать социальное обоснование их возникновения см. в кн . А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, стр. 70—74.

первое стихотворение],— вот важнейшие задачи современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений. Верх ее искусства, апогей ее благотворности — если она захочет и сумеет показать значение произведений того или другого писателя для его времени и потерю этого значения в наше время. Но часто и этого не видим мы в современной критике. Она занимается фактами, она собирает факты,— а что ей за дело до выводов! Выводы делайте сами: при помощи современной критики это очень легко. Она вам указывает, где помещено то-то и то-то: возьмите и прочитайте! Если хотите сличений, и здесь вам критика поможет. Она представляет вам все возможные перемены, какие сделаны в этом произведении при различных его редакциях. Мало того, она расскажет вам, где и в каких обстоятельствах писано такое-то произведение, она откроет вам где-нибудь надпись: село такое-то, месяц такой-то, или обстоятельно, посредством множества хитрых соображений, докажет, что это стихотворение, вероятно, писано было уже после того времени, как автор переехал с Мойки на Галерную улицу, но еще прежде, нежели он купил собственный дом. Результаты поистине блистательные! Можно надеяться, что далеко уйдет с ними молодое поколение. [Много эта критика сообщит ему живых воззрений, много породит отрадных, прекрасных явлений в области умственной жизни, много подействует на развитие общества! Имея своими высшими, совершеннейшими идеалами Сопикова и Анастасевича, бойко и твердо пойдут наши гениальные, но тем не менее трудолюбивые ученые по дорожке, проторенной этими бессмертными основателями русской библиографии... Наполняя литературу указателями, помещая в журналах указатели, основывая свою ученую славу на составлении указателей, они смело будут говорить всей России: вот где истинное ученое достоинство, вот где основательные, дельные труды, заслуживающие бессмертия в потомстве!] Это не то, что какие-нибудь философские умствования, эстетические соображения, исторические, литературные и всевозможные общие взгляды, которые может бросать всякий мальчик со школьной скамьи, для которых следует только подумать несколько часов, а не нужно проводить месяцы и годы в переборке, сличении, переписывании и выписках из десятков и сотен книг. Так думают и говорят представители фактического, или лучше библиографического, направления критики».[56]

Характеризуя «фактическое», или «библиографическое», направление, Добролюбов не делал никаких натяжек. Можно было бы по фразам прокомментировать приведенную выше цитату и указать, кого и что имеет в виду Добролюбов. В самом деле, начиная с 40-х годов XIX в., а в особенности в 50-х годах,

[56] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. I. Л., 1934, стр. 29—30. — В квадратные скобки заключены фразы, отсутствовавшие в журнальном тексте данной статьи

публикация биографических и текстологических материалов по XVIII в. сделалась явлением исключительно частым. В «Русском вестнике» (1841—1844), «Москвитянине» и других журналах того времени встречаются различные сообщения о писателях XVIII в., принадлежащие перу Н. А. Полевого, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, М. А. Дмитриева, С. Д. Полторацкого и др. Изданные в 1854 г. «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева (первоначально печатались в «Москвитянине»; второе издание вышло в 1869 г.), представлявшие коллекцию более или менее достоверных анекдотов из области так называемого «литературного быта», стали благодарным пособием для последующих биографических работ о писателях XVIII и начала XIX в.

Упомянутые выше М. Н. Лонгинов, Г. Н. Геннади, А. Н. Афанасьев и другие примыкали к этому «фактическому», или «библиографическому», направлению. Особенно типична для позиции Лонгинова концовка его статьи о бездарнейшем из сатирических журналов 1769—1774 гг. — «Мешенина» (1773): «Библиограф неисцелим. Он нашел пустую книжонку; но она чрезвычайно редка — и он счастлив, и опять начинает искать другую, неизвестную, быть может еще пустейшую. Так и я жду с нетерпением, чтобы гений библиографии помог мне отыскать „Пустомелю", и тогда опять повещу тех, кому о том ведать надлежит, о своем открытии».[57] Хотя здесь чувствуется некоторая доля иронии, но существо этого направления указано Лонгиновым верно. Правда, вскоре Лонгинов в том же «Современнике» выступил с более серьезным изложением позиции своей и своих единомышленников.

Говоря о «крутом повороте, совершившемся в нашей критике в последние годы» и заключающемся в «стремлении разыскивать литературную старину и знакомить с нею публику», Лонгинов замечает, что этот переворот не является случайностью или капризом нескольких писателей, а «логически проистекает из самого хода всей литературы в данную эпоху и из многоразличных условий, представляемых эстетическим и научным воспитанием писателей и публики». Публика, продолжает Лонгинов, приучена «и в повести или рассказе искать не невинной побасенки, а верности в описании данной эпохи... ей очень естественным кажется познакомиться с комедией Сумарокова или Лукина и проч., но только с исторически верной точки зрения. Это знакомство уж не имеет целию одно эстетическое наслаждение... Главная цель читателя нашего времени — постигнуть дух писателя, разъяснить, до какой степени и с какой стороны выражает он свое время, заключить по его сочинениям, какова была в таком или другом отношении его эпоха, что осо-

---

[57] М. Н. Лонгинов. Соч., т. I. М., 1915, стр. 27 (первоначально «Современник», 1856, т. LV, № 2, отд. V, стр. 148).

бенно всегда так важно по непременной связи настоящего с прошедшим».[58]

Определяя новое течение как «историческое», Лонгинов на самом деле приписывал «библиографическому» направлению достоинства, которыми оно не обладало; все, что он говорил, относится к работам, представленным «академическим», или «университетским», изучением XVIII в. Так, Лонгинов упоминает в цитированном отрывке комедии Сумарокова и Лукина. Он имеет в виду работы Булича о Сумарокове (1854) и Пыпина о Лукине (1854). В начале своей статьи он перечисляет в алфавитном порядке, скрывающем различия направлений, авторов работ о XVIII в.: Афанасьева, Булича, Галахова, Геннади, Милютина, Пекарского, Пыпина, Тихонравова и др.

Выступление Добролюбова против «фактического», или «библиографического», направления, а также другие, более глубокие причины[59] привели к тому, что Лонгинов с 1858 г. прекратил сотрудничество в «Современнике». «Библиографическое», «фактическое», направление обрело, однако, новое и более прочное пристанище: это был афанасьевский журнал «Библиографические записки» (1858—1859 и 1861). В этом журнале принимали участие, кроме перечисленных выше лиц, еще Д. Ф. Кобеко (1837—1918),[60] М. П. Полуденский (1830—1868)[61] и др.

Журнал Афанасьева, несмотря на обилие ценнейшего фактического материала по литературе XVIII в., сохраняющего значение и поныне, все же является наиболее ярко выраженным органом «библиографического» направления. Этому не противоречит нисколько и то обстоятельство, что главный труд А. Н. Афанасьева по истории литературы XVIII в. — «Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.» (первоначально в «Отечественных записках» 1855 г. и «Русском вестнике» 1857, отдельно — 1859 г. и вторым изданием — 1919 г.) — имеет не только библиографический характер, но и проникнут явной либеральной тенденцией, вызвавшей резкий отпор со стороны Добролюбова и неизвестного рецензента «Отечественных записок» — Т. Л. У сторонников «библиографического» направления не было единства политических воззрений, например, к ним в начале своей литературной деятельности примыкал поэт, революционер-демократ М. Л. Михайлов (1829—1865). В большинстве же своем «библиографы» были умеренными либералами. Наиболее

[58] Там же, стр. 30.

[59] В. Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936, стр. 215—225.

[60] А. С. Лаппо-Данилевский. Дмитрий Фомич Кобеко (Некролог) — Известия Академии наук, 1918, VI серия, стр. 521—530; Н. Д. Игнатьев. Библиографический список трудов Д. Ф. Кобеко. В «Сборнике статей в честь Д. Ф. Кобеко». СПб., 1913, стр. I—XI; О. И. Шведова. Историки СССР, стр. 63.

[61] О И. Шведова. Историки СССР, стр 95

реакционный из них, М. Н. Лонгинов, стал «праветь» как раз около этого времени, в особенности после 1861 г.[62]

В «Библиографических записках» принимали участие в одинаковой мере как сторонники «библиографического» направления, так и представители «академического», или «университетского».

Работы Сухомлинова, Тихонравова, Булича и других возникали в процессе университетского преподавания или при подготовке к юбилейным датам, отмечавшимся университетами, а иногда и более широко.

Со второй половины 40-х годов XIX в. начинают появляться специальные работы монографического порядка об отдельных авторах XVIII в. Первой по времени, как уже указывалось выше, была диссертация К. С. Аксакова о Ломоносове (1846), вскоре вышла в свет книга П. А. Вяземского о Фонвизине (1848), за ней последовала диссертация Н. Н. Булича «Сумароков и современная ему критика» (1854), далее «Русская сатирическая журналистика 1769—1774 гг.» А. Н. Афанасьева (1859) и др.

Первая из названных диссертаций, принадлежавшая известному славянофилу К. С. Аксакову (1817—1860), была представлена им на соискание ученой степени магистра в 1845 г., напечатана в 1846, а защищена лишь в 1847 г. Книга эта из-за содержавшихся в ней «весьма резких и неприличных» выражений, «от страницы 44 до 60, относящихся до Петра Великого и политических его преобразований», вызвала распоряжение о приостановке ее продажи и вторичной цензуре; кроме того, попечитель московского учебного округа гр. Строганов «предложил здешнему <московскому> цензурному комитету, чтобы ни в одном из выходящих в Москве повременных изданий не дозволять никаких разборов помянутого сочинения».[63] И действительно, никаких рецензий на диссертацию Аксакова напечатано не было не только в Москве, но и в других городах.

Только в книге С. А. Венгерова «Передовой боец славянофильства Константин Аксаков» (СПб., 1912) диссертация о Ломоносове получила некоторое освещение. В целом симпатизировавший Аксакову, Венгеров оценил его диссертацию невысоко, но, следует признать, вполне справедливо. «Как научное исследование, — писал он, — книга имеет весьма мало значения».[64] Приведя большую цитату из нее, чтобы показать гегельянскую позицию и «гегельянский жаргон» автора, Венге-

---

[62] М. Н. Лонгинов в 60-е годы. Публикация П. Н. Беркова. — Литературное наследство, т. 22—24, 1935, стр. 737—754.

[63] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII. СПб, 1894, стр. 343—344; ср.: Н. М. Петровский. Библиографические мелочи, XI. К истории книги К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». — Известия ОРЯС, 1917, т. XXI, кн. 1, стр. 133—143.

[64] С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III. СПб., 1912, стр. 131.

ров продолжает: «Таким тарабарским языком написана сплошь вся диссертация, заключающая в себе 517 страниц ... Она читается с чрезвычайною скукою ... В книге, озаглавленной „Ломоносов в истории русской литературы и русского языка“ ... собственно Ломоносову из 517 страниц книги уделено 110. Но даже эти 110 страниц не все посвящены специально Ломоносову, а ровно наполовину состоят из разных рассуждений эстетического и философского содержания».[65] Переходя к частным сторонам книги Аксакова, к освещению в ней эпохи Петра I, Венгеров пишет: «В сравнении с эрудицией» П. П. Пекарского, автора двухтомного исследования «Наука и литература в России при Петре Великом», «диссертация К. Аксакова представляется каким-то школьническим упражнением».[66] Общий справедливый вывод Венгерова уничтожающий: «...Этим-то более чем поверхностным изучением эпохи, породившей писателя, рассмотрение деятельности которого составляет предмет диссертации, и объясняется то, что характеристика Ломоносова поражает своей банальностью. То, что говорит магистрант о даровитости Ломоносова, об исторических его заслугах в деле выработки русского стиха, о разнообразии его дарований и т. д., все это до такой степени школьнически известно, хотя и прикрыто часто весьма туманною гегелианскою тарабарщиною, что ради таких ничтожных результатов решительно не стоило изготовлять книгу в 500 страниц».[67]

В диссертации К. С. Аксакова ведется скрытая полемика с концепцией Белинского о двух направлениях в русской литературе XVIII в. — «сатирическом» с Кантемиром во главе и идеальном, возглавлявшемся Ломоносовым. Вот что пишет Аксаков: «Ломоносов был автор, лицо индивидуальное в поэзии ... с него началась новая полная сфера поэзии, собственно так называемая литература: этот подвиг ему принадлежит. Нам, может быть, скажут, что Кантемир был прежде Ломоносова, но Кантемир не имел никакого значения; он нисколько не вытекает из истории нашей литературы, на которую он и не имел влияния ... он был человек посторонний в нашей литературе; деятельность его в ней не была действительна. Самое то, что он известен как сатирик, свидетельствует его отрицательное отношение к русской литературе. Во время Петра Великого, время сокрушения старого, могло возникнуть такое направление, одностороннее и не животворное, порожденное одною стороною великого дела. — Итак, о Кантемире больше говорить не будем».[68]

---

65 Там же, стр. 132—133.

66 Там же, стр. 134.

67 Там же, стр. 134—135.

68 К. Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1846, стр. 62—63.

Многословная, поражающая неоднократными, излишними повторениями диссертация Аксакова, отчасти напоминающая рассмотренную выше книгу Стрекалова, представляет интерес, как любопытное свидетельство того, что́ понимали под наукой в середине XIX в.

Совершенно иной характер и иное значение имеет монография П. А. Вяземского о Фонвизине. Она была написана в основном в 1830 г., подготовлена к печати в 1835 г., но издана лишь в 1848 г. Несмотря на более чем умеренную политическую позицию автора, на ряд дилетантских приемов исследования, эта книга была фактом безусловно крупного значения. Умный, образованный и даровитый литератор, Вяземский дал здесь широкую, хотя во многом неверную, но все же интересную картину развития русской словесности XVIII в., и в этой картине Фонвизин оказывался органическим звеном.

В книге Вяземского литература XVIII в. трактовалась как непосредственная предшественница именно того литературного направления, к которому причислял себя автор. Эту мысль особенно отчетливо высказывает Вяземский в том месте, где говорит о ложных и подлинных просветителях: «Настоящие просветители и двигатели не выдают себя за выскочек, не оглашают воздуха пустыми восклицаниями, а в тишине труда, в ясном спокойствии зиждительной силы действуют и творят. Избави их, боже, отказываться от прошедшего, отрекаться от преданий, от наследства, завещанного им предшественниками. Напротив, в них они видят пособия для нынешнего дня, на них основывают надежды и завтрашнего».[69]

Хранитель «наследства, завещанного ... предшественниками», видящий в этих преданиях «пособия для нынешнего дня», основывающий на них «надежды и завтрашнего», Вяземский не случайно приурочил выпуск своей давно написанной книги к 1848 г., когда начал действовать новый «Современник», когда наиболее злободневным литературным произведением было рукописное «Письмо Белинского к Гоголю», в котором великий критик мимоходом отозвался о Вяземском, как о «князе в аристократии и холопе в литературе», написавшем на всю передовую часть общества донос. И как бы ни уверял Вяземский в предисловии и ни подтверждал приведением цензорской скрепы 1835 г., что книга его была создана в иных условиях и при иных обстоятельствах, центр ее тяжести был не только в истории литературы: и Фонвизин, и литература XVIII в. были использованы Вяземским для борьбы с Белинским, с его критическим отношением к старой русской литературе. И, конечно, против Белинского (а не Н. А. Полевого, умершего в 1846 г.) обращены плоские, раздраженные реплики Вяземского о «скороходах в мишурном наряде и в разноцвет-

---

[69] П. А. Вяземский. Фонвизин СПб., 1848, стр. 295.

ных перьях на голове, которые, стоя на запятках, более всех кричат о успехах времени, более всех суетятся и вертятся на посылках у него, то за тем требованием, то за другим, сами ни единою мыслью, ни единым шагом не подвигают вперед правильного хода его».[70]

Иронизируя над «нашими скороспелками», над «нашими исполинами», Вяземский в то же время утверждает, что «память о прошедшем есть достояние, а частию и сила настоящего», и кончает свою книгу патетическими в библейском духе тирадами: «Горе народу, непочитающему старины своей! Горе поколению, отвергающему заветы родоначальника своего! Горе писателям, которые самонадеянно предают забвению и поруганию дела доблестных отцов! Ни тем, ни другим не бывать *долголетними на земле*».[71]

Консервативная по своей общественно-политической направленности монография Вяземского с фактической стороны все же имела при своем появлении и имеет еще и сейчас серьезное значение. Автор использовал большое количество недоступных в то время архивных материалов о Фонвизине, учел многое из того, что было устными преданиями, привел в некоторую систему факты из истории театра, литературы, журналистики и общественной истории 1760—1790-х годов и все это изложил с большим искусством и литературным блеском.

Однако в освещении Вяземского Фонвизин является чуть ли не любимцем Екатерины: «Она любила ум не только за границею, но и у себя дома; покровительствуя ему в чужих землях, благодетельствовала ему в отечестве ... Фонвизин был современником эпохи благоприятной, был действующим лицом на сцене петербургской, в сей сфере деятельности русской, в сем средоточии русской гражданственности...»[72] Но все же Вяземский вынужден сделать признание: «Кажется, что государыня под конец уже не благоволила к Фонвизину».[73]

Характеристика, данная Вяземским царствованию Екатерины, по своей панегиричности превосходит все то, что писалось по этому поводу кем бы то ни было: «Сие царствование, громкое, великолепное, восторженное, имело в себе много лирического. Его можно назвать высоким, торжественным гимном в истории отечественной. Все в нем способствовало к возвышению и славолюбию духа народного. Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими, озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающих нам действующие лица гомеровские. Это живые выходцы из Илиады».[74]

---

70 Там же

71 Там же, стр. 298.

72 Там же, стр. 18—19.

73 Там же, стр. 285.

74 Там же, стр 9—10.

Эта фальшивая картина «блистательного века Екатерины» бесконечно далека от подлинной исторической действительности, которую молодой Пушкин в кишиневских «Заметках по русской истории XVIII в., № 1» изобразил в диаметрально противоположном освещении: «Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояних, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных <...> в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства <...> Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию <...> Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего канцеляриста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство».[75]

Таковы две характеристики одного и того же периода русской истории, одна — остававшаяся в то время ненапечатанной, другая — увидевшая свет в 1848 г. Если вспомнить указание П. И. Бартенева о преследовании при Николае I памяти Екатерины II, то может возникнуть вопрос, не намеренно ли сделал это Вяземский, желая досадить императору, но его реакционная в это время репутация категорически исключает такое предположение.[76]

Особый интерес представляет книга Н. Н. Булича «Сумароков и современная ему критика» (СПб., 1854). Это по существу была первая после «Фонвизина» Вяземского серьезная книга о «сатирическом» направлении, столь настойчиво выделенном в статьях Белинского последнего периода. В своих поздних воспоминаниях Булич указывал, что книга его вышла в сильно урезанном виде. Представленная в качестве диссертации в Петербургский университет, она, по требованию тогдашнего декана Н. Г. Устрялова, была сокращена: из нее была удалена «почти половина <вторая> книги. В этой части было

[75] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т XI М.—Л., Изд АН СССР, 1949, стр. 15—16.

[76] О Вяземском см.: Н. Л. Лернер. — Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 12, 1913, стб. 248—251. — Книга о Фонвизине была перепечатана в Полном собрании сочинений Вяземского (т. V. СПб, 1880). Здесь восстановлены некоторые места, в свое время запрещенные цензурой (ср. стр. 217, стихи 22—24: ср. по изданию 1848 г. стр. 331, первые три стиха сверху).

подробно изложено содержание занимавших в то время <1770-е годы> общество XVIII века вопросов: и о крепостном праве, и о положении народа, и о законодательстве, обо всем, чего могла касаться тогда сатира».[77]

После такой операции книга Булича мало чем выделялась из прочей продукции «фактического» направления. Любопытно, что, когда она вышла в свет, в многочисленных рецензиях (А. Д. Галахова, К. Н. Бестужева-Рюмина, В. П. Гаевского, А. Н. Пыпина и др.) автора упрекали не столько за слабость общей концепции или поверхностное понимание общественного смысла творчества Сумарокова, сколько за неполноту использованных материалов.[78]

Главная задача диссертации Булича состояла в том, чтобы показать общественную атмосферу, в которой развивалось творчество Сумарокова и связанная с ним журналистика, охарактеризовать историческую обстановку, отразившуюся в произведениях «сатирического» направления 1750—1770-х годов, осветить литературную деятельность Сумарокова не как художественно действенный, эстетически воспринимаемый материал, а как документ эпохи. После цензурных купюр работа Булича представляла вполне академическую, как будто целиком отрешенную от злобы дня монографию о писателе, умершем почти за три четверти века до появления книги. Между тем Булич, правый гегельянец по своим философским убеждениям,[79] выступал в ней как защитник западнических либеральных теорий. И, очевидно, такой трактовкой вопросов «о крепостном праве, о положении народа, о законодательстве» и объясняется недовольство университетского руководства.

Аналогичный в общем характер имела упоминавшаяся выше книга А. Н. Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.» (М., 1859), в значительной мере построенная на материалах, близких к тем, которые были обнаружены Буличем. В ней также на первом плане — фактический материал, в ее основе — та же либеральная трактовка исторического процесса XVIII в.

---

[77] Автобиография Булича в «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова (т. VI. СПб., 1904, стр 128).

[78] А. Н. Пыпин. — «С.-Петербургские ведомости», 1854, № 83 и 84; перепечатана в кн.: Письма И С Аксакова и других к библиографу С И Пономареву. М., 1915, стр 184—201.

[79] Н С Булич Николай Никитич Булич и современное ему казанское общество С предисловием Н. К. Пиксанова. — Уч. зап. Казанск. гос. ун-та, 1930, т. 30, вып. 5, стр. 907.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕРЦЕН, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ДОБРОЛЮБОВ

Сторонники «библиографического» и «академического» направлений сделали очень много для изучения литературы XVIII в. в фактическом отношении, но оказались совершенно неспособны осмыслить литературный процесс, философски осветить его. Впрочем, и последующие буржуазные историки литературы XVIII в. не внесли в этом плане ничего существенного.

В середине прошлого столетия к изучению литературы XVIII в. обратились Герцен, Чернышевский и Добролюбов. Их суждения о литературе этого периода являются одним из самых ценных достижений русского литературоведения.

Для Герцена, родившегося в 1812 г., окруженного людьми, большая часть сознательной жизни которых прошла в царствование Екатерины II, XVIII век был еще отчетливо ощущаемой эпохой, а литература этого периода воспринималась им, по крайней мере в школьные годы, как литература более значительная, чем современная. Превосходное, хотя и исполненное иронии, знание русской литературы XVIII в. Герцен обнаружил в ранних произведениях, но это были попутные высказывания, по которым нельзя составить полного представления об оценке им всей литературы XVIII в. и о том, какое место отводит он ей в развитии русского общества.

Лишь в заграничный период деятельности, в процессе работы над произведениями начала 50-х годов XIX в. («О развитии революционных идей в России», 1851; «Русский народ и социализм», 1851—1852, и др.), определились его взгляды на существо и характер литературы XVIII в., ее значение в истории русской общественной мысли.

Историко-литературные концепции Герцена, в особенности в отношении XVIII в., были очень самостоятельны и иногда содержали такие положения, которые намного опережали развитие литературной историографии XVIII в. и по-настояще-

му стали понятны лишь в советское время. Особенно важным является произведение Герцена «О развитии революционных идей в России».[1]

Исходя из тезиса о прогрессивной роли революций в развитии общества, Герцен считал, что «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, — только предисловие».[2] В этом «предисловии» Герцен видел одну многовековую борьбу народа с внешними и внутренними врагами, монголами, царизмом, крепостным правом, изнурявшую, толкавшую его на край гибели. «Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости» (VII, 166). Выход, по мнению Герцена, был только в революции. И она пришла: «Революция, которая должна была спасти Россию, вышла из лона самого дома Романовых» (VII, 166) — явился Петр I, «подлинное воплощение революционного начала, скрытого в русском народе» (VII, 168—169).

Высоко оценивая историческую роль Петра, Герцен отмечал в то же время ее антинародный характер: «...то было начало молодого, деятельного, не знающего узды деспотизма, равно готового и на великие дела, и на великие преступления» (VII, 172). Период после смерти Петра он характеризует как полнейшую правительственную анархию (VII, 176), которая почти прекратилась со вступлением на престол Елизаветы и кончилась при Екатерине II.

Царствование последней Герцен оценивает с двух сторон: «...это было *как бы* (курсив мой. — *П. Б.*) продолжением царствования Петра I. Екатерина принесла с собою в императорский дворец известное изящество, светскость и хороший вкус, чего не было до нее и что оказало благотворное влияние на высшие слои общества» (VII, 181).

Но Герцен понимал и отрицательные стороны деятельности императрицы: «Екатерина II не знала народа и причинила ему только зло: истинным ее народом было дворянство, и она превосходно знала эту среду» (VII, 181). Больше всего Герцен воз-

---

[1] Книга Герцена «О развитии революционных идей в России» была первоначально напечатана в форме статей на немецком языке в журнале «Deutsche Monatschrift» (Bremen, 1851). Текст этот, переведенный в том же году на французский язык, подвергался некоторым сокращениям Об этом см.: G. Ziegengeist 1) Die Erstfassung von Alexander Herzens Schrift «Von der Entwicklung der revolutionaren Ideen in Rußland» in der «Deutschen Monatschrift» — Vorträge auf der Berliner Slawistentagung (13. November 1954) Berlin, 1954, S 312—330, 2) Unbeachtete Außerungen Alexander Herzens uber die russische Geistesbewegung der Jahre 1812—1848 — Zeitschrift für Slawistik, 1958, Bd. III, H 2—4, S 445—482. — Общая оценка этого труда Герцена и определение его значения в исторической и философской концепции писателя см в кн В А Путинцев. Герцен — писатель, изд. 2-е. М, 1963, стр. 184—188,—а также в комментарии к Собранию сочинений А. И. Герцена в 30 томах (т. VII М., 1956, стр. 413—422).

[2] А. И. Герцен. Собр соч. в 30 томах, т VII, стр 153. — В дальнейшем ссылки даются в тексте по этому изданию.

мущен «тем преступлением, которое она совершила по отношению к крестьянам ... отчуждать от государства населенные земли, превращать свободных хлебопашцев в крепостных, не подумав поставить какие-либо условия их новым владельцам, — это безумие» (VII, 181).

Возвращаясь к характеристике высших слоев общества, Герцен писал: «Цивилизация очень быстро распространилась в верхних слоях дворянства, но она была насквозь иноземной ... идеи энциклопедистов просачивались в петербургское общество. Почти все старики того времени, которых мы только знали, были вольтерьянцами или материалистами, если не были франкмасонами» (VII, 182). Герцен утверждает даже, что «влияние философских идей XVIII века оказалось в известной мере пагубным в Петербурге» (VII, 183). По его мнению, вольтерьянство и энциклопедизм, делавшие во Франции человека революционером, вооружали «русского всеми орудиями диалектики и иронии, способными оправдать в его глазах собственную рабскую зависимость от государя и рабскую зависимость крепостных от него самого. Неофиты цивилизации ... отлично поняли призыв к эпикуреизму, но до их души не доходили торжественные звуки набата, призывавшего людей к великому возрождению» (VII, 183).

Кроме дворян-помещиков и народа, крестьян, Герцен в послепетровской России охарактеризовал еще один слой общества — «чиновный сброд из личных дворян — продажный и лишенный всякого человеческого достоинства класс. Воры, мучители, доносчики, пьяницы и картежники, они были и являются еще и теперь самым ярким воплощением раболепства в империи» (VII, 183).

По мнению Герцена, ни жившая своей особой жизнью крестьянская Россия, «ничего не воспринявшая от европейской цивилизации» (VII, 173), ни чиновничество не являлись действующими силами русской истории — «все умственное и политическое движение сосредоточилось лишь в дворянстве. За исключением пугачевского эпизода и пробуждения народа в 1812 году, история России — не что иное, как история русского правительства и русского дворянства» (VII, 175).[3]

Эти две силы — правительство и сознательное, политически мыслящее дворянство — видит Герцен и в литературном развитии России, в особенности с XVIII в. Оценка им допетровской литературы, вполне совпадающая с общераспространенной в то время точкой зрения (Пушкина, Белинского), свидетельствует о том, что для Герцена этот период не представлял никакого интереса, так как не укладывался в его гегельянскую концепцию истории русской литературы как диалектического

---

[3] Ср. в статье «Русский народ и социализм»: «...вся история России со времен Петра есть только история дворянства и влияний просвещения на него» (VII, 331).

процесса. Именно поэтому всему древнему периоду русской литературы[4] Герцен уделяет буквально четыре строки: «До XVIII столетия никакого движения в литературе не было. Несколько летописей, поэма XII века („*Поход Игоря*“), довольно большое количество сказок и народных песен, по большей части устных, — вот и все, что дали десять веков в области литературы» (VII, 184).[5]

Особенно интересует Герцена «новорусская» литература, т. е. литература XVIII — начала XIX вв. В развитии последней он усматривает два этапа, рубежом которых является вступление на престол Екатерины II. «В продолжение XVIII века, — пишет Герцен, — новорусская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь, — язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики, и легкую, сверкающую игру французского остроумия» (VII, 331). Но такой язык развился лишь позднее, к концу XVIII в. А до царствования Екатерины II «мы видим лишь подготовительную работу; язык приспосабливается к новым условиям существования» (VII, 188).

Герцен, как и Белинский, отрицает органическое происхождение литературы XVIII в. и рассматривает ее как один из итогов деятельности Петра: «Эта литература, возникшая по гениальному мановению Петра I, имела, это правда, характер правительственный, но тогда знамя правительства был прогресс, почти революция» (VII, 331).

«Правительственным» происхождением литературы и политикой верховной власти Герцен объясняет своеобразие развития русской литературы XVIII в. как литературы цивилизации. «Эта тесная близость литературы и правительства, — пишет он, — стала еще более явной во времена Екатерины II» (VII, 188).

Не разъясняя причин констатируемого им исторического факта, Герцен утверждает: «Европеизированная русская литература начинает приобретать известное значение лишь во времена Екатерины II» (VII, 188).

---

[4] Развитию языка в древний период Герцен уделяет значительно больше внимания и высказывает тонкие и глубокие суждения, например о славянском переводе Библии; чрезвычайно важны замечания Герцена о русской и украинской песне (VII, 185).

[5] Ср. в статье «Новая фаза русской литературы»: «Правда, *до насаждения цивилизации* были зародыши иной литературы, но она не имела ничего общего с литературой просвещенной. Язык, даже самые печатные буквы, — все было иное. Это была простонародная и бедная литература, в которой слышались первые отзвуки чисто народного лиризма и благочестивые размышления ссылаемых и гонимых раскольников. Это были плавные, печальные, меланхолические песни, иногда, впрочем, они отражали порывы безумного веселья. Что же касается до религиозных произведений, то они всегда отличались мрачным, суровым, аскетическим характером» (XVIII, 173—174, ср. там же, 124).

И здесь он подходит к самому сложному вопросу в трактовке движущих сил развития литературы XVIII в.: на кого опиралась эта литература, кто были ее читатели, ее деятели?

По мнению Герцена, правительственная, «апологетическая», как он ее называет, поэзия не пользовалась популярностью: ею, «при всей ее искренности, при всей красоте ее пластического языка, наслаждался и восхищался лишь узкий круг духовенства и ученых. Высшее общество ничего не читало по-русски, низшее — вообще ничего не читало» (VII, 188).[6]

Подобным образом оценивая русскую литературу середины и отчасти второй половины XVIII в., Герцен выделяет только двух писателей: Ломоносова, которого он считает «типом русского человека», и Державина, поэта Екатерины, «поэта большого таланта»: «полный восторженной любви, он пишет ей <Екатерине II> послания, оды, гимны и сатиры, он на коленях перед нею, он у ее ног, но он вовсе не холоп, не раб ... Порою муза его находит слова, совсем иные, нежели те, в которых раб воспевает своего господина» (VII, 188).

Настоящее начало новой русской литературы, литературы не правительственной цивилизации, а русского общества, Герцен видит в творчестве Фонвизина. «Первым русским произведением, снискавшим огромную популярность, была ... комедия, едкая сатира на провинциальных дворянчиков» (VII, 188—189). — пишет он,имея в виду «Недоросля». И далее следует яркая, великолепная характеристика Фонвизина, определяется его историческое значение: «Тогда как Державин сквозь ореол славы, окружавшей трон, видел одну лишь императрицу, Фонвизин, ум сатирический, видел изнанку вещей; он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его потугами на цивилизованность. В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией» (VII, 189).

Герцен объясняет, в чем заключается внутренний смысл этого сатирического, обличительного направления, выросшего из насаждавшейся правительством цивилизации, но обратившегося против последней и ее вдохновителей: «В этой иронии, в этом бичевании, не щадящих ничего, даже личность самого автора, мы находим какую-то радость мести, злорадное утешение; этим смехом мы порываем связь, существующую между нами и теми амфибиями, которые, не умея ни сохранить свое варварское состояние, ни усвоить цивилизацию, одни только и удерживаются на официальной поверхности русской жизни. Неутомимый протест неотступно преследовал эту аномалию. Он был горячим, беспрестанным» (VII, 189).

[6] Ср. в статье «Русский народ и социализм»: «Русский народ не читает Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не поселяне, а дворяне. и часть среднего сословия» (VII, 331).

Это критическое, сатирическое направление Герцен считал глубоко оригинальным, по существу антимонархическим, даже революционным: «Анализ общественной патологии определил преобладающий характер современной литературы. То было новое отрицание существующего порядка вещей, которое вырвалось, наперекор монаршей воле, из глубины пробудившегося сознания, — крик ужаса каждого молодого поколения, опасающегося, что его могут смешать с этими выродками» (VII, 189).

Столь высокая оценка критико-сатирического направления в русской литературе XVIII — первой половины XIX в. совмещается у Герцена с явным непризнанием ее социально-воспитательной роли. Он почти повторяет известные слова мадам де Сталь о том, что в России литературой занимаются несколько дворян.[7] Вслед за приведенной выше цитатой Герцен пишет: «В XVIII веке русская литература, по сути дела, являлась лишь благородным занятием нескольких умных людей и не оказывала никакого влияния на общество» (VII, 189).

Герцен впервые в русской литературной историографии обращает внимание на роль масонства в истории общества. Он считает, что «серьезное начало ... влиянию <литературы на общество в России> было положено франкмасонами, сразу придавшими другой характер литературному дилетантизму» (VII, 189). Опираясь частью на устные, частью на рукописные материалы, частью на книгу Кенига «Картины русской литературы» (1837),[8] так как никаких печатных сведений о русских масонах в первой половине XIX в. не было, Герцен с большим сочувствием говорит о масонстве и «главе его» Новикове. Последний, по характеристике Герцена, «был одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму, — одним из тех проводников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих идей» (VII, 189). Не раскрывая того, что он разумеет под «торжеством идей» Новикова, в результате которого стал известен «подвиг» последнего, Герцен с большой теплотой, но в то же время и с рядом фактических ошибок, объясняемых, очевидно, недостаточной точностью информации, характеризует деятельность того, кого он называет «великим мастером масонской ложи». «Каким огромным делом, — восклицает Герцен, — оказалась эта смелая мысль — объединить во имя нравственного интереса в братскую семью

---

[7] Так передал ее мысль Пушкин. См M-me de Stael Dix années d'exil Paris, 1904, p 331 («Quelques gentilhommes russes ont essayé de briller en littérature» — «Несколько русских дворян пытались блистать в литературе»). Ср: С. В Дурылин Г-жа де Сталь и ее русские отношения — Литературное наследство, т. 33—34, 1939, стр. 271 и 324

[8] Книга Кенига была впоследствии переведена на русский язык Очерки русской литературы Перевод сочинения Кенига «Literarische Bilder aus Rußland». СПб., 1862.

все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин, до бедного школьного учителя и уездного лекаря!» (VII, 190).

Симпатии к масонству в известной части русского общества XVIII в. Герцен объясняет как реакцию против «быстро распространявшегося грубого эпикуреизма» (VII, 183).

Еще с большим уважением, чем о «неутомимом человеке» Новикове, говорит он о «последнем великом писателе той эпохи — Карамзине» (VII, 190). Считая, что характерными чертами последнего являлись «точка зрения философская и нравственная, филантропические фразы, всегда исторгаемые чужим несчастьем слезы, отвращение ко всякому злоупотреблению силой, большая любовь к просвещению и патриотизм, хотя и несколько риторический» (VII, 190—191), Герцен в то же время отказывает Карамзину в основном — в стройности и твердости мировоззрения: «но все без единства, без руководящей мысли, без какого-либо глубокого убеждения» (VII, 191).

И еще один существенный недостаток Карамзина видел Герцен — ему «не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже к Дмитриеву — задушевному другу Карамзина» (там же).

Тем не менее Карамзин как личность очень импонирует Герцену. «Влияние последнего на литературу можно сравнить с влиянием Екатерины на общество, — писал он, имея в виду принесенные Екатериной во дворец „изящество, светскость и хороший вкус“, которые благотворно повлияли на высшие слои русского общества; — он <Карамзин> сделал литературу гуманною» (VII, 190). Привлекает Герцена и нравственный облик Карамзина: «В этом молодом литераторе, которого окружала среда мелкого честолюбия и грубого материализма, чувствовалось нечто независимое и чистое» (там же). Именно поэтому «Карамзин был первым русским литератором, которого читали дамы». За этим следует любопытное обобщение: «То, что наши первые писатели были светскими людьми, является большим преимуществом русской литературы. Они внесли в нее известное изящество, присущее хорошему тону, выдержанность в словах, благородство образов, отличающие беседу людей воспитанных. Грубость и вульгарность, встречающиеся порой в немецкой литературе, никогда не проникали в русскую книгу» (VII, 191).

Обращает на себя внимание то удивительное обстоятельство, что в книге «О развитии революционных идей в России», как и в статье «Русский народ и социализм», Герцен ни разу не назвал имени Радищева. Таким образом, получился печальный парадокс: в первом труде, посвященном истории революционных идей в России, не упомянут первый русский революционер. Объяснить это можно только тем, что о Радищеве в момент писания своего труда Герцен еще не знал.

Этот факт тем более непонятен, что Герцен обнаружил в своей книге «О развитии революционных идей в России» знание и правильное понимание таких явлений общественно-политической жизни XVIII в., которые лишь в советское время привлекли внимание исследователей, вероятно, независимо от Герцена. Здесь имеется в виду его отношение к тому течению дворянской политической мысли второй половины XVIII в., которое Г. А. Гуковский назвал «дворянской фрондой» (см. ниже, стр. 208). Первым указал на это явление Герцен, притом задолго до выхода в свет книги П. С. Лебедева «Графы Никита и Петр Панины» (СПб., 1863). Характеризуя движение декабристов, Герцен затронул вопрос об оппозиционных течениях в русской истории: «Это <движение декабристов> была первая поистине революционная оппозиция, создававшаяся в России. Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была консервативной. И даже та, которую образовали в царствование Екатерины II несколько вельмож, подобно графу Панину, не выходила из круга строго монархических идей: порою она бывала энергичной, но всегда оставалась покорной и почтительной» (VII, 196).

В сущности взгляды Герцена на литературу XVIII в. в начале 1850-х годов исчерпываются изложенными материалами. Окончательную формулировку своих воззрений на нее он поместил в конце главы III («Петр») своей книги: «...тот период, который мы обозрели, — лишь отрочество цивилизации и русской литературы. Наука процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось, — великой революционной идеей все еще была реформа Петра. Но власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен. Но могло ли быть иначе, если наследник царей, династ, преемник Алексея, наконец, самодержец всея Руси, Белой и Червонной, Великой и Малой, Петр I, был и до времени явившимся якобинцем и революционером-террористом?» (VII, 192).

При всей бросающейся в глаза переоценке исторического значения Петра Великого, при всем том, что последующее изучение опровергло точку зрения Герцена, будто в русской литературе XVIII в. «революционных идей почти не встречалось», его общая концепция, несомненно, являлась значительным шагом вперед в понимании русского литературного процесса XVIII в. Самым существенным моментом было то, что уже в литературе XVIII в. он заметил особенности, подготовившие иронию, сарказм людей его поколения. Это значило больше, чем простое подтверждение довольно распространенного мнения о роли Фонвизина как зачинателя сатирического направления в русской литературе.

И если в следующей главе книги, останавливаясь на литературной деятельности декабристов, Герцен дает знаменитую характеристику политической роли русской литературы,[9] то «крик возмущения и совести», о котором он говорит в данной связи, впервые зазвучал, по его же словам, в произведениях Фонвизина.

Поэтому и позднее, когда Герцену стал известен Радищев и он опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву» со своим предисловием, в котором с присущей ему глубиной и художественной силой охарактеризовал автора этой книги, любимым писателем XVIII в. остался для него все же Фонвизин. «Этот первый смех (сатиры князя Кантемира представляли собой лишь подражания) далеко отозвался и разбудил фалангу великих насмешников, — писал Герцен, — и их-то *смеху сквозь слезы* литература обязана своими крупнейшими успехами и в значительной мере своим влиянием в России» (XVIII, 178).

В Радищеве Герцен видел главным образом соратника Фонвизина. «...Слезы, негодование, сострадание, ирония, — родная наша ирония, ирония-утешительница, мстительница, — все это вылилось в его превосходной книге» — писал он в предисловии к своему изданию «Путешествия» Радищева (XIII, 272—273). И хотя Герцен признавал, что идеалы Радищева — «это наши мечты, мечты декабристов» (XIII, 273), хотя с симпатией к писателю-революционеру отмечал, что «он *едет по большой дороге,* он сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, с рекрутами, и во всяком слове его мы находим с ненавистью к насилью громкий протест против крепостного состояния», все же многое в «Путешествии» представлялось издателю книги устарелым — «тогдашняя риторическая форма» и «филантропическая философия». «Но юмор его, — продолжает Герцен, — совершенно свеж, совершенно истинен и необычайно жив. И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце» (XIII, 273).

Несколько позже, в «Новой фазе русской литературы», Герцен вновь возвращается к характеристике Радищева и его книги. Здесь он пытается объяснить, в силу каких исторических условий развилась в русской литературе ирония, горькая, страстная, ни пред чем не останавливающаяся: «Смех, это самобичевание, был нашим искуплением, единственным протестом, единственным мщением, возможным для нас, да и то в весьма ограниченных пределах. Как только сознание пробудилось,

---

[9] «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» (VII, 198)

человек с отвращением увидел окружавшую его гнусную жизнь: никакой независимости, никакой личной безопасности, никакой органической связи с народом. Само существование было лишь своего рода казенной службой. Жаловаться, протестовать — невозможно!» (XVIII, 178). И в качестве трагического примера бесплодного протеста Герцен приводит Радищева: «Радищев попробовал. Он написал серьезную, печальную, полную слез книгу. Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных» (там же).

И хотя Герцен считал, что книга Радищева по своей литературной форме устарела, в попытках ее автора понять причины заунывности услышанной им песни ямщика, проникнуть в смысл «доселе гадательного в истории российской», размышляя о пьяном бурлаке, в слезах раскаяния, вызванных воспоминанием о побоях, нанесенных им некогда своему дворовому, — во всем этом он видел начало нового этапа русской литературы, поворотный пункт литературного развития: «От этой песни, от этих слез, от этих слов, потерянных на почтовом тракте, между двух станций, надобно считать одну из начальных точек обратного течения; зачатие всегда делается тихо, и след его обыкновенно сначала пропадает. Императрица Екатерина поняла, в чем дело, и изволила „с жаром и чувствительностью“ сказать Храповицкому: „*Радищев — бунтовщик хуже Пугачева!*“ Удивляться, что она его отослала в цепях в Илимский острог, — нелепость. Гораздо удивительнее то, что Павел воротил его. . .» (XVI, 64).

Таким образом, как бы в дополнение к своей книге «О развитии революционных идей в России» в статье «Император Александр I и В. Н. Каразин», из которой только что приведены цитаты, Герцен рядом с Фонвизиным, открывшим иронии путь в русскую литературу, ставит Радищева. Из слов «обратное течение», из приведенного отзыва Екатерины II о Радищеве как бунтовщике более опасном, чем Пугачев, можно было бы заключить, что Герцен рассматривает автора «Путешествия» как зачинателя революционной линии в русской литературе. Однако это не так: вслед за цитированным отрывком Герцен дает — как почти всегда — яркую характеристику «кающегося дворянина», продолжателя радищевской традиции: «С тех пор время от времени являются какие-то потерянные, безгромные зарницы — являются люди, воплотившие в себя историческое угрызение совести, бессильные искупители, неповинные страдальцы за грехи отцов. Многие из них готовы были все отдать, всем пожертвовать, но не было алтаря, некому было принять их жертву. Одни стучались во дворец, на коленях умоляли опомниться; их речь будто потрясала венценосцев, но из этого ничего не вышло; другие стучались в избу, но не могли ничего сказать мужику, — так разошлись их языки. Крестьянин смотрел сурово и недоверчиво на эти „дары несущих данаев“,

и с горестью отходили от него раскаивающиеся, сознавая, что у них нет родины» (XVI, 65).

Исходя из своего понимания места «раскаивающихся» в истории русской общественной мысли и русской литературы, видя в них не связанных с народом и друг с другом одиночек, Герцен едва ли не первый создает легенду об одиночестве Радищева: «Сироты мысли, сироты любви, иностранцы дома, разобщенные между собой, эти пять-шесть лучших людей в России гибли в праздности, окруженные безучастием, ненавистью, непониманием. Новиков сидел в крепости, Радищев — в Илимске» (там же). Своим изданием «Путешествия» Герцен вернул Радищева истории русской литературы; в этом была громадная его заслуга, так как до 1905 г. лондонское издание этой книги оставалось почти единственным,[10] и в то же время он неверно истолковал роль Радищева, положив начало не изжитой еще вполне и в наши дни традиции видеть в нем трагического одиночку.

В литературной историографии XVIII в. воззрения Герцена представляют одну из самых оригинальных страниц. Во многом они совпадают со взглядами Пушкина, для которого Петр I также был «революционером», который высоко ценил Фонвизина и Радищева и также отрицал положительную роль Екатерины II в русской истории и литературе. Однако Герцен, независимо от Пушкина, привел в более или менее законченную систему то, что у его великого предшественника оставалось в форме программ статей («О ничтожестве литературы русской») и разрозненных высказываний.

Важнейшее преимущество Герцена как публициста и в особенности как создателя историко-литературной концепции XVIII в. заключалось в том, что он не был стеснен цензурой, тяготевшей над Белинским, Чернышевским и Добролюбовым; их статьи о литературе XVIII в., больше всего Добролюбова, сильно пострадали от цензорских сокращений, и это надо иметь в виду при анализе материалов, в которых отразилось их понимание истории литературы XVIII в. в целом и значения деятельности отдельных ее представителей.

Было бы несправедливо совершенно пренебречь первыми, написанными в 1850 г. работами Чернышевского о писателях XVIII в. («О „Бригадире“ Фонвизина», «Русские трагики: Сумароков, Княжнин и Озеров») на том основании, что одна из них — студенческое сочинение на степень кандидата, другая —

---

10 Вышедшее в 1868 г. в Петербурге так называемое шигинское издание «Путешествия» было напечатано без трех важнейших глав. Сочинения Радищева под редакцией П. А Ефремова (1872) полностью уничтожила цензура. «Путешествие», изданное Сувориным в 1888 г., вышло в количестве 100 экземпляров и продавалось по 25 рублей за экземпляр. Подробности см. в кн.: Н. П. Смирнов-Сокольский Рассказы о книгах М, 1959, стр. 92—122

экзаменационное сочинение на степень магистра.[11] Уже в этих ранних произведениях великого критика высказаны интересные соображения о литературе XVIII в., повторенные им через несколько лет в «Современнике», а затем в более развитом виде перешедшие в «Очерки гоголевского периода русской литературы».

В обеих редакциях своего кандидатского сочинения,[12] отчасти под влиянием отрицательного отношения к «Бригадиру» авторов использованных им критических пособий — П. А. Вяземского и С. С. Дудышкина («Отечественные записки», 1847, № 8, отд. V, стр. 21—40 и № 9, отд. V, стр. 23—46), Чернышевский с чрезвычайной строгостью, даже придирчивостью, проанализировал комедию Фонвизина и пришел к крайне резким выводам: Фонвизин имел «слишком мало» влияния на общество (II, 793, 806), форма его комедий «противухудожественная и противуестественная» (II, 794); Чернышевский сомневается в том, «оригинально ли содержание комедий у Фонвизина» (II, 794, 806); не считая недостатком «Бригадира» то, что «действующие лица не развиваются», он видит «невознаградимый недостаток» в том, что «они не живые люди» и «действуют против своей натуры» (II, 798, 808); наконец, «ход пьесы не связан, произволен, перерывается ненужными отступлениями на каждом шагу» (II, 805, 814).

Однако отрицательное отношение Чернышевского к Фонвизину нельзя объяснять только влиянием на него Вяземского и Дудышкина. Значительно бо́льшую роль, как нам кажется, играли его тогдашние общественно-политические и философские взгляды, в которых комментатор данной работы Чернышевского Г. В. Прохоров усматривает «основы будущих воззрений его на литературу» (II, 871).

Действительно, ставя вопрос о том, имел ли Фонвизин влияние на общество, Чернышевский замечает: «Нужно, впрочем, согласиться в том, что́ называть влиянием на общество какого-нибудь литературного произведения ... Оно бывает только тогда, если идеи, лежащие в основании произведения, входят в живое прикосновение с действительною (умственною, нравственною или практическою, это все равно, но непременно с действительною) жизнью общества, так что, прочитавши это произведение, общество станет себя чувствовать не совсем таким, как прежде, почувствует, что его взгляд на вещи прояснился или изменился, почувствует, что дан толчок его

[11] Произведения Н. Г. Чернышевского цитируются по Полному собранию сочинений (тт. I—XVI. М., Гослитиздат, 1939—1953). Студенческие работы Чернышевского перепечатаны в т. II: «О „Бригадире" Фонвизина», стр. 792—806 (первая редакция) и стр. 806—815 (вторая); «Русские трагики: Сумароков, Княжнин и Озеров» — стр. 816—817.

[12] Первая, представленная Чернышевским проф. А. В. Никитенко, была сперва затеряна слугой последнего и отыскана уже после представления автором второй, более краткой, редакции (см.: ПСС, II, 871).

умственной или нравственной жизни» (II, 793). По мнению Чернышевского, «такого влияния на общество русская литература при Екатерине не имела» (там же).

Вторым важным эстетическим принципом, выдвинутым Чернышевским в его кандидатском сочинении, было положение, что «законы художественности не могут противоречить тому, что есть в действительности, не могут состоять в том, чтобы действительность изображалась не в своем настоящем виде; как она есть, так и должна она отразиться в художественном произведении» (II, 796). Во второй редакции своей работы Чернышевский выразил эту мысль так: «Роман, комедия, трагедия, лирическое стихотворение должны одинаково изображать действительность, изображать людей, характеры, действия, чувства такими, какими бывают они в действительности» (II, 807).

Выдвигая эти положения, явившиеся основой будущей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», Чернышевский неправомерно предъявлял к Фонвизину, писателю другой исторической эпохи, стоящему у истоков русского реализма, подобные строго реалистические требования.

По-видимому, ошибка Чернышевского связана с тем, что к этому времени он был еще мало знаком с историко-литературными взглядами Белинского, с его глубоко историческим, особенно в последние годы деятельности, подходом к объяснению фактов литературного прошлого. Как справедливо указывает Н. В. Богословский в комментариях к «Эстетическим отношениям искусства к действительности», лишь «начиная с 1850 года Белинский становится для Чернышевского подлинным светочем и путеводителем до конца его деятельности» (II, 820), т. е. уже после того, как была написана работа о Фонвизине.

Справедливость требует отметить, что через несколько лет, выступая в печати, Чернышевский иначе отзовется о Фонвизине, в частности о «Недоросле», который наряду с «Горем от ума» и «Ревизором» был для него вершиной русской комедии (II, 232; см. также ниже). Впрочем, общую точку зрения на литературу XVIII в. Чернышевский сохранил и тогда. В рецензии на «Мелочи из запаса моей памяти» М. Дмитриева (1854) он по-прежнему не признавал общественного влияния русской литературы XVIII в. (II, 610—611) и на этом основании высказывал предположение, что «история переводной литературы, к сожалению представляющая в настоящее время очень много затруднений по необработанности материалов, была бы едва ли не интереснее истории оригинальной литературы старого времени» (там же).

Вместе с тем Чернышевский, исходя из признания общественной значимости современной ему русской литературы, полагал целесообразным изучение литературы XVIII и начала XIX в. (II, 611). При всех оговорках подобного рода он считал, что «история русской оригинальной литературы до Жуковского и

Пушкина должна занимать вместе с характеристикою развития переводной литературы чрезвычайно важное место в истории русского просвещения вообще, в истории общественных нравов и понятий» (II, 611). Чернышевский уже в это время признавал, что «нельзя отказать многим писателям XVIII века в почетном месте ... потому что в числе их были люди очень замечательные по благородству и энергии характера» (там же). Трудно сказать, кого именно подразумевал он, говоря: «Память некоторых наших писателей прошлого века всегда будет нам так же священна, как память других деятелей на пользу просвещения и других благ национальной жизни» (II, 611—612). Может быть, прав Н. В. Богословский, высказывая предположение,— правда, в слишком категорической форме,— что Чернышевский имел здесь в виду «прежде всего Радищева, назвать которого по имени он не мог по цензурным соображениям» (II, 864).[13] Думается, что скорее Чернышевский подразумевал тех писателей XVIII — начала XIX в., которых он перечислил в «Очерках гоголевского периода русской литературы», говоря о патриотическом характере деятельности русских литераторов (см. стр. 98), а затем в брошюре «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения» (1856) (III, 314).

Однако главные суждения Чернышевского о литературе XVIII в. сосредоточены в «Очерках гоголевского периода русской литературы».

Историко-литературные взгляды Чернышевского эпохи «Очерков гоголевского периода», как он сам указывает (III, 22), складывались на основе воззрений позднего Белинского. В самом деле, Чернышевский видит в Белинском не только критика, но прежде всего историка литературы: «До него существовала критика, но истории литературы у нас еще не было. Ему мы обязаны тем, что имеем о ней верные и точные понятия» (III, 191). В другом месте он говорит, что Белинский был первым историком нашей литературы (III, 193). Задача, стоявшая перед Белинским, заключалась в том, чтобы, «не увлекаясь ни старым отрицанием, ни еще более старыми панегириками, показать историческое значение различных периодов нашей литературы и замечательнейших ее деятелей, дать нам историю нашей литературы, чего еще не было сделано никем из предшествовавших критиков» (III, 189—190). Чернышевский особенно подчеркивает, что историко-литературная концепция Белинского построена на огромном фактическом материале: «При всяком удобном случае Белинский твердил о необходимости разработки фактов, возбуждал к ней неутомимо, ободрял каждый сколько-

[13] Широко распространенное мнение о том, что имя Радищева запрещено было упоминать в печати, основано на недоразумении: в «Словаре достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (т. IV М., 1836) и в «Словаре русских светских писателей» Евгения (т. II. М., 1845, стр. 139) есть статьи о Радищеве.

нибудь сносный опыт в этом роде... Он сам неутомимо занимался этою разработкою и собрал для истории нашей литературы во сто раз больше фактов, нежели кто-нибудь из современных ему или позднейших писателей по части истории литературы» (III, 273).

Основная ценность деятельности Белинского, по мнению Чернышевского,— в ее пламенном патриотизме (III, 136). Для Чернышевского, как и для Белинского, «высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине». Дав сжатый, но убедительный обзор фактов в подтверждение своей мысли, он продолжает: «Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями,— но почему? Потому что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа. Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, чтó нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству. Державин даже считал себя имеющим право на уважение не столько за поэтическую деятельность, сколько за благие свои стремления в государственной службе. Да и в своей поэзии чтó ценил он? Служение на пользу общую. То же думал и Пушкин. Любопытно в этом отношении, как они видоизменяют существенную мысль горациевой оды <Памятник>, выставляя свои права на бессмертие» (III, 137).

Совершенно естественно, что Чернышевскому, как и Белинскому, наиболее ценным в русской литературе в народно-воспитательном отношении представлялось «направление... которое называют сатирическим». «Оно,— говорит Чернышевский далее,— всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы»; при этом он вспоминает Кантемира, Сумарокова, Фонвизина и Крылова (III, 17). Правда, Чернышевский отличает прочно утвердившуюся литературу от «предшествующих отрывочных, исчезающих без следа, эпизодических проявлений», которые, по его словам, «должны быть считаемы только порывами к осуществлению себя, но еще не действительным существованием» (III, 13—14). Поэтому он видит в превосходных комедиях Фонвизина только блестящий эпизод (III, 14), предвещающий появление русской прозы и русской комедии, и неоднократно констатирует, что как сатиры Кантемира, так и комедии Фонвизина не имели заметного влияния на литературу. Таким образом, патриотизм писателя, его общественные устремления, степень воздействия на литературу в общественно-политическом направлении — вот что привлекает внимание Чернышевского при оценке деятельности любого писателя и, в частности, писателей XVIII в. Не является поэтому неожиданностью, что, перечисляя «сильных дви-

гателей нашего просвещения», он называет наряду с Пушкиным и Гоголем Новикова и Карамзина (III, 48; ср. II, 665).

Чернышевский считал, что задача литературы — «быть служительницею жизни, распространительницею идей». «Литература,— пишет он на заключительных страницах „Очерков гоголевского периода",— не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежавшее в ее натуре,— назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться» (III, 301). Но, давая, и вполне справедливо, столь глубокое толкование термина «литература», Чернышевский отказывает литературе XVIII в. в том, в чем он видит «неустранимую» сущность ее. В этой недооценке роли литературы XVIII в. «как служительницы жизни» и заключается непоследовательность и уязвимое место историко-литературной концепции Чернышевского. В самом деле, либо надо признать, что русская литература XVIII в., как всякая литература, по-своему являлась «служительницей жизни, распространительницей идей», либо необходимо доказать, что у нас до какого-то определенного момента не было литературы. Этого последнего тезиса критик нигде не выдвигает; более того, в одном из ответственнейших мест «Очерков», где Чернышевский вплотную подходит к только что затронутому вопросу, он решает его отрицательно, указывая, что в критике позднего Белинского была дана впервые история русской литературы, «считавшейся до того времени не более, как случайным, безжизненным и почти всегда бессмысленным отражением различных явлений иноземных литератур» (III, 194). Раз так, следовало признать за литературой XVIII в. те же права, что и за более поздними периодами отечественной словесности.

Говоря о литературе как о «служительнице стремлений века», «выразительнице его идей» (III, 302), Чернышевский подходит к самому существенному моменту своей концепции: «Вопрос состоит только в том, каким идеям должна служить она,— таким ли, которые, не имея важного места в жизни века, сообщат и литературе, ими ограничивающейся, характер пустоты, празднословия, или тем идеям, которыми движется век». Он продолжает: «Ответ на это нимало не затруднителен: только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления» (там же). И далее Чернышевский блестяще характеризует «два стремления», составляющие «жизнь и славу нашего времени»,— «гуманность и заботу об улучшении человеческой жизни», подцензурные синонимы социализма и революции. О том, что составляло «историческое дело» литературы XVIII в., в чем были ее «особенные стремления», критик здесь не говорит и, вероятно, потому, что он считал этот период русской литературы подгото-

вительным этапом, лишенным самостоятельного значения. «Главная заслуга Ломоносова и писателей, следовавших за ним до начала нынешнего века,— писал Чернышевский в брошюре о Пушкине,— состояла в том, что они своими произведениями возбуждали охоту к чтению и мало-помалу увеличивали число людей, интересующихся литературою» (III, 314).

Но если Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин и Новиков, которых перечисляет далее Чернышевский, «возбуждали охоту к чтению» в своих читателях, то, надо полагать, тем, что служили идеям, «которыми движется век».

Чем же можно объяснить подобную непоследовательность Чернышевского?

Во-первых, нельзя забывать, что ему не были доступны многие лучшие произведения русской литературы XVIII в.— можно почти наверное утверждать, что до появления герценовского издания «Путешествия из Петербурга в Москву» он не был знаком с Радищевым (все упоминания об этом писателе у Чернышевского крайне общего характера); вероятно, не знал он и «Вадима» Княжнина. Кроме того, разработка истории литературной и общественной жизни XVIII в. в годы писания Чернышевским «Очерков гоголевского периода» была лишь в зачатке. Труды П. П. Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом», «История Академии наук в Петербурге», сборники Русского исторического общества, содержавшие документальные данные о екатерининской Комиссии 1767 г., «Русский архив», «Осмнадцатый век» П. И. Бартенева и пр. еще не появлялись. Фактически к 1854—1856 гг., несмотря на публикации анекдотических и текстологических материалов Шевырева, Погодина, Дмитриева, несмотря на статьи Галахова, Милютина и других, понимание социальной природы литературы XVIII в. было не глубже, чем во времена Пушкина. При этом следует помнить, что сам Пушкин знал по устной традиции многое, что было неизвестно его современникам и последующим поколениям. Такие внимательные критики, как Чернышевский, чувствовали это. Поэтому неудивительно, что во второй главе своей статьи о Пушкине он подробно останавливается на известных тогда отзывах поэта о литературе XVIII в. и хвалит его за проницательность и верность беглых замечаний (II, 476). А мы уже видели, что многие оценки Пушкина были продиктованы не историческими, научно объективными, а полемическими, тактическими соображениями, очевидно не во всем еще утратившими значение и в эпоху Чернышевского.

Во-вторых, задача Чернышевского в «Очерках гоголевского периода» состояла в том, чтобы обосновать, раскрыть и доказать социальную недостаточность и непригодность иных литературных школ и направлений в построении общественно значимого искусства слова. Естественно, что, борясь с романтизмом во всех его проявлениях как со школой, враждебной «гоголев-

скому направлению», Чернышевский не мог не заключить в одни скобки и классицизм, т. е. литературную продукцию XVIII в. Полностью отрицать роль Кантемира, Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Новикова было невозможно, и потому деятельность названных писателей критик рассматривал как «отрывочные, исчезающие без следа, эпизодические проявления», которые представляют «только порывы к осуществлению себя, но еще не действительное существование» (III, 13—14).

Таковы возможные причины недооценки Чернышевским литературы XVIII в. Несмотря на это, его трактовка литературы XVIII в. представляла дальнейший шаг в литературной историографии этого периода: исходя в основном из взглядов Белинского, Чернышевский правильно определил патриотический характер деятельности писателей этого времени и, дав сжатую, но исчерпывающую формулу литературы как «служительницы жизни, распространительницы идей», тем самым указал путь изучения и литературы XVIII в.

Сказалось ли влияние Чернышевского на изучении литературы XVIII в.? Вопрос этот совершенно не исследован и ответить на него можно только предположительно. Прежде всего следует привести любопытное замечание А. Н. Пыпина о влиянии взглядов Чернышевского на ранние работы Пекарского. В некрологе о последнем Пыпин сообщал, что капитальный труд Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом» был предпринят по совету и под непосредственным воздействием Чернышевского.[14] Впрочем, указывает Пыпин, позднее взгляды Пекарского приняли несколько иное направление. В самом деле, большинство работ Пекарского — «Наука и литература в России при Петре Великом» (тт. 1—2, СПб., 1862), «Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 гг.» (СПб., 1867), «История Академии наук в Петербурге» (тт. 1—2, СПб., 1870—1872), «Бумаги имп. Екатерины II» (СПб., 1871) — представляет либо публикацию неизданных архивных документов, либо мозаическую цитацию и пересказ таких материалов, а также библиографические разыскания.

Сочетание документализма с «объективизмом», — как будет показано ниже, мнимым,— приводило к тому, что даже в некрологах, посвященных Пекарскому, несмотря на «академические приличия», отмечался сырой характер его работ. «В своих разысканиях,— писал акад. Я. К. Грот,— он неизменно руководствовался самою основательною, осторожною критикой, иногда доходившею, может быть, до излишнего уважения к записанному

---

[14] См: Петр Петрович Пекарский (некролог). — «Вестник Европы» 1872, сентябрь, стр. 473. — Статья подписана инициалами Пыпина: А. Н, хотя ни в одном списке его трудов она не значится (ср.: Н. В. Здобнов История русской библиографии до начала XX века, изд. 3-е. М, 1955, стр. 546—552, М. В. Машкова. П. П. Пекарский (1827—1872). Краткий очерк жизни и деятельности. М., 1957, стр. 70).

факту, до преувеличенного опасения позволить себе какую-нибудь догадку или смелое соображение. Поэтому все труды его носят господствующий характер драгоценных материалов, необходимых для всякого будущего исследователя, но не представляют того оживленного интереса, которых <!> неспециалист ищет в каждом чтении».[15]

Акад. А. В. Никитенко в «Отчете Отделения русского языка и словесности за 1872 г.» так характеризовал П. П. Пекарского: «Наш покойный академик принадлежал именно к разряду тех ученых-изыскателей, которые питают непреодолимую боязнь ко всякой дедукции; они не допрашивают явлений о их смысле и идее, опасаясь, чтобы их предательски не обмануло неподатливое какое-нибудь явление во время самого процесса вывода, или они сами не обманулись, поддавшись обаянию коварной диалектики... Пекарский упорно заглушал в себе всякий позыв к обсуждению факта, соблазняющему на общий вывод...»[16]

Однако к этим категорическим отзывам о Пекарском следует относиться осторожно. Помимо них, существуют его собственные произведения, которые дают нам иное представление о Пекарском.

Пекарский начал свою литературно-научную деятельность одновременно с Чернышевским и несколько раньше Добролюбова, но сразу же примкнул в меру сил и возможностей к революционным демократам. Он считал, что нельзя создать правильное представление о национальной литературе, изучая только «писателей, пользовавшихся большею или меньшею степенью известности». Пекарский находил нужным для полноты и объективности изображения историко-литературного процесса обратиться к исследованию вклада в национальную культуру «множества тружеников, осужденных после жизни, по большей части переполненной всевозможными лишениями и невзгодами, на совершенное забвение». Признавая, что в «литературной деятельности писателей безвестных также отражается дух своего времени, потребности и направление общества, равно как и средства, бывшие в его распоряжении для удовлетворения или осуществления их», Пекарский утверждал: «Чтобы добыть цельную картину прошлого в литературе, невозможно упускать из виду писателей второстепенных и даже не пользовавшихся никакою известностью. Если не в произведениях, то в жизни их найдется много поучительного и такого, что уясняет позднейшему исследователю неразгаданное и тёмное в истории литературы».[17]

По существу это был отказ от так называемой аристократи-

[15] Я. К. Грот. Воспоминание о П. П. Пекарском — Записки Академии наук, т. XXII, 1872, стр. 277—278, Труды Я. К. Грота. III. Очерки из истории русской литературы. СПб., 1901, стр. 411.

[16] Отчеты Академии наук по ОРЯС за 1866—1891 годы. СПб., 1903, стр. 163.

[17] П. П. Пекарский. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 годов. СПб., 1867, стр. 18—19.

ческой истории литературы, согласно которой литературный процесс делается только знаменитостями, а литераторы второстепенные и третьестепенные только тем и занимаются, что продвигают в круги читателей в популярной форме достижения своих гениальных или просто более талантливых товарищей. Внимание исследователя к рядовым деятелям литературы представляло более демократическое понимание историко-литературного процесса. Этим объясняется интерес Пекарского к таким писателям XVIII в., как К. Кондратович, И. Майков, и другим лицам, о которых он писал в «Энциклопедическом словаре».

Как это ни покажется странным, но весь смысл, весь пафос важнейшего труда Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом» состоит в том, чтобы показать, что наряду с реформами, крутыми мерами, насаждавшимися «царем-преобразователем», и в противовес им существовала глубокая внутренняя жизнь народа. Говоря о литературных произведениях, появившихся при Петре и шедших вразрез с его намерениями, Пекарский заметил: «Для историка важно не только то, что в известное время пользовалось могуществом и авторитетом, но и всякая оппозиция им, в каких бы формах ни проявлялась она в жизни народа».[18]

Только в свете этого положения можно правильно понять несколько неясную исходную точку зрения Пекарского в его «Науке и литературе». Указав, что в истории русского просвещения XVII и XVIII вв. огромное влияние на последующий ход его имело «заведение академии в Киеве Петром Могилою и заботы Петра Великого о распространении знаний в России», Пекарский прибавляет: «в них находится зародыш и начало всего, происходившего в нашей истории наук и литературы, и здесь надобно искать разгадки многому, что существовало и держалось у нас долгое время после».[19]

В этих скупых и как будто повторяющих общеизвестные положения словах на самом деле заключается отрицание того, что новая русская культура есть результат одних только реформ Петра. Эта точка зрения еще более отчетливо была выражена Пекарским в статье «Представители киевской учености в половине XVII-го столетия». «Так называемая новая история нашей литературы,— писал он,— никогда не будет объяснена и представлена в настоящем свете, если ее ставить в исключительную зависимость от событий, имевших место в царствование Петра и его преемников».[20]

Таким образом, ставя в один ряд открытие академии в Киеве и просветительную деятельность Петра, Пекарский выступает

[18] П. П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, стр. 494.

[19] Там же, стр. I.

[20] П. П. Пекарский. Представители киевской учености в половине XVII-го столетия. — «Отечественные записки», 1862, т. 140, отд. I, стр. 552.

против основного тезиса западническо-либеральной концепции историков, только в Петре видевших источник всего положительного в русской жизни XVIII—XIX вв. Однако Пекарский полемизирует с западниками не с позиций славянофилов. Отмечая значение деятельности Киевской академии, он вовсе не имел в виду приписать последней какую-то выдающуюся и тем более положительную роль в жизни народа. «Заведение в Киеве коллегиума, — писал Пекарский, — ...не было потребностью народа, еще угнетенного и не имевшего никаких политических прав». Далее он указывал, что «киевский коллегиум не имел ничего общего с народом», а служил интересам шляхты (дворянства) и высшего духовенства. Характерной чертой киевских ученых, по мнению Пекарского, была «нетерпимость, жажда господства и вражда к свободной умственной деятельности».[21] Смысл исследований Пекарского может быть определен так: киевская схоластика и петровские реформы не были связаны с народной жизнью и не были вызваны ею, и этим объясняется дворянский, ненародный характер русской литературы XVIII в.

При чтении этих строк нельзя не вспомнить статьи Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы» (см. ниже), где проводится та же мысль о различии интересов народа и высших классов общества в области литературы.

Пекарского надо читать несколько иначе, чем принято читать других историков литературы; он избегал полных, систематизированных выражений своей общей позиции. Но из отдельных, как будто случайных высказываний складывается образ ученика Чернышевского, пусть ученика не боевого, не яркого, но искреннего и честного.

В этом отношении показательна одна мысль Пекарского, завуалированно изложенная в «Науке и литературе» при анализе рукописных стихов и похвальных слов начала XVIII в. Охарактеризовав эту панегирическую литературу, Пекарский заметил, что «униженность и подобострастие авторов, когда они сами себя охотно называли недостойным подножием ног властителя или уничиженнейшим, последним рабом его, готовность их быть прахом перед сильными — могут разъяснить то, каким значением пользовалась у нас литература в обществе и что было за влияние ее на современников?» И затем исследователь прибавил фразу, в которой высказал, несомненно, дорогую ему идею, что литература должна политически воспитывать народ: «Рассмотрение похвальных слов и од с этой точки зрения могло бы даже быть наставительно, но едва ли найдется такой исследователь, у которого бы достало сил на печальный труд писать историю нравственного унижения человеческого достоинства в людях, которые часто бессознательно падали ниц перед властию и силою, тогда как, по образованию и дарованиям, они могли бы идти во главе

[21] П. П. Пекарский. Представители киевской учености — «Отечественные записки», 1862, т. 141, отд. I, стр 390—391

народа и быть смелыми руководителями его, а не прихлебателями, ждущими подачки от сильных».[22] В конце раздела, посвященного деятельности известного упорством в отстаивании своих взглядов М. Аврамова, Пекарский, имея в виду отход либеральных литераторов в конце 1850-х—начале 1860-х годов от революционного «Современника», от Чернышевского и Добролюбова, с негодованием писал: «Этих убеждений не могли в нем <Аврамове> поколебать ни ссылка, ни застенок. В наше время, богатое, к сожалению, громкими фразами, противоречиями слова с делом, беспрерывным колебанием мнений, постыдными переходами от одного убеждения к другому из выгод или просто по слабоумию, в наше время действия Аврамова, хотя и заблуждавшегося, могут казаться героическими».[23] Этой фразой завершается труд Пекарского.

Фактическое изложение литературного материала преобладает у Пекарского над теоретическими высказываниями и обобщениями. Он считал, что историк литературы не должен «терять времени на рассмотрение внешних форм литературы и довольствоваться поверхностным взглядом на сущность и направление их».[24] Внимание его должно быть обращено на литературу как выражение внутренней жизни народа, причем под народом он понимал трудящиеся массы или, по крайней мере, нацию без дворянства и высшего духовенства.

А. В. Никитенко в поминальном слове о Пекарском говорил: «Важнейшее качество, отличавшее изыскания его, было, так сказать, их *документальность*».[25] Это указание правильно только наполовину: достоинство Пекарского как историка литературы состоит в том, что подбор фактов у него всегда подчинен передовым идеям.

Две главные работы Пекарского, — «Наука и литература в России при Петре Великом» и «История Академии наук в Петербурге» — до сих пор используются специалистами. Однако после публикации «Материалов для истории Академии наук» (тт. I—X, СПб., 1885—1900) стало очевидно, что многое из архивных сокровищ Академии наук не попало в свое время в поле зрения Пекарского, и поэтому нельзя считать его труды, в особенности «Историю Академии наук», исчерпывающими. Тем не менее к ним, как к собранию материалов, еще долго будут обращаться историки литературы XVIII в.[26]

---

22 П. П. Пекарский. Наука и литература.., т. I, стр. 362—363.

23 Там же, стр. 514.

24 П. П. Пекарский. Представители киевской учености... — «Отечественные записки», 1862, т. 140, отд. I, стр. 552.

25 А В. Никитенко. Отчет о деятельности Второго отделения Академии наук за 1872 год. — В кн.: Отчеты Имп. академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1866—1891 годы. СПб., 1903, стр. 163.

26 Библиография трудов Пекарского и литературы о нем приведена в книге М. В. Машковой (стр. 49—72).

Может стоять также вопрос о некотором влиянии взглядов Чернышевского на работы его двоюродного брата и в известном смысле воспитанника А. Н. Пыпина, но если это воздействие и можно усмотреть, то лишь на раннем этапе деятельности последнего (о Пыпине — см. гл. VI).

Наиболее последовательно развил взгляды Чернышевского на русскую литературу XVIII в. и дополнил их своими собственными воззрениями Н. А. Добролюбов. При этом следует отметить, что у Добролюбова отношение к XVIII в. определялось и его общим взглядом на развитие русской литературы, как у Чернышевского, и тем гипертрофированным вниманием к литературным мелочам этого периода, которое проявилось в работах сторонников «фактического» направления.

В то время как Чернышевский, теоретически признавая, что «у каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления» (III, 302), видел историческую задачу русской литературы XVIII в. в создании читательской аудитории, Добролюбов уже в первой работе о екатерининском «Собеседнике любителей российского слова» (1856)[27] пошел значительно дальше своего предшественника.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский писал: «Два важные принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношении литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие» (III, 298). В основу статьи «Собеседник любителей российского слова» Добролюбов положил оба перечисленных принципа, причем первый был применен к анализу содержания журнала, второй — подспудно, в «эзоповой» манере, проявился в замечаниях о том, что затронутые в «Собеседнике» общественные вопросы сохранили актуальное значение и в момент появления исследования о нем.

Формулируя задачи критика, «который дает нам верную, полную, всестороннюю оценку писателя или произведения, который произносит новое слово в науке или искусстве, который распространяет в обществе светлый взгляд, истинные, благородные убеждения», Добролюбов особо подчеркивает: «Подобная статья заставит читателя думать...» (I, 30—31). Свою же задачу он скромно определяет так: «подробнее и вернее проследить дух и направление журнала» (I, 32). Эти предварительные замечания Добролюбова должны были предупредить читателя о необходимости вдумываться в то, что скрыто за видимостью простого историко-литературного изложения.

---

[27] Н. А. Добролюбов. Полн собр соч, т I. ГИХЛ, 1934, стр 29—100. — В дальнейшем ссылки даются в тексте по этому изданию.

В противоположность Чернышевскому, который, как можно судить по отсутствию ссылок в его работах, не изучал специально русскую журналистику XVIII в., Добролюбов посвятил ее анализу ряд статей. Он признает за периодическими изданиями того столетия известное общественное значение. Говоря о многочисленных журналах последней трети XVIII в. «с различным направлением и содержанием», он делает вывод: «Естественно, что они должны были следить за современностью, угадывать потребности общества, если хотели иметь успех. И действительно, пересматривая ряд этих изданий, мы находим общее старание следить за общественной жизнью и овладевать вниманием публики, представляя посильное изображение того, что особенно ее занимало или могло занимать в данное время» (I, 32).

В то время как критики «эстетического» (А. Д. Галахов и др.) и «академического» направлений (Л. Н. Майков — см. ниже) настойчиво проводили мысль о том, что литература XVIII в. была далека от современности, сознательно чуждалась ее, Добролюбов решительно подчеркивал обратное. Он считал, что в журналах была сосредоточена лучшая часть тогдашней литературы и что «чтение мелких, легких статеек приходилось более по вкусу образующегося общества, нежели чтение сочинений обширных и серьезных» (I, 32). Именно этими обстоятельствами критик объясняет «раннее появление у нас нравоописательных изданий» (там же). Вполне закономерно, что в этих журналах особенно отразилось сатирическое направление. Упоминание о последнем позволило Добролюбову очень зашифрованно, полунамеками дать понять, что недостатки русского общества того времени явились следствием политических условий, т. е. монархического строя и социального неравенства, прежде всего обнаружившегося в крепостном праве: «Молодое развивающееся общество русское чувствовало, конечно, само свое несовершенство, видело, что ему еще многое нужно у себя исправить и переделать Но не в его воле было вдруг отрешиться от всех своих недостатков, имевших большею частью историческое происхождение, проникнувших весь характер народа и нередко связанных с общественным его устройством. Для этого нужно было время, приготовление; нужно было, чтобы появилось сначала сознание недостатков, чувство необходимости их исправления; сначала должно было теоретически овладеть умами, чтобы потом практически выразиться в жизни» (там же).

Таким образом, полемизируя с теми историками литературы, которые объясняли появление у нас сатирических журналов и вообще сатирического направления модой, заимствованием у Запада, Добролюбов первый поставил критику общественных нравов в России в полную зависимость от потребностей самого общества. «Сатира явилась в этом случае,— продолжает он,— могучим деятелем, как и всегда является она в обществе» (там же). И далее следует написанная «эзоповым» языком, но необыкновен-

но выразительная характеристика русского общества XVIII в.: «Это общество, столь перенесшее и выстрадавшее, так часто останавливаемое враждебными обстоятельствами в естественном ходе своего развития, так стесняемое в самых чистых и высоких своих стремлениях, связанное во всем по рукам и ногам вследствие совершенно неравномерного распределения в нем умственных и вещественных преимуществ,— это общество, не имея возможности действовать, искало отрады, по крайней мере, в слове — умном, смелом, благородном, выводившем на посмеяние все низкое и пошлое и выражавшем стремление к новому, лучшему, разумному порядку вещей» (I, 32—33).

Эта характеристика очень напоминает суждения Герцена, а знакомство Добролюбова с книгой «О развитии революционных идей в России» подтверждается дальнейшими определениями сатирической линии русской литературы: «[Никогда не замирало у нас это направление, и] во всем, что есть лучшего в нашей словесности, от первых народных песен до произведений Гоголя и стихотворений [Некрасова], видим мы эту иронию, то наивно-открытую, то лукаво-спокойную, то сдержанно-желчную. Она нашла себе представителей и в 70-х годах прошлого века» (I, 33).

Отнесение Добролюбовым сатирических журналов 1769—1774 гг. к «иронической» линии русской литературы решительно противоречило тенденциям появившейся незадолго до того книги Н. Н. Булича «Сумароков и современная ему критика» (1854) и печатавшихся в «Русском вестнике» статей А. Н. Афанасьева о сатирических журналах XVIII в. В этих либерально-буржуазных исследованиях сатирическая журналистика рассматривалась в качестве «соратницы» правительства Екатерины II в борьбе с отрицательными явлениями тогдашней современности. Добролюбов вслед за Герценом усматривает в сатирических журналах проявление иронии как черты русского национального характера, выработавшейся в специфических исторических условиях, в результате борьбы народа против враждебных ему социально-политических сил.

Охарактеризовав, впрочем довольно бегло, периодические издания 1770-х годов, Добролюбов подробнее останавливается на анализе «С.-Петербургского вестника», который симпатичен критику как журнал, «больше вникавший в жизнь и лучше ее понимавший» (I, 34). Добролюбов отмечает, что «живейший интерес придаваем был журналу тем, что он постоянно следил за новостями политики и литературы». Перебрав один за другим все отделы «С.-Петербургского вестника» и установив, что все они свидетельствовали о стремлении издателей быть ближе к жизни, Добролюбов намекает на то, что журнал этот был, по-видимому, закрыт: «Уничтожение последнего всего вероятнее надо искать в обстоятельствах, теперь нам неизвестных» (I, 34).

Подробный анализ «С.-Петербургского вестника», как будет

ясно из дальнейшего изложения, был нужен Добролюбову для проведения основной мысли статьи о «Собеседнике любителей российского слова». Статья эта построена очень остроумно: первая часть ее посвящена роли Екатерины в журнале и ее произведениям, напечатанным здесь, вторая — деятельности остальных сотрудников, большинство которых участвовало в «С.-Петербургском вестнике». В первой части статьи Добролюбов без заметных нажимов, маскируя свою позицию лукавыми комплиментами Екатерине II, обнаруживает отрицательный характер литературной деятельности императрицы в созданном ею журнале, во второй — показывает, что лучшее, что есть в «Собеседнике», что делает его «замечательным явлением в русской журналистике» (I, 39; ср. стр. 87), принадлежит авторам, перешедшим в этот журнал из «С.-Петербургского вестника».

Разбор произведений Екатерины II, напечатанных ею в «Собеседнике», Добролюбов начинает с утверждения, что «в этом журнале смело можно искать отражения современной жизни общества» (I, 35). Связывая «успех этого искания» с тем, что во главе «Собеседника» стояла Екатерина II, Добролюбов тут же дает понять читателю (на глазах не заметившего этого цензора!), что доверять тому, что напечатано императрицей, нельзя: «К этому нужно присоединить и то, что вся литературная деятельность Екатерины II *имеет вид* (здесь и дальше курсив мой.— *П. Б.*) *высокой правды и бескорыстия,* которое не могло не действовать и на других писателей, действовавших в то время» (там же). Что подразумевает критик, говоря, что «другие писатели» воспользовались приемом, употребленным самой императрицей, ясно из дальнейшего изложения. Указав, что «в то время, может быть, даже более, чем во всякое другое, встречаем мы торжественных, льстивых од», Добролюбов поясняет: «Но это была дань своему веку, и, *обеспечив себя подобным творением,* каждый из писателей тем безбоязненнее и прямее мог изображать современное общество и подсмеиваться над его недостатками» (там же).

Чтобы читатель «Современника», в котором была напечатана статья о «Собеседнике», понял, что эта фраза должна объяснить ему тактическое значение лестных эпитетов и комплиментов, расточаемых самим критиком Екатерине, Добролюбов во второй части вновь возвращается к тому же вопросу и с явно деланной наивностью пишет: «Но что особенно замечательно, так это постоянное выражение глубокого благоговения к „августейшей наук покровительнице, российской Минерве, милосердной монархине“, императрице Екатерине. Нет почти ни одного произведения, в котором как-нибудь, кстати или некстати—все равно,—не выразились чувства благоговения к государыне. В особенности сатирики отличались этим, и даже чем острее, чем резче была сатира, тем с большим чувством говорилось в ней о благодеяниях, изливаемых на народ императрицей, как будто бы автор хотел этим отстранить от себя всякий упрек в *свободоязычии*

(курсив Добролюбова.— *П. Б.*) и старался заранее показать, что он предпринимает обличать пороки единственно по желанию добра обществу» (I, 81—82).

Это замечание Добролюбова было первым правильным истолкованием того факта, который чуть ли не до наших дней ставит в тупик приступающих к изучению литературы XVIII в.

Таким остроумным приемом предупредив читателей о том, как надо относиться к встречающимся в его статье оценкам Екатерины II, Добролюбов тем с большей смелостью вскрывает подлинный смысл главного произведения императрицы в «Собеседнике» — «Записок касательно российской истории», занимающих, по подсчету критика, почти половину всего текста журнала. Появление этого исторического труда Екатерины II Добролюбов объясняет страхом перед возможностью революции в России: «Следя постоянно за движением умов на Западе, императрица хорошо видела добрые и дурные его стороны. Понимая, что оно могло произвести гибельные последствия в отношении к существующему порядку вещей, она старалась всеми силами противодействовать распространению его в России. Но из опасения зла, не желая лишить свой народ всех выгод образованности и, таким образом, явиться в глазах Европы противницею просвещения, императрица продолжала покровительствовать наукам; только решилась сама наблюдать за правильным ходом развития понятий нашего общества» (I, 41—42).

В этом блестящем анализе истинного отношения Екатерины к французскому Просвещению поражает не только исключительная точность и глубина мысли, но и самостоятельность, проявленная молодым критиком: ведь даже близкие к взглядам Добролюбова «Заметки по русской истории XVIII в. № 1» Пушкина не были тогда опубликованы. И еще больше поражает, что эти проницательные суждения, опрокидывавшие дворянско-буржуазную либеральную легенду о Екатерине — ученице энциклопедистов, высказаны были двадцатилетним юношей.

«Записки касательно российской истории» Екатерины II Добролюбов рассматривает как прямой ответ на антимонархические труды историков-просветителей: «Зная всю важность наук исторических и в этом случае, она сама принялась за историю и в своем труде дала образец своих воззрений на то, каким путем должны развиваться в России исторические знания» (I, 42).

Обращаясь к разбору «Записок», Добролюбов с самого начала делает ироническое обобщение: «Автор умел набросить на все темные явления русской жизни и истории какой-то светлый, даже отрадный колорит. С особенным искусством обходит он многие неправедные деяния князей или старается придать им вид законности не только по понятиям того времени, но и пред судом новых воззрений» (I, 43). Еще отчетливее высказывает критик мысль о монархической идее «Записок» далее. «В этом,— пишет он, комментируя одну цитату из данного труда,— пре-

красно выражается стремление императрицы Екатерины показывать во всем, в чем только можно, что всякое добро нисходит от престола и что в особенности национальное просвещение не может обойтись без поддержки правительства» (I, 45).

Несколько страниц своей статьи посвящает Добролюбов выдержкам из екатерининских «Записок», раскрывая, как препарируется история под пером Екатерины II. «Великий князь никогда не является виною междусобий,— замечает Добролюбов,— но всегда решителем распрей, миротворцем князей, защитником правого, если только он следует внушениям собственного сердца. Как скоро он делает несправедливость, которую нельзя скрыть или оправдать, то вся вина слагается на злых советчиков, всего чаще на бояр и духовенство» (I, 49). Попутно критик замечает, как «странно рассказываются» Екатериной II «отношения Новгорода к князьям» (там же; ср. стр. 46, 47).

Завершает Добролюбов анализ екатерининских «Записок» почти издевательской фразой, особенно язвительной после ряда страниц, на которых представлены расхождения императрицы-историка и летописных сказаний: «Вообще в „Записках о российской истории“ императрица, дав нам образец своих взглядов на историю, вместе с тем представила и образец уменья провести свою мысль во всем труде и направить его к подтверждению своей идеи, не прибегая ни к *явным натяжкам*, ни к *совершенному искажению* достоверных фактов. Иногда она *давала им свой смысл, умалчивала* об одном и *изменяла* тон рассказа о другом, но *искусство рассказа* было таково, что читающему даже не приходило в голову, чтобы могло быть что-нибудь другое, кроме того, что ему сообщается» (I, 52).

Более коротко говорит Добролюбов о сатирических статейках Екатерины в «Собеседнике», озаглавленных «Были и небылицы». Он приходит к выводу, что «статьям, печатавшимся в „Собеседнике“ под этим <„Были и небылицы“> названием, совсем нельзя придавать значения серьезной сатиры, как хотели некоторые критики» (I, 54).[28]

Разбирая «Были и небылицы», Добролюбов попутно характеризует литературную тактику Екатерины II: «...она позволяла писать и то, что ей не нравилось, зная, что оно не будет иметь

---

[28] Кого имел он в виду, говоря о «некоторых критиках», сказать трудно. Когда в смирдинском Собрании сочинений русских авторов вышли Сочинения Екатерины II, на это издание была напечатана одна небольшая рецензия в «Москвитянине» (1850, ч 1, № 2, кн 2, стр 59—61) Скорее всего у Добролюбова шла речь не об этой рецензии, а о каких-то устных высказываниях А Д. Галахова, который после опубликования в «Современнике» статьи о «Собеседнике любителей российского слова» поместил в «Отечественных записках» (1856, т. CVIII, кн. 10, отд. II, стр 43—85) большую статью «„Были и небылицы“, сочинение императрицы Екатерины Второй» Ответ Добролюбова см I, 101—106; вторая статья Галахова — «Неудачная апология в „Современнике“» («Отечественные записки», 1856, т. CIX, кн. 12, отд III, стр. 132—139).

слишком обширного влияния на жизнь общества; возвышала чинами и наградами тех, чьи произведения были ей приятны, для того чтобы этим самым обратить общее внимание на автора, а таким образом и на его сочинения. В то время у нас писали и печатали все без разбора: и переводы из энциклопедистов, и „Эмиля“, и поэму на разрушение Лиссабона, и путешествие Р<адищева>; но награды получали: Державин за „Фелицу“, Пётров за „Оду на карусель“, Костров за торжественные оды и т. п. Это уже много значило и необходимо должно было придать более веса в глазах общества творениям последнего рода» (I, 54).

Останавливается Добролюбов также на отношении Екатерины II к свободе слова и показывает, что императрица допускала обсуждение своих действий только до определенного предела и что «особенно сильно восстала она против свободоязычия по поводу вопросов Фонвизина» (I, 56). И далее он подробно анализирует полемику Фонвизина с Екатериной II на страницах «Собеседника» (I, 56—58).

Первую часть статьи Добролюбов закончил фразой, как будто имеющей характер лишь делового итога, а на самом деле призывающей читателя понять, почему в «Собеседнике» при обилии талантливых сотрудников не был затронут ряд важнейших вопросов тогдашней современности: «...нам было особенно важно рассмотреть собственные труды императрицы, в которых выразились ее литературные убеждения. Они могут нам послужить ключом для объяснения многих других статей, помещенных в „Собеседнике“» (I, 59). Иными словами, принципы, положенные Екатериной в основу ее собственных журнальных произведений,— монархическая фальсификация истории, обуздание «свободоязычия», поощрение льстивых писателей, стремление повести литературу по выгодному для нее направлению, — все это должно показать, как много в подобных трудных условиях удалось сделать передовым сотрудникам «Собеседника».

И здесь Добролюбов проявил удивительную способность проводить свою острую критическую мысль вопреки придирчивой бдительности тогдашней цензуры. Так, перечислив различные отрицательные стороны общественной жизни тех лет, он переходит к двум важнейшим, по его мнению, темам сатирического обличения в екатерининском журнале. «Но ни на что не обращалось в „Собеседнике“ стольких преследований, как на легкое поведение тогдашних женщин и на слепое пристрастие ко всему французскому» (I, 68). И чтобы дать понять читателю, что слова «легкое поведение женщин» имеют прямое отношение к Екатерине, критик продолжает: «И это было великое дело — восстать на пороки сильные, господствующие, распространенные во всех классах общества, [начиная с самых высочайших, и чем выше, тем больше, по крайней мере, в отношении к первому]» (там же).

Чтобы ярче охарактеризовать «эту сложную, настойчивую борьбу с главнейшими недостатками эпохи» (там же), Добролю-

бов напоминает, как много положительного сделала литература, «когда она сама еще едва выходила из пеленок» (I, 69). А в примечании к этим словам поясняет: «Чтобы не ходить далеко, укажем только на ход нашей комедии. Не говоря о Фонвизине и Капнисте, даже второстепенные, слабые деятели на этом поприще в прошлом столетии умели затрогивать живые общественные вопросы» (I, 98).

Очень тонко и умно раскрыл Добролюбов причины борьбы «Собеседника» и других изданий того времени против французского воспитания. «Причина этого настойчивого преследования,— пишет критик,— объясняется отчасти тем, что тогдашнее волнение умов во Франции грозило многим и в политическом отношении, отчасти же и тем, что княгиня Дашкова, понимавшая истинную сущность дела, естественно должна была негодовать, видя, как русские люди, знакомясь с литературой и нравами Франции, перенимали самое пустое, самое глупое, самое ничтожное, не обращая внимания на то, что составляло действительное сокровище, что могло в самом деле образовать и облагородить человека». «Эти две причины,—продолжает Добролюбов,—до некоторой степени противоположные, если рассмотреть их внимательно, произвели, однако ж, одно следствие: осмеяние пустого подражания французам» (I, 71).

Подобно Герцену, Добролюбов видит в русской жизни второй половины XVIII в. смешение «упорного старинного невежества» с «пустоцветом французской цивилизации, столь дурно усвоенной у нас тогдашними молодыми людьми» (I, 77). Заслугу в борьбе с этими отрицательными явлениями в жизни русского общества он приписывает «Собеседнику», и в основном его подлинной руководительнице, кн. Дашковой (там же; ср. стр. 59).

Таким образом, первая часть статьи посвящена Екатерине как силе, тормозившей развитие «Собеседника» и литературы вообще, вторая—княгине Дашковой, стремления которой «были честны и благородны», которую «всегда отличали» «просвещенный вкус и бескорыстное желание добра» (там же). Только при таком понимании композиции статьи и концепции ее автора становятся прозрачно ясными невинные на первый взгляд заключительные слова Добролюбова: «Как бы то ни было, „Собеседник“ удовлетворял требованиям своего времени. Мы старались показать, как отразилось в нем тогдашнее общество русское, старались выставить на вид главные стремления издателей, показать отчасти, какое влияние имели на ход издания покровительство Екатерины и просвещенное участие кн. Дашковой» (I, 88).

Из нашего анализа ясно, что́ представляла собой замечательная статья Добролюбова на фоне общего состояния литературной историографии XVIII в. того времени. Это был серьезный научный труд, свидетельствовавший о том, что юный автор выступил не только во всеоружии знания материала («Библиографические заметки», приложенные к статье, стр. 88—100, содер-

жат огромное количество фактов историко-литературных и текстологических), но и обладал исключительным историческим чутьем и историко-литературной зоркостью, умением видеть, группировать и осмыслять важнейшие для понимания литературного процесса данные. И хотя статья Добролюбова по выходе из печати имела читательский успех (I, 613), ее истинное значение стало понятно только в наше время.

Появившаяся через два года в том же «Современнике» другая статья Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858, кн. II, отд. II, стр. 113—167) была написана не с историко-литературных позиций, а с острополемических, в период, когда и Чернышевский, и Добролюбов особенно упорно боролись за революционное содержание литературы, против либерализма, против подмены «обличительством» настоящей революционно-демократической пропаганды. Этим объясняются некоторые особенности рассматриваемого произведения критика, кажущиеся отступления его от позиций, занимаемых им в статье о «Собеседнике», противоречивое отношение к сатирическому направлению и мн. др. И только при подробном изучении статьи обнаруживается ее органическая связь с кругом идей, проводившихся Добролюбовым в предыдущем произведении, и с его общим пониманием литературы XVIII в.

В то время как в статье о «Собеседнике» Добролюбова интересовала проблема отношения литературы XVIII в. к общественной жизни, в новой работе он исходит из своего понимания «народности», сложившегося к 1858 г.

Утверждая, что «Пушкин так умел овладеть формой русской народности, что до сих пор удовлетворяет в этом отношении даже вкусу весьма взыскательному», Добролюбов разъясняет смысл этой формулировки: «Мы сказали: *формой* народности, потому что содержание ее и для Пушкина было еще недоступно. Народность,— продолжает критик,— понимаем мы не только как уменье изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина: лучшим доказательством служит его „Русалка“. Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ,— этого Пушкину недоставало» (I, 235—236).

Подобное понимание народности, сложившееся у Добролюбова под влиянием назревавшей в конце 50-х годов XIX в. революционной ситуации, определило его отношение к русскому литературному процессу, подвергшемуся под пером критика суровому осуждению. Вполне законное как форма классовой борьбы тех лет, несомненно продиктованное происходившим в то время размежеванием между революционными демократами и либералами, это понимание народности явилось в тогдашних общест-

венно-политических условиях боевым принципом современной критики. Однако использование его при оценке фактов истории русской литературы — древней и XVIII в. — было безусловным отступлением от принципа историзма, столь убедительно примененного Добролюбовым в статье «Собеседник любителей российского слова»; это — несомненная ошибка великого критика, и тем более огорчительная, что данная в статьях 1858—1859 гг. оценка литературы XVIII в., явно расходившаяся со взглядами, выраженными им в статье о «Собеседнике», на долгие годы определила отношение демократических читателей и литературоведов к художественной продукции XVIII в. Его историко-литературный шедевр — статью «Собеседник любителей российского слова» — заслонили от современников и последующих поколений читателей и исследователей статьи 1858—1859 гг., вызванные к жизни тактикой литературной борьбы эпохи.

Рассмотрение работ этих лет необходимо начать со статьи «О степени участия народности в развитии русской литературы».

Высоко ценя народную поэзию,[29] Добролюбов противопоставляет ей в анализируемой статье «книжную словесность», которая, «как чуждая народной жизни... могла только по-своему искажать то, что было живого в народе, и не в состоянии была ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его понимания» (I, 219). По мере того как «народная поэзия все теряла свое значение, слабела и глохла», ширилась и росла книжная словесность, не становясь, однако, более близкой народу. «С самого начала, не понявши народного характера, она стала совершенно чуждою народности русской и заключилась в тесной сфере своих схоластических определений» (I, 221).

Придавая большое значение исторической роли Петра, но видя в ней только ускорение тех тенденций, которые складывались в результате «естественного хода вещей», Добролюбов особенно подчеркивает, что за все время существования русской литературы лишь при Петре она сблизилась с жизнью, с потребностями народа. Критик предпочитает, правда, применять здесь термин «письменность», а не «литература», но это не меняет сути дела. В петровское время, пишет Добролюбов, «письменность русская является решительно провозвестницею воли монарха для подданных... Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности... Все новые потребности, возбужденные Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые, таким образом, служили разумным оправданием мер, принятых правительством» (I, 228). Таким образом, «реформа Петра, взволно-

---

[29] М. К. Азадовский. 1) Литература и фольклор. Л., 1938, стр. 154—195 («Добролюбов и фольклористика»); 2) История русской фольклористики, т. II. М., 1963, стр. 112—117.

вавши давнишний застой Руси... раздвинула и пределы литературы» (I, 227—228).

Но именно с послепетровского времени, по мнению Добролюбова, литература вновь отходит от пути, на который она было встала. Считая, что в момент, когда писалась статья «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858), «умы всех обращены к интересам первой важности — к отменению крепостного права, к гласности, злоупотреблениям между чиновниками, недостаткам воспитания и образования и т. п.», Добролюбов констатирует: «Общественные вопросы до самого последнего времени были чужды нашей литературе... она держалась совершенно особняком и существовала „для немногих"... В дальнейшем развитии нашей литературы...— продолжает он, возвращаясь к конкретному анализу литературного процесса XVIII в.,— интересы, волнующие ныне общество, остались почти в той же неприкосновенности, как было и до Петра» (I, 228).

И дальше Добролюбов, намеренно сгущая краски, последовательно характеризует деятелей русской литературы XVIII в. как людей, утративших связь с народом, его нуждами, интересами и чаяниями: «Посошков, хотя и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него...» (I, 229). Ломоносов «сделался тоже выходцем из своего сословия... ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он... В отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего» (там же). Поэзия Ломоносова, утверждает Добролюбов, «не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле,— иронически подчеркивает Добролюбов,—рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином» (I, 230).[30]

Даже знаменитый «Псалом 145», в котором Ломоносов призывает: «Не уповайте на князей» — не смущает Добролюбова, отказывающего поэту в народности: «Ломоносов, правда, говорил судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, en masse, в видах отвлеченной добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа» (там же).

---

[30] Возможно, что в данном высказывании Добролюбова отразились взгляды Белинского на французский классицизм, чуждавшийся «простолюдинов и мещан» (см. выше, стр. 63).

Еще более резко и несправедливо отзывается Добролюбов о Сумарокове, Тредиаковском, Петрове, Кострове, Державине и т. д. О Хераскове и Княжнине критик замечает, что «у них еще менее народности, еще менее возвышения до интересов общественных, чем у Державина» (I, 231). И Карамзина Добролюбов определяет как писателя, далекого от истинных чувств и нужд простого класса. Далее критик излагает свой взгляд на роль и значение «сатирического» направления в литературе XIX в. Он признает «только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы» (I, 244); всем же тем, что предшествовало этой сатире, Добролюбов решительно недоволен (I, 243). Русская сатира XVIII в. отставала от жизни, «проповедовала зады» (I, 239), она «всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ее» (I, 241), наконец, она была «не народна» (I, 243). «В русской сатире современность вы редко найдете» (I, 240). Поэтому никакого действия она не могла оказать и не оказывала.

Такова беспощадная, мрачная и, признаем, несправедливая характеристика, данная Добролюбовым литературе XVIII в. Но она может быть правильно понята только в соотношении с другими его статьями этих лет.

Ставя основной задачей литературы и в особенности журналистики подготовку народных масс к революции, Добролюбов писал: «...современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху, — до того чтобы противно стало читателю все это богатство грязи, чтобы он, задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: „Да что же, дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше.“ Вот чего надо добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи „Современника“, и „Свисток“[31]...» Можно предположить, что в числе «критик», о которых говорил Добролюбов, имелась в виду статья «О степени участия народности в развитии русской литературы».

Добролюбов вновь остановился на характеристике литературы XVIII в. в статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы» («Современник», 1858, кн. III, стр. 1—29), посвященной произведениям С. Т. Аксакова. Здесь он как бы дополнил сказанное ранее некоторыми новыми соображениями и наблюдениями.

---

31 Влад. Княжнин. Добролюбов и Славутинский в их переписке — «Огни», кн. I. Пг., 1916, стр. 67—68.

Говоря о жестокости помещиков, изображенных Аксаковым, критик находит возможным обратиться к свидетельствам новиковского «Живописца», которые он считает показательными «наряду с чисто историческими сведениями» (I, 258). Далее следует очень важная характеристика деятельности и литературно-общественного значения Новикова: «Новиков, как известно, был первый и, может быть, единственный из русских журналистов, умевший взяться за сатиру смелую и благородную, поражавшую порок сильный и господствующий» (там же). Однако, по мнению Добролюбова, сатира Новикова, как и вообще русская сатира, «не произвела своего влияния», т. е. не поразила порок, зло в обществе осталось, поэтому она и позднее не утратила своего значения. Добролюбов признает, впрочем, что «во времена Новикова нельзя было еще говорить всего, что нужно». Рассматривая отношения журналов Новикова к крепостному праву, критик анализирует наиболее важные статьи в «Трутне» и «Живописце», посвященные этой теме, причем у него неизменно ощущается стремление натолкнуть читателя на сопоставление времен новиковских с современностью конца 1850-х годов. Именно вследствие отчетливых намеков на современность цензура 1850-х годов не пропустила соответствующих мест статьи: в Полном собрании сочинений Добролюбова они восстановлены (I, 257—262) по изданию его сочинений, выпущенному в 1862 г. Н. Г. Чернышевским.[32] Впрочем, может быть, последние слова отрывка в тексте «Современника» («Мы должны теперь отказать себе в удовольствии представить читателям выписки из Новикова и из мемуаров конца прошлого века. Отлагая это до более удобного времени...» и т. д.— стр. 607) следует понимать, как признак того, что уже в это время Добролюбов был намерен написать более обстоятельную статью о сатире Новикова и приберегал для нее и материал, и соображения.

Еще раз вернулся Добролюбов к оценке сатирического направления в литературе XVIII в. в статье о книге А. Н. Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.». Статья эта — «Русская сатира в век Екатерины» (1859) — детализирует и уточняет положения статей предшествующего года. Однако неправильно было бы думать, что в ней Добролюбов только пересказывает иными словами уже изложенное раньше. Нет, здесь на материале литературы XVIII в. Добролюбов с бо́льшей ясностью и определенностью изложил свои взгляды на задачи, стоявшие перед литературой конца 1850-х годов. Подобно Белинскому, он считает, что «сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой жизнью» (II, 138). Вследствие этого, говорит далее Добролюбов, русские сатирики, как, например, Кантемир, затрагивали в своих произведениях только частные явления общественной жизни, не касаясь «того, что было

[32] Первоначальный журнальный текст см.: Н. А. Добролюбов, I, 607.

действительно дурно,— не для успеха государственной реформы, а для удобств жизни самого народа». Добролюбов обвиняет всех последовавших за Кантемиром русских сатириков в том, что они «никогда почти не добирались до главного существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят общие народные недостатки и бедствия». А что имел он в виду под словами «главное существенное зло», современникам было хорошо понятно: крепостное право, самодержавие. Повторяя, что характер обличений был частный, мелкий, поверхностный, Добролюбов приходит к выводу, что наша сатира была неглубока и непоследовательна и в своих обличениях никогда не доходила «до конца». Что означает «дойти до конца», критик объясняет ниже: «Большая часть общественных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц: нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства» (II, 138—139). Русские сатирики, по мнению Добролюбова, не хотели понять этого, а если и понимали, то не могли выразить. Нападая на различные пороки, на «необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость пред высшими и пр.», сатирики очень редко обнаруживали понимание того, что «все эти частные ненормальные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства». Так, например, при обсуждении вопроса о взятках никогда не говорили «об общем вреде бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита» (II, 139).

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов, как мы видели, «интересами первой важности» считал «отменение крепостного права, гласность и т. д.» В «Русской сатире в век Екатерины» он от этих «интересов» обращается к «главному существенному злу» — «ненормальности всего общественного устройства»; он требует «изменить обстановку», «дать другие начала для общей деятельности». Иными словами, в статье 1859 г. Добролюбов выдвигает идею социально-политического переустройства общества и требует от литературы безоговорочного служения этой идее. Статью о книге Афанасьева он строит таким образом, чтобы основную мысль иллюстрировать рядом примеров, доказательств, время от времени вновь возвращаясь к этому тезису: «Слабая ее <сатиры> сторона заключалась в том, что она не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить» (II, 166; ср. стр. 175, 182, 183, 187, 205).

Тогдашнему читателю было ясно, что, нападая на сатиру второй половины XVIII в., Добролюбов на самом деле метил в современную ему «обличительную» литературу, которая тоже не хотела «видеть коренной дрянности» крепостнического строя и

полагала, что он может быть исправлен путем частных улучшений.

Таким образом, отрицательная оценка «русской сатиры в век Екатерины», данная Добролюбовым в анализируемой статье, была вызвана тем, что на литературном материале XVIII в. легко было провести ряд положений, связанных с политической борьбой конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. В особенности важно было Добролюбову показать, что слабость сатиры XVIII в. состояла в том, что она шла, как ему казалось, на поводу у Екатерины II, выполняла «предначертания» императрицы. Нападая за это на журнальную сатиру 1769—1774 гг., критик в то же время между строк давал понять читателям, что современная ему «обличительная» литература отвлекает от борьбы с «главным существенным злом» и тем самым играет на руку защитникам крепостнического, монархического строя.

Если не принимать во внимание политическую сторону вопроса, будет совершенно непонятно то решительное изменение во взглядах Добролюбова на литературу XVIII в., которое произошло у него в течение 1857—1858 г., после статьи о «Собеседнике любителей российского слова».

Хотя в статье «Русская сатира в век Екатерины» Добролюбов характеризует литературу XVIII в. в целом столь же пессимистически, как и в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы», однако он особо отмечает ряд произведений, которым придает большое литературное и общественное значение. «Путешествие из Петербурга в Москву» Добролюбов выделяет как «явление исключительное», за автором которого «последовали бы до конечных его результатов разве весьма немногие» (II, 149). Отмечает он и знаменитый «Отрывок из путешествия в*** И*** Т***», считая, что автор его дошел до мысли, что «вообще крепостное право служит источником зол в народе» (II, 170). Останавливается и на известных «Копиях с отписок крестьян» своему барину и «Копиях с господского указа», прибавляя, что «эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинные ли это?» (II, 167; ср. I, 262). О Новикове и новиковских журналах Добролюбов более высокого мнения, чем можно было бы ожидать после общего отрицания литературы XVIII в. В рецензии на переизданные Афанасьевым журналы 1769—1774 гг. («Поденьшина», «Пустомеля», «Кошелек») Добролюбов в 1858 г. характеризовал новиковский «Трутень» как «самый лучший из всех журналов этого периода и имеющий интерес не только исторический, но даже отчасти и современный» (I, 484—485). Он считает, что в новиковских журналах «затрогивались серьезные вопросы, которые получили свое развитие только в позднейшее время, и во многих отношениях современной публике было бы поучительно проследить, как ставились и понимались некоторые из нынешних вопросов сатирою прошлого столетия. Правда, и в то время сатира была не совершенно сво-

бодна и откровенна в своих речах... Но при всем этом нужно сказать, что многие из намеков, обличений и насмешек новиковской сатиры не показались бы бледны и в современной обличительной литературе» (I, 485). Особенно ценит Добролюбов новиковскую сатиру как исторический документ и доказательство того, что «еще в прошлом веке, почти при самом начале своего развития, литература наша уже выражала добрые стремления» в вопросе об отношении помещиков и крепостных» (там же).

Из писателей XVIII в. выше Новикова Добролюбов ставил только Радищева и достаточно незавуалированно намекал на революционную идею его книги. Говорить о Радищеве прямо и откровенно в цензурных условиях 1856—1858 гг. Добролюбов не мог: в статье о «Собеседнике» книгу Радищева он глухо обозначил «путешествие Р.» (I, 54); в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов также не называет имени Радищева как автора «Путешествия». Лишь в статье «Сочинения Пушкина», посвященой выходу в свет 7-го дополнительного тома анненковского издания, он нашел способ высказать свое глубокое уважение к Радищеву и его идеям, не нарушая цензурных запретов.

Критик подверг строго логическому, всестороннему и суровому анализу опубликованную П. В. Анненковым статью Пушкина о Радищеве. Добролюбов прежде всего не соглашается с высокой оценкой, которую издатель Пушкина дал этой статье. При тогдашнем состоянии пушкиноведения критик не мог знать о том, что для поэта в конце его жизни важно было любой ценой, вплоть до введения в текст резких и несправедливых характеристик Радищева как человека и писателя, напомнить читателям об авторе опального «Путешествия». Подробнее всего Добролюбов остановился на самом резком и самом несправедливом суждении Пушкина о Радищеве: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление пред своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему,— вот что мы видим в Радищеве».

Не догадываясь о «маскировочном» назначении подобных отзывов Пушкина, Добролюбов шаг за шагом с неотразимой убедительностью и последовательностью обнаруживает то, что он считает противоречиями в статье поэта о Радищеве. С одной стороны, критик видит в оценках Пушкина «жестокий приговор» (I, 318), «несправедливость», «ошибки», с другой — отмечает, что в разных местах статьи «выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву» (I, 319), проявляются «против воли высокие понятия о Радищеве». Не имея ключа к этим «противоречиям», Добролюбов вынужден был признать, что «в частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоян-

но вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы» (I, 320). Поэтому в целом Добролюбов признает в статье поэта «взгляд весьма поверхностный и пристрастный» (I, 317—318), видит в ней «пример несправедливого увлечения» (I, 320). Оспаривая резкие отзывы Пушкина, критик говорит об «искренних и честных убеждениях» Радищева (I, 319), о том, что он «постоянно развивался и пользовался опытами времени», наконец, снова между строк подчеркивает революционную идею «Путешествия» (I, 319—320).

Таким образом, Добролюбов отделяет передовых писателей — Радищева, Новикова — от тех, которые занимали менее прогрессивные позиции. Ошибочно полагать, что Добролюбов был принципиально против изучения литературы XVIII в. как пустой, бессодержательной и неоригинальной и огулом отрицал ее. Напротив, в ряде статей и рецензий он охотно возвращался к отдельным литературным явлениям этого периода и всякий раз подчеркивал их связь с фактами общественно-политическими.

Большое значение придавал Добролюбов разработке писателями XVIII в. литературного языка и силлабо-тонического стихосложения. Так, в одной из своих рецензий он упрекал автора популярной брошюры о Ломоносове в невнимании «к заслугам <его> для русского языка и стиха». Здесь же критик высказывал сожаление, смешанное, впрочем, с иронией, что «о поэтическом таланте Ломоносова, о высокопарных его одах, широковещательных трагедиях, неоконченной поэме и т. п. почти ничего не говорится». Он признает недостатком брошюры то, что «Ломоносов как человек, с своим характером, страстями, недостатками, своими отношениями к обществу, вовсе не рисуется в этом рассказе» (III, 458).

Во многом критическое отношение Добролюбова к литературе XVIII в. объясняется сравнительно слабой источниковедческой разработкой ее в то время. В частности, материалы, очень важные для правильного понимания отношений между сатирическими журналами 1769 г., а также устанавливающие участие Екатерины II во «Всякой всячине» и ее стремление непосредственно руководить сатирической журналистикой, были изданы П. П. Пекарским в 1863 г., уже после смерти Добролюбова. Сатирические произведения Ломоносова («Гимн бороде», «Что за дым...» и др.), а также другие литературно-полемические документы 1750-х годов, т. е. многое из того, что проясняет общественную позицию Ломоносова, было опубликовано в 1859 г., уже после появления статьи Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины». Письмо Ломоносова к Шувалову «О сохранении и размножении российского народа», хотя и напечатанное в 1819 г., но не вошедшее в Полное собрание сочинений его в издании Смирдина, было, очевидно, неизвестно Добролюбову,[33] как и мно-

---

[33] Отрывки из этого «Письма» были также опубликованы в 1859 г.

гие заметки Ломоносова, впервые введенные в научный оборот П. С. Билярским в 1865 г., А. С. Будиловичем в 1869 г. и т. д. «Вадим Новгородский» Княжнина, по-видимому, также не был в руках Добролюбова, а новая, хотя и урезанная цензурой публикация «Вадима» была сделана П. А. Ефремовым лишь в 1871 г. Ограничимся перечисленными произведениями, хотя список важных для правильного суждения о литературе XVIII в. материалов, напечатанных либо после того, как Добролюбов перестал заниматься литературой XVIII в., либо после смерти критика, можно было бы удлинить без особых затруднений.

Правильной оценке Добролюбовым литературы XVIII в., помимо слабости ее разработки в источниковедческом отношении, мешало то, что и сам критик, и его современники не сумели еще понять приемов литературной борьбы русских писателей предшествующего столетия с самодержавием и часто принимали их высказывания за чистую монету, не отделяя похвал Екатерине, сделанных ими из тактических соображений, от нападок на нее и на ее окружение. Это обстоятельство особенно досадно, так как в статье о «Собеседнике» Добролюбов, как мы видели, различал позицию Екатерины и более передовых писателей того периода и понимал, с какой осторожностью нужно относиться к «льстивым одам».

Таким образом, многое в суждениях Добролюбова о русской литературе XVIII в., с чем не может сейчас согласиться советское литературоведение, как, впрочем, и в суждениях других критиков и историков литературы XIX—XX вв., объясняется общей методологической и фактической неразработанностью дореволюционной литературной науки, ее «наивным реализмом», доверием к внешним формам литературной жизни позапрошлого столетия.

Советские исследователи, воспитанные на философии диалектического материализма, владеют большим фактическим материалом по истории литературы XVIII в., частично оставленным их дореволюционными предшественниками, частично (и в определенных разделах преимущественно) собранным ими самими: все это помогло им правильнее, чем литературоведам дореволюционного времени, в том числе и Добролюбову, понять особый характер литературного процесса XVIII в.

И если с современных методологических позиций, с вершины накопленных и по-новому осмысленных фактических знаний по литературе XVIII в. оценить вклад Добролюбова в развитие наших научных представлений, то до́лжно только поражаться тому, как много он сделал, как глубоко постиг литературные явления, в то время привлекавшие преимущественно поклонников «библиографического» направления.

Главная заслуга Добролюбова в изучении литературы XVIII в. состоит в том, что он на обширном фактическом материале раскрыл общественно-политический смысл лучших лите-

ратурных произведений этого столетия, обнаружил тесную связь их с тогдашней современностью, стремление авторов откликаться на потребности если не народа, то по крайней мере передовых слоев общества. Этим была решительно опровергнута господствовавшая в реакционном литературоведении первой половины XIX в. точка зрения, будто русская литература XVIII в. имела исключительно отвлеченный, далекий от жизни, от общественных нужд характер.

Добролюбову мы обязаны также тем, что он первый стал привлекать для уяснения литературных документов XVIII в. такие источники, как Полное собрание законов Российской империи, труды по экономическим и статистическим вопросам и им подобные. Этот, на первый взгляд, чисто методический прием техники научного исследования имеет, однако, принципиальное, методологическое значение: привлечение документальных, отражавших реальную историческую действительность материалов с абсолютной точностью и неопровержимостью подтверждало общественно-политический характер лучших произведений русской литературы XVIII в. И в этом также немалая заслуга Добролюбова, который расширил исследовательские возможности нашей литературной науки.[34]

Если влияние Чернышевского на изучение литературы XVIII в. может быть прослежено, хотя и приблизительно, то роль Добролюбова выяснена явно недостаточно. С полной уверенностью в качестве продолжателя идей Добролюбова в отношении литературы XVIII в. можно назвать П. А. Ефремова (1830—1907). Словно выполняя указание великого критика (I, 484), Ефремов в 1864 г. переиздает сатирический журнал Новикова «Живописец», в 1865 г.— «Трутень», затем выходят «Материалы для истории русской литературы» (1867), в которых был перепечатан «Опыт исторического словаря о российских писателях» Новикова и др. В 1866—1868 гг. Ефремов редактировал Сочинения Д. И. Фонвизина, В. И. Майкова, А. Д. Кантемира, В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова. В 1872 г. он издал в двух томах Сочинения Радищева, немедленно уничтоженные цензурой. Во всей этой издательской деятельности, в подборе авторов-сатириков явно чувствуется стремление Ефремова дать русскому

---

[34] Об историко-литературных взглядах Добролюбова, кроме упомянутой книги А. Лаврецкого, см. также: Н. А. Глаголев. 1) Критик-борец (О наследстве Н. А. Добролюбова). — «Октябрь», 1933, № 1, стр. 185—204; 2) Историко-литературные взгляды Н. А. Добролюбова — «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 2, стр. 49—56, В. Полянский [П. И. Лебедев]. Н. А. Добролюбов — историк русской литературы. — «Литературное наследство», т. 25—26, 1936, стр. 19—31; В. В. Жданов. Добролюбов. — В кн.: История русской критики, т. II. М—Л, 1958, стр 90—145; П. Н. Берков. Русская литература XVIII века в историко-литературной концепции Добролюбова. — В кн.: Н. А. Добролюбов — критик и историк русской литературы. Л., 1963, стр. 4—26.

читателю возможность познакомиться с произведениями тех писателей, о которых неоднократно напоминал Добролюбов.[35]

Влияние Добролюбова можно обнаружить также в работах демократических критиков 1860—1870-х годов. Этому периоду исследователи уделяли очень мало внимания. Между тем к трактовке истории литературы и общественной мысли XVIII в. обращались многие видные критики-демократы: Д. И. Писарев,[36] Г. Е. Благосветлов,[37] Г. З. Елисеев,[38] С. С. Шашков, Н. В. Шелгунов, А. М. Скабичевский,[39] П. А. Бибиков[40] и др.

Из перечисленных авторов следует особо отметить двух — Шашкова и Шелгунова. С. С. Шашков (1841—1882) больше прочих критиков-демократов занимался изучением литературы XVIII в. В журнале «Дело», в котором в основном протекала его литературная деятельность, им было напечатано свыше десяти статей по истории общественной мысли и литературы XVIII в. Некоторые из них перепечатаны в «Исторических этюдах», другие до сих пор не переизданы, хотя кое-какие из них вполне заслуживают этого.

Основные взгляды Шашкова выражены в статье «Русские реакции», составляющей первый том его этюдов. Эта работа, построенная на обширном материале, представляет и до сих пор интерес как попытка объяснить конкретные условия, в которых развивалась русская литература XVIII в. В отличие от академической историко-литературной науки, либо восхвалявшей «либеральную» политику Екатерины II, либо отрицавшей связь литературы XVIII в. с современностью, Шашков проводил мысль о том, что литература XVIII в. как раз отражала эту действительность, которую он называл «русскими реакциями». Основу этой политической системы Шашков видел в крепостном праве. Подобная точка зрения, не отличающаяся новизной, все же дала возможность Шашкову набросать картину, довольно близкую к реальности, хотя и несколько сгущавшую краски. Следует отметить солидную документированность работы Шашкова; она не бесполезна и сейчас, когда значительно возросло количество архивных и иных публикаций по XVIII в.

---

[35] Н. Л. <Н. М. Лисовский>. Библиографический список литературных работ П. А. Ефремова. — «Библиограф», 1892, № 12, стр. 434—440.

[36] Д. И. Писарев. Бедная русская мысль (Наука и литература в России при Петре Великом Исследование П. Пекарского. Том I). — Соч. Д. И Писарева. СПб., 1913, дополнит. выпуск, стб. 117—168.

[37] Г. Е. Благосветлов. Исторический очерк русского прозаического романа. — «Сын отечества», 1856, № 28.

[38] Г. З. Елисеев. Очерки о старой русской литературе по современным исследованиям. — «Современник», 1865, № 10, отд. I, стр. 233—281; № 11—12, отд. I, стр. 121—157; 1866, № 1, отд. I, стр. 185—217.

[39] А. М. Скабичевский. Русские писатели со времен Петра Великого до наших дней. Пособие для народа и средней школы. СПб., 1908.

[40] П. А. Бибиков. Несомненное недоразумение. По поводу празднования ломоносовского юбилея. — В его кн.: Критические этюды. СПб., 1865, стр. 276—288.

Собственно историко-литературные статьи Шашкова (о Новикове, Державине, Фонвизине, Крылове и т. д.) имеют компилятивный характер, но и они не лишены в отдельных случаях интереса.[41]

К «Русским реакциям» Шашкова близка интересная статья Н. В. Шелгунова «Попытки русского сознания».[42] Не приводя столь обильного материала, как Шашков, Шелгунов в своей работе в противовес «Русским реакциям», кстати печатавшимся в первоначальном виде в том же журнале, останавливается охотнее на прогрессивных моментах в истории русской общественной мысли, в частности, дает превосходную характеристику деятельности Ломоносова. Таким образом, статьи Шашкова и Шелгунова, критиков одного и того же лагеря, как бы взаимно дополняют друг друга, освещая с демократических позиций историю русской литературы XVIII в.

---

[41] Библиография работ Шашкова приведена Д. Д. Языковым в «Обзоре жизни и трудов русских писателей и писательниц» (вып. 2, изд. 2-е доп. М., 1915, стр. 91—95).

[42] «Дело», 1872, № 1, стр. 137—175, № 2, стр. 63—105; перепечатано с сокращениями в Сочинениях Н. В. Шелгунова (т. 1, изд. 3-е. СПб., 1904, стр. 451—514). Ср.: В. А. Волчанский. Н. В. Шелгунов — критик и историк литературы. М., 1952. — Работы Н. В. Шелгунова перечислены в кн.: Д. Д. Языков. Обзор.., вып. 11. СПб., 1911, стр. 202—211.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. (вторая половина XIX в.)

Литературно-общественная деятельность Добролюбова и Чернышевского прекратилась в самом начале 1860-х годов, со смертью первого из них и с высылкой из Петербурга второго, в то время, когда уже чувствовалось наступление эпохи правительственной реакции.

Арест и ссылка Чернышевского, правительственная провокация с «поджогами 1862 г.», жестокое подавление польского восстания 1863 г., выстрел Каракозова, закрытие одних революционно-демократических изданий и преследование других — все это способствовало усилению антидемократических настроений в значительной части тогдашнего дворянско-буржуазного общества. Реакционные издания М. Н. Каткова — «Московские ведомости» и «Русский вестник» —приобрели в эти годы влиятельность и распространение. Борьба с «нигилизмом» во всех его проявлениях становится для правящего класса самым животрепещущим, самым острым вопросом. Под влиянием наступившей реакции быстро отказываются от либерализма те литературные деятели, которые в предыдущее десятилетие были не прочь выступать даже с «радикальными» речами. А те, кто оставались верными либеральной фразеологии, перед лицом общего врага — революционной демократии — охотно шли на мировую со своими недавними противниками — консерваторами и реакционерами-крепостниками. Отчетливее всех выразил и обосновал эту точку зрения недавний либерал, а в начале 60-х годов и особенно впоследствии ярый реакционер М. Н. Лонгинов в письме к А. М. Жемчужникову (1862): «Будем одинаково бороться с ложью и злом, заключающимися в поползновении ретроградов и в стремлениях прогрессистов, ибо у них и того и другого не менее, только в другом роде. Верь, что неисправимый крепостник не хуже отчаянного социалиста. Разумные консерваторы и разумные прогрессисты без труда соединятся и восполнят друг друга. Тогда легко

будет воспротивиться грозящей нам будущности. Она состоит в том, что цивилизованные классы пригнут разорением и притеснением, дадут массам жить беззаботно на счет чужого труда и достояния, которых давить поручат проконсулам и над всем этим вооружат олицетворение одной палки, окруженной преторианцами».[1]

Эта тенденция к объединению реакционеров и либералов для совместной борьбы с революционными демократами в разной форме проявлялась и в печати 60-х годов. Должно быть, очень сильно было влияние революционно-демократических идей на общественное мнение, в особенности на умы учащейся молодежи, если для борьбы с этой пропагандой были мобилизованы правящим классом все силы, в том числе журнальная критика и историко-литературная наука.

Не случаен тот факт, что с эпохой реакции середины 60-х годов XIX в. совпадает окончательное оформление и теоретическое обоснование «академического» направления в изучении литературы XVIII в. Опыт Добролюбова показал, как под пером темпераментного, прогрессивного исследователя литература XVIII в. может сделаться поводом для рассмотрения самых серьезных, животрепещущих вопросов современности и для далеко идущих выводов непосредственно революционного характера. Вследствие этого как в реакционных, так и в либеральных кругах тогдашнего дворянско-буржуазного общества среди прочих методов классовой идеологической борьбы возникло стремление противопоставить революционно-демократическому освещению литературы XVIII в. свою концепцию литературного процесса.

Сторонники «академического» направления делились на две группы. Одни в противовес революционно-демократическому пониманию литературы XVIII в. как литературы, стремившейся к отражению жизни и современности, настаивали на якобы полной отрешенности литературы того периода «от живого отношения к действительности». Другие не отрицали связей литературы XVIII в. с современными ей событиями, но представляли ее на всем протяжении столетия в качестве безропотной и ревностной исполнительницы воли «просвещенных монархов»; они настойчиво, систематически истолковывали эту литературу как отражение объединенных, совместных, согласованных действий в области просвещения правительства, якобы всегда прогрессивного, и передовых писателей, будто бы всегда ему преданных.

Эта концепция представляла практическое осуществление того, что позднее получило в советском литературоведении название «теории единого потока». Литературный процесс с этой точки зрения понимается и изображается как лишенное противоречий, не знающее борьбы противоположных тенденций, проникнутое «общими интересами» развитие литературы, служащей

---

1 Литературное наследство, т. 23—24, 1935, стр. 754.

идеям прогресса и социальной справедливости. Сознательно или бессознательно, скорее всего бессознательно, сторонники этого направления подобным освещением историко-литературного материала стремились воздействовать как на реакционный правительственный аппарат XIX в., так и на различные в политическом и социальном отношениях слои тогдашних русских читателей.

Важнейшей чертой литературоведческой методологии сторонников «академического» направления и в 60-е годы, и позднее была пропаганда идеи о руководящей роли правительства в XVIII и XIX вв. в насаждении просвещения и о постоянной поддержке этих правительственных мероприятий со стороны «общества» и особенно передовых писателей.

В связи с этим главное внимание либерально-буржуазных исследователей было направлено преимущественно на изучение и соответственно освещение царствования Екатерины II, изображавшегося как счастливый период гармонического совпадения интересов правительства и общества. Выше было показано, что уже в середине прошлого века стала складываться «екатерининская легенда», представлявшая продолжение и видоизменение концепции, с которой боролись Пушкин и Герцен (VII, 181—190). Однако со времени возникновения «академического» направления в изучении литературы XVIII в. «екатерининская легенда» приобретает еще большее распространение. В эти годы усиливается публикаторская и биобиблиографическая деятельность выступивших ранее Пекарского, Сухомлинова, Тихонравова, Грота и других, в значительной части посвященная литературе последней трети XVIII в.

Тогда же Академия наук приступила к изданию Полного собрания сочинений Г. Р. Державина под редакцией акад. Я. К. Грота (тт. I—IX. СПб., 1863—1883). Это было первое «академическое» издание произведений писателя XVIII в., на долгое время определившее принципы академической текстологии и эдиционной техники. История его такова. В 1859 г. вместо И. И. Давыдова председательствующим во втором Отделении Академии наук (русского языка и словесности) был назначен П. А. Плетнев. Для поднятия авторитета Отделения Плетнев предложил заняться подготовкой серии полных собраний сочинений писателей прежнего времени. «Как составить из лучших памятников прошлой литературы нашей видимые и несомненные пособия к изучению их времени, не только со стороны идей, языка, вкуса и художнической красоты, но и со стороны высших предметов гражданственности, политики, словом, той общественной жизни, которая для потомства так занимательна, так назидательна богатством и разнообразием явлений, оборотом общественных событий и частными историческими отношениями?»[2]

[2] Отчеты Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852—1865 годы. СПб., 1866, стр. 307

После долгих обсуждений Отделение приняло решение выработать новый тип издания сочинений писателей-классиков: «Сочинения каждого избираемого писателя прежде всего должны быть собраны в возможной полноте и размещены в строгом хронологическом порядке. Варианты, какие только найдутся, непременно должны занять принадлежащее им место. Объяснениям тех мест, которые служат к окончательному уразумению исторических и биографических особенностей, также надо дать место в таком издании. Наконец, отдельная биография каждого писателя должна составить как бы руководство к чтению его произведений».[3] Определив таким образом характер и тип «академического» издания, «для первого опыта Отделение остановилось на издании Державина, как лица, по всем отношениям представляющего в себе наиболее тех особенностей, которые достойны изучения»,[4] и поручило осуществление намеченного издания акад. Я. К. Гроту. Подготовительные работы Грота продолжались с 1859 по 1863 г., когда вышел первый том нового издания.[5] Как сам Грот, так и Академия видели в сочинениях Державина документ не только научного значения, но в первую очередь политического. Эту точку зрения с большей или меньшей степенью откровенности изложил акад. А. В. Никитенко в отчете Отделения русского языка и словесности за 1861 г.: «Важнейшая часть умственного достояния народа заключается в творениях писателей — представителей его мысли и слова. Пока это достояние не приведено в известность, не пояснено, не очищено в горниле критики, до тех пор невозможна удовлетворительная, настоящая история не только литературы, но и вообще движения народной образованности. Тут важны не одни эстетические интересы: писатель прошлого времени, при несомненном таланте своем, может утратить часть своего блеска пред судом художественной современной критики. Но кроме того, что было бы крайне несправедливо судить исторического деятеля по потребностям и идеям нашего времени, писатель, действовавший на умы своей эпохи, важен для нас, как представитель ее духа, ее умственных нужд и стремлений. В таком случае для нас в высшей степени поучительны самые его недостатки. Все это не может не относиться к Державину. Бывают в критике направления,— переходит Никитенко к самому важному пункту своего рассуждения,— когда стараются унизить созданное нашими предшественниками на поприще литературы или науки за то, что они действовали по началам и

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 308.

[5] Ход работ акад. Я. К. Грота отражен в годичных отчетах ОРЯС: Отчеты АН по ОРЯС за 1852—1865 годы. СПб., 1866, стр. 308—310, 320—321, 336—337, 353—355, 357—358, 371—373, 376, 387—388, 437; Отчеты АН по ОРЯС за 1866—1891 годы. СПб., 1903, стр. 10—11, 24—25, 33, 68—69, 82—83, 117, 149, 188, 228, 241, 251, 265, 316, 319, 353, 373, 447—448, 465, 492; Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, тт. III. СПб., 1896, стр. 664, 665, 667, 672—673, 677—682, 685, 687, 688, 691—693, 695, 696, 783—785.

потребностям своего века, за то, что они были современными тогда, когда жили, а не современны теперь, когда их нет. Державин со всеми другими подвергся ныне у нас такому же жребию. Само собою разумеется, что при распространении подобных воззрений были бы невозможны никакое историческое понимание и изучение лиц и событий. Но как легкие, незрелые понятия суть явления скоропреходящие, как науке собственно предстоит рассеивать всякие грубые заблуждения и восстановлять истинное значение вещей, искажаемое неразумием и страстями человеческими, то мы не сомневаемся, что и в отношении к Державину она сделает свое дело успешно и оставит за ним неотъемлемую часть его заслуг, как свойственно ей, ничего не преувеличивая, ничего не скрывая, но ничего из принадлежащего ему не усиливаясь отнять. Для такой-то необходимой оценки издание, предпринятое Отделением, конечно, будет важным пособием. Оно, надеемся, послужит образцом для других подобных изданий и, следовательно, для правильного уразумения других лиц и эпох нашей литературы, и тогда история последней представится в настоящем своем свете, а не в том, какой стараются сообщить ей пристрастие и легкомыслие».[6]

Таким образом, «академический» Державин был задуман и осуществлялся как противоположность критической деятельности Белинского, Чернышевского и Добролюбова. И, конечно, выбор Отделением Державина не случаен: «певец Екатерины» был удобным отправным пунктом для создания благонамеренной, далекой от злободневности «филологической» истории литературы. Эта тенденция не могла ускользнуть от внимания тогдашней критики, и редактор издания Я. К. Грот, сообщая П. А. Плетневу о приеме, оказанном журналами первому тому, писал: «„Современник“, как можно было ожидать, глумится над излишним усердием и объявляет великолепное издание несовременным».[7]

За сочинениями Державина, редактированными Гротом, укрепилась репутация исключительно тщательного и едва ли не безупречного издания. Это справедливо лишь отчасти. Все же следует отметить, что «академический» Державин действительно служил десятки лет «образцом подобных изданий», как надеялся А. В. Никитенко: в 1873 г. под редакцией того же акад. Я. К. Грота вышло Полное собрание сочинений И. И. Хемницера; с 1891 г. начало издаваться Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова под редакцией акад. М. И. Сухомлинова;[8] с 1899 г. стал выходить незаконченный «академический» Пушкин. Лишь в наше

---

6 Отчеты АН по ОРЯС за 1852—1865 годы, стр. 353—355.

7 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, стр. 680.

8 При жизни М. И. Сухомлинова вышли тт. I—V; тт. VI—VII были изданы без примечаний в 1934 г. (под ред. Б. Н. Меншуткина); т. VIII (под ред. С. И. Вавилова, с примечаниями Л. Б. Модзалевского и именным указателем ко всем восьми томам, составленным Е. С. Кулябко) вышел в 1948 г.

время были преодолены традиции гротовского «академизма» в издании писателей-классиков.

В год поступления в продажу первого тома сочинений Державина закладывается теоретический фундамент и того направления в изучении литературы XVIII в., которое сделалось особенно влиятельным в 80—90-е годы прошлого века и которое обычно носит название «майковско-саитовской» школы. В 1864 г. Л. Н. Майков (1839—1900) [9] в статье «История русской литературы как наука и как предмет преподавания» выдвигает тезис, что «только на известной степени зрелости та или другая развивающаяся наука может сделаться и предметом преподавания» и что «история русской литературы, которая переживает еще первый период своей критической разработки, труженики которой едва еще могут опознаться в кругу вопросов и задач, в нее входящих, едва начинают объяснение отдельных ее памятников и группировку ее явлений,— по нашему мнению, не достигла этой желаемой степени зрелости».[10]

По мнению Майкова, не только история литературы находится у нас в таком положении, но и сама литература: она также «не достигла еще той степени зрелости, чтобы могла назваться полным выражением духовной жизни русского народа в слове: общечеловеческий элемент нашей литературы незначителен и не представляется в той самостоятельной выработке, благодаря которой он мог бы сделаться цивилизующим началом и для других народов... Она <литература> переживает теперь момент отсутствия положительного начала... она лишена целостности и законченности».[11] Дальше Майков выступает против убеждения, будто бы наша «литература свершила свой круг развития и договорилась до последнего слова, до общечеловеческого значения—убеждения ложного, потому что оно приучает смотреть на все прошедшее с точки зрения настоящего, между тем как именно это-то настоящее не может дать ничего существенного в смысле нравственно-образовательном, то есть не может дать положительного идеала».[12]

Такова была явно реакционная позиция Майкова: русская литература Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Тургенева, Толстого и других «не может дать положительного идеала», и поэтому необходимо изучать прошедшее не с точки зрения настоящего, а независимо от него, отрешаясь от современности, абсолютизируя это изучение, вытравляя из него все то, что могло повлечь за собой связь с проблематикой новейшей литературы.

---

9 Наиболее полный список трудов Л. Н Майкова составлен П К Симони и помещен в «Сборнике памяти Леонида Николаевича Майкова» (СПб, 1902, стр IX—XLII).

10 «Отечественные записки», 1864, т CLV, отд I, стр 169

11 Там же, стр 188—189.

12 Там же, стр 189

Этой реакционной позицией, вызванной опасениями перед конкретно-политическими выводами из изучения истории литературы, объясняется настойчивое подчеркивание Майковым «характеризующего XVIII век отсутствия живого отношения к действительности, падения старых литературных форм и почти совершенного отсутствия творческих созданий в каком бы то ни было роде».[13] Хотя Майков и говорит, что необходимо придавать «значение и тем немногим проблескам народности, которые отзывались в литературе XVIII века»,[14] тем не менее и в его собственной практике, и в практике его учеников больше всего выделяется, акцентируется «отсутствие живого отношения к действительности» в XVIII в. В сущности почти вся дальнейшая дореволюционная литературная историография XVIII в., за редкими исключениями, развивалась под знаком незыблемости этого тезиса.

Труды самого Л. Н. Майкова по XVIII в. в большинстве своем посвящены разработке мелких фактов и явлений или изучению деятельности второстепенных писателей.

Еще более «академический» характер имели работы ближайшего сотрудника Майкова, В. И. Саитова (1849—1938), крупного библиографа и знатока биографий русских литературных и государственных деятелей XVIII — начала XIX в. Для Саитова характерно совершенное отсутствие интереса к методологическим проблемам литературной науки и отказ от каких бы то ни было обобщений. Зато всем его работам присуща исключительная фактическая точность и ювелирная тщательность документации. Работ, непосредственно относящихся к истории литературы XVIII в., у Саитова немного.

Черты, присущие Майкову и Саитову, отразились в сильной мере и на работах их учеников и лиц, причастных к «майковскому» направлению, продолжавшему в еще более суженном виде практику «фактического», или «библиографического», течения 1850-х годов.

«Майковско-саитовская» школа, или, как они сами себя называли, «молодая семинария», «саитовская академия», состояла из начинающих, а отчасти уже признанных в то время (конец 1880 — начало 1890-х годов) ученых. Это были братья Ал. и Ал-др О. Круглые, Ар. И. Лященко[15] В. Н. Перетц, И. А. Кубасов (1875—1937), Б. Л. Модзалевский,[16] В. В. Сиповский, М. Н. Ма-

---

13 Там же, стр. 187.

14 Там же

15 Записка об ученых трудах А. И. Лященко — Известия АН, Отд. гуманит. наук, 1928, № 8—10, стр. 457—461; П. Н. Берков. А. И. Лященко (1871—1931) — «Slavia», 1932, № 3—4, стр. 681—683.

16 Памяти Б. Л. Модзалевского. 1874—1928. М., 1928; Б. И. Коплан Краткий очерк научной деятельности Б. Л. Модзалевского. К первой годовщине смерти. — Известия АН, Отд. гуманит. наук, 1929, № 4, стр. 301—316, и отд. отт.

заев, В. С. Карцов, А. А. Чебышев,[17] А. А. Флоридов,[18] В. Ф. Солнцев, В. Ф. Боцяновский и др. Одним из первых коллективных выступлений этой группы было участие в журнале Н. М. Лисовского «Библиограф» (в последние годы его существования), в «Ежегоднике императорских театров», а также издание сочинений ряда писателей XVIII в. (Екатерины II, И. И. Дмитриева и других в приложениях к журналу «Север») и начала XIX в. Другое крупное выступление «майковско-саитовской» группы относится к концу 90-х годов: участие в ряде библиографических начинаний С. А. Венгерова, и в особенности в его «Русской поэзии» (см. ниже). В дальнейшем «майковско-саитовская» школа стала печататься в журнале «Литературный вестник» (1900—1904), издававшемся А. И. Лященко; этот журнал может считаться как бы органом школы.[19] (О наиболее крупных представителях этой группы — В. Н. Перетце и В. В. Сиповском см. ниже).

Большую помощь в разработке истории литературы XVIII в. в библиографическом и биографическом отношениях оказали тогдашние библиофилы, коллекционировавшие книги и журналы XVIII в. Все крупнейшие труды по библиографии XVIII в. были созданы видными русскими библиофилами второй половины прошлого столетия. Появление этих работ было вызвано не только обстоятельствами, рассмотренными в начале главы; были на то и особые причины, так сказать, собственно библиофильского происхождения.

Как известно, интерес к рукописной книге XI—XVII вв. возник в среде русских библиофилов еще в первой половине XVIII в.; он усилился к концу столетия и к началу следующего. На книжно-антикварном рынке начала и середины XIX в. рукописные памятники ценились чрезвычайно дорого и были доступны только очень богатым собирателям вроде графов А. И. Мусина-Пушкина, Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, купца Царского и др. Менее состоятельные коллекционеры обратились к старопечатной и петровской книгам, а затем к изданиям XVIII в. вообще. В середине XIX в. собирание книг предшествующего столетия стало библиофильской модой. Но эта мода принесла большую пользу науке. Чрезвычайно важными в источниковедческо-библиографическом отношении были работы библиофила А. Н. Неустроева «Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг.» (СПб., 1874) и «Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и

[17] Ф. Д. Батюшков. Александр Александрович Чебышев. — ЖМНП, 1917, сентябрь, стр 20—26.

[18] А. А. Флоридов, 1862—1913. — ЖМНП, 1913, сентябрь, стр. 58—59, и отд. отт.; «Исторический вестник», 1913, июнь, стр. 1117.

[19] О «майковско-саитовской» школе см.: И. А. Кубасов На могилу Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1900, стр. 13—14; С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, изд. 2-е. Пг., 1915, стр. IV.

к историческому указателю о них» (СПб., 1898). Критика в лице А. Ф. Бычкова, Л. Н. Майкова, Ан. Половцева и других[20] отнеслась в общем довольно сдержанно к работе Неустроева, хотя и признала ее большое значение. В 1925 г. в группе журналистики и критики Научно-иследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) А. Д. Александровым был сделан доклад «Источники капитального труда А. Н. Неустроева», в котором сообщалось о поступлении в рукописный отдел Публичной библиотеки рукописи Н. Абросимова «Обозрение содержания журналов за 1728—1825 гг.».[21]

В дальнейшем было установлено, что работа Неустроева не является плагиатом, а представляет самостоятельный труд, в котором вполне закономерно использованы достижения предшественников. В настоящее время работы Неустроева сохраняют справочное значение, несмотря на почти столетний возраст.

В 1876—1880 гг. в Берлине вышли два тома «Справочного словаря о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1775 по 1825 г.» (от А до М включительно) другого видного библиофила Г. Н. Геннади (1826—1880); т. III — Н — Р был издан посмертно в 1908 г.; рукопись т. IV находится в рукописном отделе Публичной библиотеки[22] в Ленинграде. Хотя словарь составлен главным образом на основании печатных библиографий (Сопикова, Плавильщикова, Смирдина и т. д.), а также газетных и журнальных статей и аналогичных источников, тем не менее он сыграл очень существенную роль в изучении второстепенных и третьестепенных писателей XVIII в.[23]

Особо важное значение среди библиографическо-источниковедческих работ этого периода, относящихся к изучению литературы XVIII в., имеет трехтомный труд третьего библиофила — Н. В. Губерти (1818—1896) «Материалы для русской библиографии. Хронологическое обозрение редких и замечательных русских книг XVIII столетия, напечатанных в России гражданским шрифтом 1725—1800» (М., 1878, 1881 и 1891). В отличие от указателей Сопикова, Плавильщикова, Смирдина и Геннади, представляющих простые библиографические списки книг и авторов,

---

20 Перечень отзывов дан в статье Л. Н. Майкова об «„Указателе" Неустроева» (Известия ОРЯС, 1898, кн. 3, стр. 929), отзыв Половцева — в «Московских ведомостях» (1898, 6 февраля, и отд. отт.).

21 Инструкция для описания журналов. Л., 1926, стр. 8; изд. 2-е, 1928, стр. 8 (Научно-иссл. инст. сравнит. изуч. лит. и яз. Запада и Востока); М. В. Машкова и М. В. Сокурова. Общие библиографии русских периодических изданий 1703—1954 и материалы по статистике русской периодической печати. Л., 1956, стр. 41—47; ср. там же, стр 12—14.

22 С. М. Бабинцев. Архив Г. Н. Геннади. — «Советская библиография», 1955, вып. 39, стр. 54—60.

23 И. М. Кауфман. Русские библиографические и биобиблиографические словари. М., 1955, стр. 295—297.

труд Губерти является подробным описанием-изложением наиболее редких и интересных (с точки зрения составителя) книг, сборников и журналов. В третьем выпуске Н. В. Губерти обращался и к рукописным источникам с целью восстановления искаженного цензурой авторского текста. Нередко составитель приводил обширные цитаты из описываемых произведений. Таким образом, труд Губерти оказался чем-то вроде пространной хрестоматии по литературе XVIII в. с ценными библиографическими и историко-литературными примечаниями. Хотя это издание было выпущено в ограниченном количестве экземпляров (300), оно принесло большую пользу лицам, занимавшимся литературой XVIII в., заменяя редкие книги и журналы, находившиеся только в крупнейших библиотеках Москвы и Петербурга.[24]

Библиографическим изучением литературы XVIII в. с успехом занимались в те же годы библиофилы Ф. А. Витберг (1846—1919),[25] казанский проф. Н. М. Петровский (1875—1921)[26] и др. Перу Н. М. Петровского принадлежит ряд ценных разысканий по истории журналистики, литературы и театра XVIII в. Обычно это либо рецензии, либо статьи со скромным названием «Библиографические заметки» или «Библиографические мелочи», но почти каждая из этих работ вносит что-либо новое, устраняет старые ошибки или разъясняет недоумения прежних исследователей и изыскателей. Можно без преувеличения сказать, что незаметный, малоизвестный провинциальный работник Н. М. Петровский был одним из точнейших и наиболее осведомленных русских библиографов по литературе XVIII в.

Большое значение для плодотворного изучения литературы XVIII в. имело то обстоятельство, что с середины прошлого столетия крупнейшие государственные книгохранилища страны — Императорская публичная библиотека и Библиотека Академии наук в Петербурге, Румянцевский и Исторический музеи в Москве и др.— стали приобретать для своих рукописных отделов наряду с материалами по древнерусской письменности также литературные, научные и эпистолярные документы, относящиеся

---

24 О Н. В Губерти см.: Н. Л. <Н. М. Лисовский> Н В. Губерти — «Библиограф», 1892, № 2, стр. 79—83; У. Г Иваск Частные библиотеки в России — «Русский библиофил», 1911, № 6, стр 81—82; О. И. Шведова Историки СССР. М, 1940, стр. 45.

25 К 40-летнему юбилею Федора Александровича Витберга. 1869—1909 Краткая биография и список литературно-педагогических статей и заметок. СПб, 1909, Б Л. Модзалевский. Ф. А Витберг. Некролог. — Известия АН, 1919, VI серия, стр. 501—502

26 За сто лет, т. I. Под ред. Н. П. Загоскина. Казань, 1904, стр 152—153. А Г. Муравьев и А М Селищев. Нестор Мемнонович Петровский. Список его работ по библиографии. Биобиблиографические материалы, собранные Э А Вольтером, вып 2 Пг, 1918, стр 28—30; К. В Харлампович Н. М. Петровский. Некролог. — «Казанский музейный вестник», 1921, № 1—2, стр. 134—138, А М. Селищев. Памяти профессора Н М. Петровского. — «Казанский библиофил», 1921, № 1, стр. 11—17, и отд. отт

к идейной жизни русского общества XVIII в. В печатных отчетах некоторых из этих библиотек регулярно сообщались сведения о поступлении в рукописные отделы соответствующих материалов, которые благодаря этому постепенно вводились в научный оборот.[27]

Столь же существенную роль стали играть и публиковавшиеся со второй половины XIX в. описания различных архивов — Академии наук, Синода и т. д.[28] Наряду с библиографическими трудами о русской печатной книге первой четверти XVIII в. (труды Пекарского, Бычкова) и всего столетия (Геннади, Губерти и др.) сведения о рукописных источниках по истории литературы XVIII в. способствовали более углубленному изучению эпохи.

С середины XIX в. в большом количестве печатаются мемуары, дневники, переписка или отдельные письма деятелей русской культуры XVIII в., в том числе и писателей — Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова и др. Со второй половины прошлого столетия начали выходить исторические журналы — «Русский архив» (1863), «Русская старина» (1870), «Исторический вестник» (1880) и пр. Все это также способствовало дальнейшему изучению литературы XVIII в.

Как правило, работы представителей «академического» направления со второй половины XIX в. строились на архивных и обширных книжных и журнальных материалах. Постепенно стали появляться ученые, если и не специально посвящавшие себя изучению литературы XVIII в., то уделявшие ей значительное внимание и как исследователи, и как преподаватели в высших учебных заведениях.

Первые такие работы значительного объема принадлежали акад. М. И. Сухомлинову, преподававшему в Петербургском университете и опубликовавшему исследования о литературе XVIII в. («Ломоносов — студент Марбургского университета», 1861; «О литературе переходного времени — конца XVII и начала XVIII века», 1862; «Новиков, автор Исторического словаря о русских писателях», 1865; «А. Н. Радищев, автор „Путешествия из Петербурга в Москву“», 1883, и др.).[29] Ряд подобных статей и заметок по литературе XVIII в. написан акад. Н. С. Тихонравовым, профессором Московского университета, в основном работавшим в области древнерусской литературы. Его вклад в изу-

---

27 Отчеты Публичной библиотеки печатаются с 1808 г. до наших дней (с перерывами), Румянцевского и Исторического музеев — с 1864 г., сведения о поступлениях в рукописный отдел Публичной библиотеки сообщаются с 1882 г. Сводных указателей ко всем этим отчетам нет.

28 Подробнее об этих источниках будет сказано во втором выпуске «Введения в изучение истории русской литературы XVIII века».

29 Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение в Петербургском — Ленинградском университете. — Труды юбилейной научной сессии Ленингр. гос. ун-та, секция филолог. наук. Л., 1946, стр. 5—6.

чение истории литературы XVIII в. ограничивается преимущественно обнародованием биографических материалов о писателях этого периода, публикацией их переписки.[30] Значительнее его работы по истории русского театра XVII — первой четверти XVIII в.

Более специально занимался литературой XVIII в. проф. Петербургского университета А. И. Незеленов (1845—1896). В 1875 г. он защитил магистерскую диссертацию «Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769—1785 гг.» (СПб., 1875),[31] а затем с 1877 г. в течение ряда лет читал в университете в качестве приват-доцента курсы по новой русской литературе; один из них, посвященный эпохе Екатерины II, был опубликован в виде журнальных статей, из которых позднее составилась книга «Литературные направления в Екатерининскую эпоху» (СПб., 1889). Курс Незеленова, по-видимому, был первым в русских высших учебных заведениях научным курсом по истории русской литературы XVIII в. Ученик славянофила О. Ф. Миллера Незеленов придерживался умеренно-либеральных взглядов с некоторым уклоном в «почвенничество» Ап. Григорьева. В своих работах по литературе XVIII в. Незеленов использовал архивные материалы, частично в дальнейшем утраченные.[32]

Литературе XVIII в. уделяли внимание также другие профессора Петербургского (И. А. Шляпкин, А. К. Бороздин и др.) и Московского университетов (А. И. Кирпичников, М. Н. Сперанский, П. Н. Сакулин и др.).[33] Специалист по древнерусской литературе и литературе начала XIX в. акад. В. М. Истрин прочел в 1910/11 г. в Петербургском университете интересный курс по новой русской литературе (со второй половины XVII в. по 40-е годы XIX в.). Курс был напечатан литографским способом.[34]

Кроме того, ряд профессоров и доцентов провинциальных университетов и других высших учебных заведений читали курсы по истории литературы XVIII в., издавали в печати свои лекции и занимались специально, а чаще всего попутно научным изучением соответствующих материалов. Среди них особо следует отметить проф. Казанского университета А. С. Архангельского

---

30 Н. К Гудзий 1) Изучение русской литературы в Московском университете (доoктябрьский период). М., 1958, стр. 33—37 и 40—46; 2) Николай Саввич Тихонравов. М, 1956.

31 Дополнением к этой книге Незеленова является его статья «Новиков в Шлиссельбургской крепости» («Исторический вестник», 1882, № 10, стр. 481—500).

32 О Незеленове см.: С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей и ученых, т. IV. Пг., 1917, стр 524—525; Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 28, стб. 236—237; Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение.., стр. 11—12.

33 Н. К. Пиксанов. Русское литературоведение..., стр. 13—14; Н. К. Гудзий. Изучение русской литературы в Московском университете (дооктябрьский период), стр. 54—59, 61—62, 69.

34 Лекции по истории новой русской литературы, читанные проф. Истриным. III курс. 1910/11 г. Литография Семечкиной.

(1854—1926),[35] проф. Казанского, затем Варшавского и Ростовского университетов Е. А. Боброва (1867—1937),[36] проф. Юрьевского (Тартуского), а затем Крымского университетов Е. В. Петухова (1863—1948),[37] проф. Варшавского, Донского и Белорусского университетов И. И. Замотина (1873—после 1938),[38] проф. Киевского университета А. М. Лободу (1871—1926),[39] проф. Киевской духовной академии и действ. члена Украинской академии наук Н. И. Петрова (1840—1921),[40] проф. Харьковского университета Н. Ф. Сумцова (1854—1922),[41] проф. Нежинского историко-филологического института В. И. Резанова (1867—1937),[42] проф. Одесского (Новороссийского) университета В. Н. Мочульского (1856—1920),[43] доц. Казанского, затем проф. Петроградского университета Л. К. Ильинского (1878—1934)[44] и др.

К представителям «академического» направления в изучении литературы XVIII в., в основном публиковавшим материалы или издававшим произведения писателей того периода, относятся

---

[35] За сто лет, т. I, стр. 29—31, П. Н. Сакулин. Памяти проф. А. С. Архангельского. — «Известия», 1926, 27 апреля, стр. 6; Большая советская энциклопедия, т. 3 М, 1926, стб 525; А Г. Фомин. Путеводитель по библиографии литературы. Л., 1934, стр. 282—283; Литературная энциклопедия, т. I. М., 1930, стб. 700, О. И. Шведова. Историки СССР, стр. 20; Д. П. Муравьев. — Краткая литературная энциклопедия, т. I. М, 1962, стб. 331.

[36] Χάριτες. Профессору Евгению Александровичу Боброву признательные ученики 1888—1913. Варшава, 1913, стр. I—VIII (библиография трудов Боброва); М. Д. Беляев. Работы проф. Е. А. Боброва по истории русской литературы и просвещения. Ростов н/Д., 1928, стр. 1—13 (см.: Краткий указатель к работам проф. Е. А Боброва, стр. 9—13).

[37] А. М. Лукьяненко. Очерк научной и педагогической деятельности проф. Евг. Петухова к моменту ее сорокалетия (1887—1927). — Известия Крымск. пед. ин-та, т. 1, 1927, и отд отт.; П. Н. Берков — Литературная энциклопедия, т. VIII. М, 1934, стб. 625; Б. В. Правдин. Русская филология в Тартуском университете — Уч. зап. Тартуск. ун-та, 1954, т. 35, стр. 158—161.

[38] Записка об ученых трудах проф. И. И. Замотина. — Записки об ученых трудах членов-корреспондентов АН СССР по Отд. гуманит. наук, избранных 31 января 1929 г. Л, 1930, стр. 31—37; Литературная энциклопедия, т. IV, стб. 302, Большая советская энциклопедия, т. 26. М, 1933, стб. 145—146.

[39] Записка об ученых трудах А. М Лободы. — Известия АН, сер. VI, 1923, стр. 360—365. Академик Андрій Лобода (1894—1924). Короткий життєпис і спис наукових праць. Київ, 1924 (Окрема відбитка з Записок іст.-філолог. відділу УАН, 1923, кн IV).

[40] Литературная энциклопедия, т. VIII, стб. 620—621; О. И. Шведова. Историки СССР, стр. 91; Большая советская энциклопедия, т. 32, изд. 2-е. М., 1955, стб. 598

[41] Б. М. — Литературная энциклопедия, т XI, стб. 113; наиболее полный перечень работ Сумцова — в Записках іст.-філолог. відділу УАН, Київ, 1923, кн. 2—3, стр. 6—40

[42] Литературная энциклопедия, т. IX, стб 582—583; Записка об ученых трудах В. И. Резанова. — Известия АН, сер. VI, 1923, стр. 358—360.

[43] С А Венгеров. Источники.., т. IV, стр. 429—430; Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 27, стр. 402.

[44] Б. И. Коплан. Л. К. Ильинский (1878—1934). — «Slavia», 1935, № 2—3, str. 567—571.

также проф. К. Я. Грот (1853—1939),[45] проф. А. К. Бороздин (1863—1918),[46] написавший «Историю русской литературы до XIX века» (М., Изд. «Мир», 1907—1908), В. В. Каллаш (1866—1918),[47] особенно много сделавший для изучения биографии и творчества И. А. Крылова, В. В. Буш (1888—1934),[48] интересовавшийся судьбой допетровской традиции в литературе XVIII в.

Следует также упомянуть П. К. Симони (1859—1939),[49] внесшего ряд новых данных в изучение фольклора XVIII в. и издавшего первый (так и оставшийся единственным) том Сочинений М. Д. Чулкова.

Характерной чертой «академической» истории литературы XVIII в. был отказ от решения больших политических и художественных вопросов, которые выдвигал сам литературный материал. Если отдельные представители «академического» направления и проводили изредка в своих работах мысль об исторической обусловленности какого-либо литературного явления, то это никогда не выходило за рамки либерально-буржуазной трактовки литературного процесса, основное содержание которого сводилось к борьбе правительства (и прежде всего Екатерины II) и передовых писателей со «старинным невежеством» и к пропаганде идей французских философов.

Особенно ярко выразилось подобное понимание роли Екатерины II в 1896 г., в столетнюю годовщину ее смерти, когда с юбилейными брошюрами и статьями выступили многие представители «академического» и «неакадемического» русского литературоведения и истории.[50] С этого же времени вновь началось

---

45 V. Francev. K. J. Grot. Praha, 1935 (str. 37—56; Soupis prací prof. dr. Konstantina J. Grota); Г. А. Гуковский. За изучение восемнадцатого века. — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 310—311.

46 А. Е. Грузинский. Александр Корнильевич Бороздин (1863—1918). — Научные известия, вып. II. Пг., 1923, стр. 342; Г. Линсцер. А. К. Бороздин. — «Казанский библиофил», 1922, № 3, стр. 44—45, Большая советская энциклопедия, т. 7. М., 1927, стб. 184—185.

47 В. Саводник. Владимир Владимирович Каллаш (1866—1918).—Научные известия, вып. II. Пг., 1923, стр 342—345; В В. Каллаш (некролог).— «Русские ведомости», 1918, 17 января; Большая советская энциклопедия, т. 30. М., 1937, стб. 743 (дата смерти здесь указана неправильно).

48 С. Д. Балухатый и др. Проф. В. В. Буш. — «За социалистическую науку», 1934, 20 мая; С. Д. Балухатый и др. В. В. Буш — «Литературный Ленинград», 1934, 20 мая; А. Л. <А. Н. Лозанова>. В В. Буш (некролог). — «Советская этнография», 1934, № 4, стр. 125.

49 Э. А. Вольтер. Биобиблиографические материалы, собранные в 1913—1914-м годах. Пг., 1915, стр 80—88, Н. Аблов. П. К. Симони. — «Советская библиография», 1940, № 1 (18), стр. 219—221; В. И Чернышев П. К. Симони (некролог). — «Советский фольклор», 1941, № 7, стр. 243—244.

50 А. С. Архангельский. Императрица Екатерина II в истории русской литературы и образования. Казань, 1897; Вл. Каллаш. Что сделала Екатерина II для русского народного просвещения. Из журнала «Вестник воспитания». М., 1896; А. Е. Грузинский. Императрица Екатерина и литературное движение ее эпохи. — «Русское богатство», 1896, № 12, отд. I, стр. 202—216; В. Ф Боцяновский. Императрица Екатерина II — «Новое слово», 1896, кн III (декабрь), стр. 143—164; Р. Ю. Виппер Екатерина II

усиленное изучение «Наказа» Екатерины II,[51] а также было осуществлено академическое издание ее Сочинений (под ред. А. Н. Пыпина, 1901—1907). Легенда о либерализме Екатерины II потребовала соответственной обработки биографий и характеристик литературно-общественной деятельности крупнейших представителей передовой русской мысли последней трети XVIII в.— Фонвизина, Новикова и Радищева: эти писатели изображались в качестве пламенных соратников Екатерины в борьбе против старинных пороков — невежества, грубости нравов, взяточничества, крепостничества, французомании.

На французскую революцию складывалась вина как на причину «неожиданных» преследований, постигших этих писателей в конце царствования Екатерины II.

Либерально-буржуазная «екатерининская легенда» отразилась не только на изучении истории литературы и общественной мысли России конца XVIII в., но и на исследованиях по истории русского театра той поры. Долгое время этими вопросами занимались исключительно литературоведы, и история театра под их пером превращалась в историю драматургии. Естественно, что Екатерина II как автор комедий «О время!», «Именины г-жи Ворчалкиной» и др., а также как вдохновительница «либеральной» правительственной театральной политики последней трети XVIII в. привлекала пристальное внимание «академических» и «неакадемических» буржуазных историков театра. Театроведы советского периода по-иному понимают задачи истории театра и методы ее изучения и поэтому нуждаются в новых, ранее не привлекавшихся фактах. Тем не менее дóлжно признать, что фактические данные, накопленные дореволюционными историками театра XVIII в., весьма значительны и по объему не уступают наследию, оставленному советскому литературоведению дореволюционной буржуазной литературной наукой.

В области изучения истории театра XVIII в. особенно много сделали уже упоминавшийся М. Н. Лонгинов, затем автор известной «Летописи русского театра» П. Н. Арапов (1796—1861),[52] В. Я. Стоюнин (1826—1888), автор не утративших зна-

и просветительные идеи Запада.—«Мир божий», 1896, № 12, отд. I, стр. 1—17; А. А. Кизеветтер. Историческое значение царствования Екатерины Великой — «Образование», 1896, № XI, отд I, стр 7—26, В О Ключевский. Императрица Екатерина II (1796—1896). — «Русская мысль», 1896, ноябрь, отд. II, стр. 130—177; П. О Морозов. Екатерина II как писательница — «Образование», 1896, № XI, отд. II, стр. 1—10, и др — Ср. более поздний отклик: Н К Маккавейский Педагогические мечты Екатерины Великой и Бецкого Из истории воспитания в России Киев, 1904 (оттиск из Трудов Киевск. духовн. академии, 1904, № 5).

51 Изучение «Наказа» всегда имело в буржуазной науке сугубо политическое значение Библиографию вопроса см. в кн.: А. В. Флоровский Из истории Екатерининской законодательной комиссии 1767 г Вопрос о крепостном праве. Одесса, 1910, стр. XXIII—XXXVIII, особенно XXXV и сл.

52 С. А. Венгеров. Источники.., т. I, стр 98; М. Лурье Первый летописец русского театра. К 80-летию со дня смерти П Н Арапова — «Театр», 1941, № 3, стр. 157—158.

чения и до сих пор монографий о Сумарокове и Шишкове,[53] Н. С Тихонравов,[54] П. О. Морозов (1854—1920),[55] Н. В. Дризен (1868—1935?),[56] И. Г. Иноземцев (1872—1905),[57] А. П. Кадлубовский (1867—1921) [58] и др.

---

53 Д. Д. Языков. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц, вып. 8. М., 1900, стр. 107—113; А. Я. Острогорский. Библиографический указатель материалов по истории русской школы № 1 (Приложение к журн. «Педагогический сборник», 1899, № 3), стр. 30—31; Я. А. Роткович. 1) Методическое наследие Стоюнина — «Литература в школе», 1936, № 6, стр. 54—64; 2) Педагогические взгляды В. Я. Стоюнина. — «Советская педагогика», 1938, № 8, стр 91—100; 3) Вопросы преподавания литературы. М., 1959, стр. 127—189; В. Голубков. — Литературная энциклопедия, т. II, стб. 81.

54 Н. К. Гудзий. Николай Саввич Тихонравов. Ср. рецензию на эту книгу: П. Н. Берков. Новая работа о Н. С. Тихонравове и некоторые вопросы русской литературной историографии. — Известия АН СССР, ОЛЯ, 1958, № 4, стр. 371—374.

55 П. Б. <П. Н. Берков>. — Литературная энциклопедия, т. VII, стб. 507—508, Большая советская энциклопедия, т. 40. М., 1938, стб 221—222.

56 Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т 16, стб. 804; С. А. Венгеров. Предварительный список, стр. 258; Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель, т. I (А—М). М, 1962, стр. 245.

57 С. А. Венгеров. Предварительный список, стр. 325.

58 Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т 20, стб 335; Кадлубовский, Арсений Петрович (1867—1921). — «Бирюч», 1921, сб. II, стр 412.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЛИБЕРАЛЬНО-БУРЖУАЗНОЕ И БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. (конец XIX и начало XX вв.)

Одним из отрицательных следствий правительственной и общественной реакции 60-70-х годов прошлого века в области изучения литературы XVIII в. было то, что плодотворные идеи Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова либо вовсе были преданы забвению (сочинения Герцена и Чернышевского запрещены к обращению), либо излагались неправильно, фальсифицированно, применительно к потребностям правящего класса. Белинский, например, объявлялся только проповедником теории «чистого искусства» или обвинялся в отсутствии устойчивой философской позиции.

Отказ от наступательных традиций революционных демократов и специфическое приспособление их взглядов к интересам господствующего класса наложили особую печать на русскую литературную науку второй половины XIX в. и, в частности, на изучение литературы XVIII столетия. Этим и объясняется относительная незначительность ее достижений, преимущественное внимание к мелочам, неспособность понять философский смысл литературного процесса XVIII в.

На фоне «академической» науки того времени выделяются своими взглядами, самостоятельной позицией два замечательных историка литературы, в круг занятий которых входило изучение и литературы XVIII в., — А. Н. Пыпин и С. А. Венгеров.

А. Н. Пыпин (1833—1904), один из крупнейших и плодовитых русских литературоведов второй половины XIX в., вошел в историю нашей литературной науки как автор трех «великих сводов» — «Истории славянских литератур», «Истории русской этнографии» и «Истории русской литературы»,[1] а также огром-

[1] Пятидесятилетие научно-литературной деятельности академика А. Н. Пыпина. Оттиск из 3-й кн. «Литературного вестника» за 1903 г СПб., 1903, стр. 4.

ного числа книг, статей, обзоров и рецензий (в далеко не полном перечне трудов Пыпина зарегистрировано 1151 название).

Ученый исключительно большой эрудиции и широкого круга интересов Пыпин начал литературно-научную деятельность исследованием по истории литературы XVIII в. и кончил изданием Сочинений Екатерины II.[2] Им сделано очень много как в отношении фактической разработки истории литературы этого периода, так и для обобщения накопленных материалов: третий и частично четвертый томы «Истории русской литературы» до сих пор сохраняют ценность и значение и по своему содержанию, и по солидному библиографическому аппарату. Такой же основательный характер имеют работы Пыпина по истории русской филологической науки XVIII в., частью вошедшие в его «Историю русской этнографии», частью оставшиеся за ее пределами.

Помимо общих трудов, включающих разделы, посвященные литературе XVIII в., перу Пыпина принадлежит значительное количество специальных работ по XVIII в. Их можно разбить на четыре основные группы.

Первую составляют статьи об отдельных авторах и произведениях XVIII в.: о Лукине (1853), Крылове и Радищеве (1868), Феофане Прокоповиче (1869), Челищеве (1886), Щербатове (1896), об «Антидоте» (1901) и т. д. Здесь Пыпин выступает в качестве исследователя, владеющего обширными печатными материалами; рукописные им почти не используются.

Вторую группу образуют работы о так называемой «старорусской повести», начало изучения которой положил Пыпин своей диссертацией «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» (1857).[3] К числу таких работ относятся «Гистория о гишпанском шляхтиче Долторне, как вероятный источник повести о российском матросе Василии» (1887), «Для любителей книжной старины» (1888; перепечатано с дополнениями в «Сборнике Общества любителей российской словесности», 1890) и др. В этих работах Пыпин обращается к рукописным источникам и проявляет большую филологическую культуру как публикатор и комментатор. Только с изданием «Библиографии древнерусской повести» В. П. Адриановой-Перетц и В. Ф. Покровской (1940) в не-

---

[2] О Пыпине см.: Материалы для словаря действительных членов Академии наук, ч. II. Пг., 1917, стр. 72—121 (список неполный), Н. Глаголев.— Литературная энциклопедия, т. IX, стб. 456—459

[3] О роли Пыпина в изучении старорусской повести см. в книге Н. К. Пиксанова «Старорусская повесть» (М., 1923, стр. 17—19), в статье А. С. Архангельского «Труды академика А. Н. Пыпина в области истории русской литературы (по поводу пятидесятилетия его научной деятельности) (1853—1903)» (ЖМНП, 1904, № 2, отд. 4, стр. 96—104) и в его же книге «Введение в историю русской литературы» (т. 1. Пг., 1916, стр. 395—438). О значении диссертации Пыпина для изучения народного творчества см. в кн.: М. К. Азадовский. История русской фольклористики, т. II. М., 1963, стр. 135—141

которой степени утратила свое значение (но не в части XVIII в.) старая сводка Пыпина «Для любителей книжной старины».

Третья группа работ Пыпина связана с изучением масонства. Начиная с обширной статьи-рецензии о «Новикове и московских мартинистах» М. Н. Лонгинова (1867), представляющей солидное исследование, печатавшееся в трех номерах «Вестника Европы» и занимающее около 190 стр., продолжая статьями о «Русском масонстве до Новикова» (1868) и «Хронологическим указателем масонских лож» (1873) и т. д., Пыпин дал обстоятельный и строго документированный обзор сведений о течении, столь важном в истории русской мысли XVIII в. Все эти работы перепечатаны в исправленном автором виде, с приложением его других тематически связанных статей в книге «Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в.» (1916).[4] К этому же разделу относятся работы Пыпина о литературной продукции старообрядчества в XVIII в.

Наконец, к последней, четвертой, группе работ Пыпина по XVIII в. надо отнести академическое издание Сочинений Екатерины II (1901—1907). Здесь, однако, Пыпин пошел по линии академической традиции, «исправляя» или, точнее говоря, фальсифицируя тексты плохо владевшей русским языком Екатерины. Но и в этом издании Пыпин выступил во всеоружии эрудиции как комментатор и редактор. К сожалению, издание осталось незаконченным.

В дореволюционной литературной историографии установился взгляд на Пыпина как на верного ученика и продолжателя «дела» Чернышевского. Эту точку зрения развивал и сам Пыпин в выступлении[5] на юбилейном торжестве 1903 г.; ее охотно поддержали затем П. Е. Щеголев,[6] В. И. Семевский,[7] Ал-др Н. Веселовский[8] и др. Встречается она и у некоторых авторов нашего времени (Н. К. Пиксанова, М. К. Азадовского).

Однако эта точка зрения ошибочна: революционные стороны мировоззрения Чернышевского всегда были чужды Пыпину; он оставался «на уровне философского позитивизма и буржуазно-

---

[4] Редакция и примечания Г. В. Вернадского.

[5] См. в статье Ал. Н. Веселовского «К характеристике А. Н. Пыпина» («Русские ведомости», 1903, № 94). Ср. запись этого же выступления в брошюре «Пятидесятилетие научно-литературной деятельности академика А. Н. Пыпина» (СПб., 1903, стр. 16—26).

[6] П. Е. Щеголев. К пятидесятилетию деятельности А. Н. Пыпина. — «Мир божий», 1903, июль, отд. II, стр. 8—13. — О влиянии Чернышевского см. стр. 11—12.

[7] В. И. Семевский. Памяти А. Н. Пыпина. — «Русская мысль», 1904, декабрь, стр. 164—171. — О влиянии Чернышевского см. стр 164—165 и 171.

[8] А. Н. Веселовский. А. Н. Пыпин. — Известия ОРЯС, 1904, т. IX, кн. 4, стр. I—VIII, и отд. отт. — О влиянии Чернышевского см. стр. II—III и V.

либерального просветительства».[9] Нельзя согласиться и с мнением, будто в раннем творчестве Пыпина отчетливо проявилось влияние Чернышевского и что даже в его позднем либерализме довольно силен элемент демократизма. Чернышевский был не только революционером-демократом, он был, по словам Маркса, «социалистическим Лессингом». Пыпин же никогда не проявлял симпатий к социализму в каком бы то ни было виде.

В работах раннего периода Пыпин, несомненно, зависел от Чернышевского. Оценка литературных деятелей XVIII в. не как представителей художественного творчества, а как выразителей умственных интересов эпохи, обращение к «повестям и сказкам русским» как духовной пище не верхов, а массы старинных читателей, наконец изучение масонства как идейного течения — все это было у Пыпина связано с влиянием его двоюродного брата. Но уже в первом выступлении Пыпина в печати проявляются характерные для него на всем протяжении научного творчества умеренность, сдержанность и некая методологическая ограниченность.

Первая статья Пыпина, отрывок из его студенческой работы по истории русской комедии XVIII в., — «Владимир Лукин» — была помещена в «Отечественных записках» за 1853 г. Как часто бывает, работа начинающего ученого в известной мере если не предопределяет, то во всяком случае намечает его будущий путь. Пыпин начал статью с сетований на неразработанность многих разделов истории русской культуры и литературы, на пренебрежение к второстепенным и третьестепенным писателям и произведениям. Он выразил уверенность, что «фактическое изучение литературы, не оставляющее без внимания самых мелких подробностей, много расширит наши сведения и об истории нашей литературы и вообще нашего образования».[10] Хотя Пыпин имеет в виду тогдашнее «фактическое», или «библиографическое», направление в изучении старой литературы, однако историко-культурная точка зрения, сторонником которой он был в течение всей своей научной деятельности, в зачаточном виде нашла выражение уже в статье 1853 г.

Пыпина не пугала узость «фактического» направления. Он предъявляет ему большие требования, тем самым превращая библиофильско-библиографическое копательство в духе М. Н. Лонгинова и Г. Н. Геннади в более научно осмысленное и плодотворное занятие. «Вопросы о разных частностях истории нашей литературы остаются все еще без ответа, и для их-то разрешения должно быть основанием фактическое изучение

---

9 Большая советская энциклопедия, т. 35, изд. 2-е. 1955, стр. 382; ср. также статью В. А. Пыпина «Чернышевский и Пыпин в годы детства и юности. Отрывки из семейного архива» (в сб.: Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи. Под общей ред. проф. С. З. Каценбогена. Саратов, 1928, стр. 273—293).

10 «Отечественные записки», 1853, т. 89, август, отд. II, стр. 39.

литературы. Нужно ближе, нежели сколько было до сих пор, ознакомиться с массой нашей литературы, исследовать ее библиографически, только не по старой методе, выставлявшей заглавие книги и год напечатания и оставившей (!) в стороне содержание, то есть самое главное: нужно привыкнуть быть в этой массе, освоиться с теми идеями, которые в разное время в ней господствовали, и можно быть уверенным, что занятия не будут бесплодны и скучны, а время не будет потеряно».[11]

Для Пыпина с самого начала литература — это часть образованности, и содержание ее составляют идеи. Напомним, что Чернышевский также видел в литературе «распространительницу идей»; таким образом, в этом пункте Пыпин следует за Чернышевским. Но вторую часть формулы Чернышевского: литература — «служительница жизни», т. е. средство ее революционного переустройства, — Пыпин опускает вовсе, предпочитая рассматривать литературу только как отражение и выражение идей. Это неизбежно ограничивало возможности Пыпина как исследователя. И вовсе не условиями журнальной деятельности в умеренно-либеральном «Вестнике Европы», а именно неполным усвоением литературно-теоретических идей Чернышевского объясняется «поправение» Пыпина, наиболее последовательного адепта и яркого представителя буржуазного «культурно-исторического метода» в России.

Влияние Пыпина на изучение литературы XVIII в. было значительно. Особенно сказалось оно в исследовании масонства (В. И. Семевский, Я. Л. Барсков, А. В. Семека, Т. О. Соколовская, Г. В. Вернадский, Н. К. Пиксанов и др.), а также литературы старообрядчества (Я. Л. Барсков).

Из учеников А. Н. Пыпина, хотя и прекратившего университетское преподавание в 1861 г., но оставшегося на всю жизнь влиятельнейшим «профессором без кафедры», следует указать Я. Л. Барскова (1863—1937). Его работы посвящены главным образом позднему масонству («Переписка московских масонов XVIII века», 1915) и жизни и творчеству Радищева («Материалы к изучению „Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева», 1935). Барсков был учеником не только Пыпина, но и одного из крупнейших русских историков В. О. Ключевского. Поэтому его историко-литературные интересы постоянно были связаны с вопросами культурно-историческими. Длительная работа в центральных архивохранилищах сделала Барскова энциклопедически образованным знатоком истории и истории литературы XVIII в., но, к сожалению, писал и печатал он поразительно мало.[12]

Наиболее видным учеником Пыпина был Ал. Н. Веселовский (1845—1918). Не занимаясь специально историей русской

[11] Там же, стр. 40.

[12] О Барскове см.: Записки отдела рукописей Гос. Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 8. А. П. Чехов. М., 1941, стр. 6.

литературы XVIII в., он в своей неоднократно переиздававшейся книге «Западное влияние в новой русской литературе» (сперва в виде статей в «Вестнике Европы» — 1881—1882 гг., затем отдельным изданием — 1883 г.; изд. 5-е, 1916) обобщил огромный материал, накопившийся в науке до него, и внес много конкретных наблюдений, сделанных им лично. Впрочем, Веселовского можно не без основания упрекнуть в погоне за параллелями (например, при сопоставлении «Бригадира» Фонвизина и «Жан де Франса» Гольберга и др.). Еще более, чем Пыпин, проникнутый буржуазно-либеральными идеями, Веселовский начал писать свою работу по непосредственному предложению Пыпина.[13] При этом задание Веселовского было полемическое — откровенно антиславянофильское; этим, очевидно, объясняются бесконечные натяжки при «доказательствах» влияния Запада.

Большой знаток истории европейского и русского театра, Ал. Н. Веселовский оставил несколько работ и в этой области, а в последние годы жизни он принял участие в «Истории русского театра» (под ред. В. Каллаша и Н. Эфроса, 1914).[14]

По своим политическим и литературоведческим воззрениям мало отличался от Ал. Н. Веселовского его сын Ю. А. Веселовский (1872—1919), автор работ о «Княжнине и его трагедии», о «Народе и деревне в русской поэзии второй половины XVIII века», о «Борьбе с невежеством и дурным воспитанием в русской литературе (XVIII в.)»,[15] «К характеристике литературных отголосков крепостного права», «Белинский и французская трагедия»,[16] брошюр о Новикове (1918) и Княжнине (1918).[17]

Хотя по широте историко-культурных и историко-литературных интересов и фактических знаний С. А. Венгеров (1855—1920) уступает Пыпину, все же его роль в изучении литературы XVIII в. значительна. Литературное кредо Венгерова, сторонника либерально-народнического направления в русской критике, может быть сведено к двум основным положениям.

Первое выражено им следующим образом: «Наша литература никогда не замыкалась в сфере чисто художественных

---

13 Алексей Веселовский. (Воспоминания об А. Н. Пыпине). — Научные известия, 1922, сб. 2, стр. 316. Письмо Пыпина от 2 мая 1881 г. — Там же, стр. 319.

14 Об А. Н. Веселовском см.: П. Н. Сакулин Алексей Николаевич Веселовский. — Там же, стр. 313—315 и приложения, стр. 315—323.

15 В кн.: Ю. Веселовский. Литературные очерки. М., 1900 (изд. 2-е, 1910).

16 В кн.: Ю. Веселовский. Этюды по русской и иностранной литературе, т. 1, М., 1913.

17 О Ю. А Веселовском см.: В. Ф. Саводник. Юрий Алексеевич Веселовский (1872—1919). — Научные известия, 1922, сб. 2, стр. 345—347; Литературная энциклопедия, т. II, стб. 202; Краткая литературная энциклопедия, т. 1, стб. 944.

интересов и всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово».[18]

Второй тезис Венгерова сформулирован им так: «Я считаю совершенно ненаучным изучать литературу только в ее крупных представителях... Литература есть тоже явление вполне органическое, где нет случайности, где есть свои законы литературной биологии... Словом, нет одиноких вершин на равнине, всякая литературная эпоха есть сплошной горный кряж, одного происхождения и одного и того же свойства. А для изучения свойств данной горной породы столь же характерны мелкие отроги, как и венчающие кряж вершины. Бывает даже так, что мелкий писатель... сплошь да рядом ярче характеризует ту или другую эпоху, чем писатель крупный».[19]

Этими положениями определяется трактовка Венгеровым и русской литературы XVIII в. в целом.

Развивая первый тезис, Венгеров писал далее: «Все крупные деятели нашей литературы, в той или другой форме, отзывались на потребности времени и были художниками-проповедниками».[20] И хотя, по словам Венгерова, эта знаменательная черта особенно отчетливо проявилась со второй половины XIX в., но начатки ее можно проследить и ранее. С этой точки зрения для Венгерова представляют интерес Кантемир, Ломоносов, «воинствующий публицист и страстный агитатор усвоения европейской культуры», затем Державин, Фонвизин, сатирическая журналистика, Карамзин и Дмитриев — словом, все те писатели, которые были «проповедниками прогресса и борцами против застоя, обскурантизма, самодовольной успокоенности и чисто художественного любования».

Перечисляя только крупные имена (пропуск Радищева объясняется, вероятно, цензурными обстоятельствами, так как цитируемая статья была написана в 1897 г. в качестве вступительной лекции в Петербургском университете), Венгеров практически много занимался изучением деятельности второстепенных и даже третьестепенных писателей XVIII в. В его «Критико-библиографическом словаре» (тт. I—VI, 1886—1904), работа над которым, к сожалению, была приостановлена на первых буквах алфавита, приведено огромное количество сведений о писателях и вообще культурных деятелях XVIII в. Только в первом томе, охватывающем не полностью имена на букву А, Венгеровым было написано около 60 биобиблиографических статей и заметок о писателях и переводчиках XVIII в., иногда впервые удостоенных внимания литературной науки. С 1891 г. Венгеров работал также в качестве редактора отдела

---

[18] Основные черты истории новейшей русской литературы. Сочинения С. А. Венгерова, т. 1, изд. 2-е. Пг., 1919, стр. 18.

[19] С. А. Венгеров. Критико-библиографический словарь, т. 1, изд. 2-е. Пг., 1915, стр. XIV—XV.

[20] Сочинения С. А. Венгерова, т. 1, стр. 18.

истории русской литературы в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. Здесь он поместил ряд статей о литературных деятелях XVIII в. Далее следует указать «Источники словаря русских писателей и ученых» (тт. I—IV, 1900—1917) и, наконец, ценнейшие примечания Венгерова в редактировавшемся им Полном собрании сочинений Белинского, среди которых есть как статьи об отдельных авторах XVIII в., упоминаемых в текстах Белинского, так и специальные экскурсы, например о судьбе термина «псевдоклассицизм» (т. V, стр. 542—544), и т. д.

Однако наибольшую ценность из всех трудов Венгерова, относящихся к литературе XVIII в., представляет изданный под его редакцией огромный свод текстов поэтов XVIII в. «Русская поэзия» (1893—1901).

Л. К. Ильинский писал об этом издании: «Самая идея такого хрестоматийного собрания по поэзии XVIII в. была для своего времени блестящей. Она шла от той же предпосылки — об отсутствии объединяющего труда, о забвении „маленьких человеков", о необходимости иметь справочник и т. д. Навеяна она была именно полным отсутствием сведений о XVIII веке, где „личностный взгляд" особенно давал себя чувствовать. Навеяна она была и работой над Словарем, который вскрыл пред собирателем всю громадную массу имен и произведений, знание которых дает науке более широкую картину литературного развития, нежели при обзоре только героев. Большая доля работы легла на редактора. Его перу принадлежит большинство биографий, особенно мелких поэтов. Говорить о значении этой научно-обставленной хрестоматии не приходится. Любопытное время в нашем литературном развитии — XVIII в. — с маху отсекалось, как время неинтересное, его мало изучали во всем объеме, еще меньше знали, особенно в его полноте. С. А. сделал своего рода открытие. И открытая им область до сих пор еще питается главным образом его трудом... Книга осветила XVIII в., показала его литературное богатство и дала новый материал для исследователей. И до настоящего времени — это все же единственный, незамененный справочник при работах по XVIII веку».[21] Даже сейчас, более чем через сорок лет после появления в свет этой оценки, после выхода из печати новых советских изданий поэтов XVIII в. в серии «Библиотека поэта», «Русская поэзия» остается нужным пособием, а многое сказанное Л. К. Ильинским не вызывает возражений.

Вклад Венгерова в изучение русской литературы XVIII в. состоял главным образом в собирании и частичной публикации огромного текстового и биобиблиографического материала.

---

[21] Л. К. Ильинский. С. А. Венгеров. — Известия ОРЯС, 1923, т. XXVIII, стр. 102—103.

Плодотворной была отчасти и его идея о «горных кряжах литературы», т. е. о литературно-общественном окружении крупных писателей массой мелких, — предтеч, современников и продолжателей. К сожалению, Венгеров не видел в литературе борьбы социально-политических групп. Все же его труды способствовали дальнейшему углубленному изучению литературы XVIII в. До сих пор «Критико-библиографический словарь» Венгерова (в обоих изданиях) и «Источники словаря русских писателей и ученых» наряду с «Русской поэзией» являются ценными пособиями для работающих в области истории литературы XVIII в.[22]

Говоря об изучении русской литературы XVIII в. в библиографическом отношении, нельзя не упомянуть и А. В. Мезьер (1869—1935), автора очень полезного библиографического указателя «Русская словесность с XI по XIX столетия включительно, ч. II. Русская словесность XVIII и XIX ст. С предисловием Н. А. Рубакина» (СПб., 1902). Эта работа, по крайней мере в области библиографии XVIII в., остается до сих пор незаменимым пособием, несмотря на то, что прошло более полувека со дня ее выхода в свет.[23] Демократические убеждения А. В. Мезьер отчетливо сказались на библиографическом освещении литературы XVIII в.

В конце XIX в. под воздействием социально-экономических и культурных изменений в русской жизни стали обнаруживаться новые веяния и в академической литературной науке; в печати появляются высказывания о кризисе историко-литературной методологии. В большом количестве печатаются брошюры и статьи об истории литературы как науке, о современном состоянии истории литературы и т. д. Академические литературоведы, ранее изучавшие творчество писателей с традиционных позиций в биографическом и библиографическом отношениях, делают попытки исследовать судьбы литературных жанров и направлений, стиль писателей. Эти новые веяния не могли не отразиться на изучении литературы XVIII в. Более того, они обнаружились прежде всего именно в исследованиях, посвященных литературе XVIII в., в работах молодого поколения литературоведов, с одной стороны, усвоивших позитивистскую методологию своих академических учителей и не удовлетворившихся ею, с другой — прошедших биографическую и библиографическую школу в «майковско-саитовской академии».

---

[22] О Венгерове см.: А. В. Белинков. — Краткая литературная энциклопедия, т. I, стб 895—896 (основная библиография); А. Г. Калентьева. Влюбленный в литературу. Очерк жизни и деятельности С. А. Венгерова (1855—1920). М., 1964. — 26 сентября 1920 г. на заседании, устроенном Российской книжной палатой и Русским библиографическим обществом в память Венгерова, состоялся доклад А. Д. Александрова «С. А. Венгеров — исследователь русской литературы XVIII в.» (не напечатан).

[23] О Мезьер см.: М. В. Машкова. А. В. Мезьер (1869—1935). Очерк жизни и деятельности. Под ред. и со вступ. ст. П. Н. Беркова. М., 1962.

Из этого поколения литературоведов конца XIX в. особенно нужно отметить В. Н. Перетца и В. В. Сиповского.

В. Н. Перетц (1870—1935),[24] академик, профессор Киевского, а затем Петроградского университетов, был крупнейшим специалистом в области древнерусской и старинной украинской литератур.[25] Однако русская литература и театр XVIII в. занимали в круге его исследовательских интересов значительное место. Ученик замечательного филолога акад. А. И. Соболевского и в то же время участник «майковско-саитовской академии» В. Н. Перетц начал изучение литературы XVIII в. с исследований о Крылове как драматурге и о русском кукольном театре, в которых еще слабо заметен отход от привычных в ту эпоху историко-литературных приемов анализа. Но уже в работах, посвященных изучению песен и вирш конца XVII—XVIII вв., обнаружились новые принципы литературоведческого исследования. В наиболее показательной в этом плане работе «Очерк по истории поэтического стиля в России (Эпоха Петра Великого и начала XVIII ст.)», а также в последующих он занимается анализом стиля, понимаемого им как совокупность языковых признаков (фразеологических и семантических), характерных для определенных течений, жанров, авторов. Особенно много внимания уделял Перетц изучению истории русского тонического стихосложения, выдвинув теорию своеобразного «плагиата» Тредиаковского у пастора Глюка и магистра Пауса, писавших на русском языке тонические стихи в начале XVIII в. Вслед за Н. С. Тихонравовым Перетц изучает историю русского театра эпохи Петра I и Анны Иоанновны. Наконец, он неоднократно развивает, особенно в брошюре «Выставка массовой русской литературы XVIII века» (Л., 1934), мысль о том, что правильное представление о литературе XVIII в. возможно только при учете наряду с искусственной литературой «избранных» «литературы, громадной по количеству памятников, но по большей части сохранившейся в рукописном виде, не удостоившейся типографского станка — литературы массовой, читавшейся в демократических слоях общества и из них во многих случаях выходившей».[26]

Интерес В. Н. Перетца к литературе демократических слоев русского общества, к жанрам, в основном распространенным в демократической среде, достаточно отчетливо характеризует его общественную позицию. По свидетельству В. П. Адриановой-Перетц, «еще со студенческих лет он числился „неблаго-

---

[24] О Перетце см.: В. П. Адрианова-Перетц. Владимир Николаевич Перетц (1870—1935). — В кн.: В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. М.—Л., 1962, стр. 206—233.

[25] Список печатных трудов В. Н. Перетца. — Там же, стр. 234—253

[26] Выставка массовой русской литературы XVIII века. Путеводитель. Л., 1934, стр. 3. — По этому поводу см.: П. Н. Берков. К вопросу об изучении массовой литературы XVIII в. — Известия АН СССР, Отд. обществ наук, 1936, № 3, стр. 459—471.

надежным", а по окончании университета работал в оппозиционной печати и в запрещенном в 1898 г. Народном университете».[27] В дальнейшем В. Н. Перетц тоже принадлежал к лагерю прогрессивных ученых. В советское время, в особенности в начале 30-х годов, он стремился идти в ногу с литературоведами-марксистами.[28]

Вклад Перетца в разработку литературной историографии XVIII в., в частности вопросов «стиля», очень значителен. По намеченному им пути пошла довольно обширная группа его учеников.[29] Некоторые из них — В. П. Адрианова-Перетц,[30] Н. К. Гудзий,[31] С. А. Щеглова,[32] С. И. Маслов,[33] С. А. Бугославский,[34] В. И. Маслов[35] и др. — в разных формах содействовали изучению литературы XVIII в.

Другим крупным исследователем русской литературы XVIII в., действовавшим в конце XIX в., главным образом в начале XX в., был В. В. Сиповский.[36] В первые годы научной деятельности его внимание привлекали две темы: литературное творчество Н. М. Карамзина и история русского романа XVIII в. В отличие от многих сверстников, Сиповский питал интерес к проблемам методологическим и, в частности, считал себя учеником или по крайней мере проводником на русской почве

---

27 В. П. Адрианова-Перетц. Владимир Николаевич Перетц (1870—1935). — В кн: В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков, стр. 213.

28 См статьи, вошедшие в указанный выше сборник, и в особенности брошюру: В. Н. Перетц. Национальная политика в СССР и успехи украинского литературоведения в 1917—1932. Л., 1933.

29 Семинарий русской филологии академика В Н. Перетца. Участники семинария — своему руководителю. Л., 1929.

30 Семинарий .. В. Н. Перетца, стр. 34—35; Матеріяли до обрання нових академіків. Київ, 1929; Н. Ф. Дробленкова. Список печатных работ члена-корреспондента АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы, т. XIV, 1958, стр. 7—20.

31 Семинарий... В. Н. Перетца, стр 40; Литературная энциклопедия, т. III, стб. 77—78; Николай Каллиникович Гудзий. К 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности. М., 1957; Хронологический список трудов академика Академии наук УССР Николая Каллиниковича Гудзия. — Труды Отдела древнерусской литературы, т. XIII, 1957, стр. 326—341.

32 Семинарий... В. Н. Перетца, стр. 50—51.

33 Сергій Маслов, 1902—1927. Київ, 1927; Семинарий. . В. Н. Перетца, стр. 43—44.

34 Семинарий... В. Н. Перетца, стр. 38—39; Сергей Бугославский. К 25-летию музыкальной и литературной деятельности (творческий самоотчет). — «Советская музыка», 1935, № 5, стр. 89—90; С Василенко и С. Шамбинаго. С. А. Бугославский (К 30-летию музыкально-общественной и научной деятельности). — «Советская музыка», 1941, № 2, стр. 86.

35 Семинарий... В. Н. Перетца, стр. 42—43; кроме того, в кн.: В. И. Маслов. Оссианизм Карамзина. Прилуки, 1928, 3 стр. обложки.

36 В. Н. Перетц. Василий Васильевич Сиповский Некролог (1872—1930). — Известия АН СССР, Отд. обществ. наук, 1931, № 3, стр. 269—274; П. Н. Берков. В. В. Сиповский (1872—1930). — «Slavia», 1931, № 2, str. 420—421.

идей Брюнетьера об эволюции литературных жанров. Работы Сиповского посвящены истории «жанров» в русской литературе XVIII в. Эту точку зрения он развивал не только в работах 1890—1910 гг., но и в малоизвестном обобщающем курсе, изданном в Баку в 1922 г. в количестве 150 экз., под названием «Лекции по истории русской литературы. Выпуск второй. Эпос. Лирика. Драма (до Пушкина)».

Работы Сиповского по XVIII в. многочисленны и разнообразны по тематике. Его привлекала и старинная русская повесть XVII—XVIII вв., и итальянский театр в эпоху Анны Иоанновны, и эволюция русской комедии XVIII в., и русская политическая и философская мысль. Однако больше всего труда Сиповский посвятил разработке истории русских прозаических повествовательных жанров XVIII в., которые он суммарно называл «русским романом». Недостаточно точный как библиограф и вообще несколько небрежный в техническом отношении, Сиповский тем не менее разрабатывал такие почти не тронутые до него темы, как история романа XVIII в., комедия, лирика и т. д. Политическая умеренность и следование академической традиции мешали Сиповскому правильно понять ценный фактический материал, собранный им. Поэтому, несмотря на значительную эрудицию в вопросах истории литературы XVIII в., несмотря на постановку существенных для науки проблем и меткость ряда частных наблюдений, работы Сиповского сохраняют сейчас значение как сборник материала, а не как актуальные исследования. На эту особенность работ Сиповского указывали уже рецензенты его докторской диссертации «Очерки по истории русского романа XVIII ст.» (СПб., 1909—1910) — профессора И. А. Шляпкин и Д. К. Петров;[37] на методологическую непоследовательность этой работы обратил внимание акад. В. М. Истрин в рецензии, помещенной в том же журнале,[38] хотя он и подходил к оценке с позиций академической эклектики.

Большое значение имели учебники В. В. Сиповского по «Истории русской словесности». Вторая часть этого учебника, охватывающая время от Петра I до Пушкина, не утратила как справочник своего значения в известной мере и сейчас: «пересказы» содержания памятников, многочисленные и почти всегда удачные цитаты делают этот учебник не менее удобным, чем «Историческую хрестоматию» того же автора.

Сиповский не создал, однако, школы, подобно В. Н. Перетцу. Из учеников его следует указать Т. М. Глаголеву-Берхен (1885—1962), О. Н. Покотилову, Е. Грешищеву и других, работы которых объединены в сборнике статей под ред. В. В. Сиповского «1711—1911. М. В. Ломоносов» (СПб., 1911). Здесь освещены характерные для интересов самого Сиповского

[37] ЖМНП, 1911, июнь.
[38] ЖМНП, 1912, март.

темы: «Хвалебная ода в русской литературе XVIII в.», «О заимствованиях Ломоносова из Библии», «Предшественники Ломоносова в русской поэзии XVII-го и начала XVIII-го столетия» и др. Из перечисленных выше лиц только Т. М. Глаголева-Берхен продолжала в дальнейшем заниматься исследованием литературы XVIII в., главным образом изучением творчества А. Д. Кантемира.[39] Несколько ее статей по литературе XVIII в. были помещены в «Русском архиве» (1910) и в Литературной энциклопедии.

* *
*

Конец XIX — начало XX в. характеризовались возникновением эстетских, декадентских течений в области изобразительного и других искусств. «Мир искусства», работы А. Бенуа, Е. Лансере, К. Сомова и пр., выставки старинных портретов, интерес к дворянской усадебной жизни, коллекционерские издания библиофилов, появление журналов «Старые годы», «Столица и усадьба», «Русский библиофил» — все это повысило внимание к XVIII в. и его литературе. Началась своеобразная переоценка эпохи «псевдоклассицизма», увлечение бытом и искусством XVIII в. Однако, забывая реальную действительность эпохи Салтычихи, восстания Пугачева и кнутобойничанья Шешковского, сторонники новых эстетических течений создавали фантастическую картину русской жизни XVIII в. в сугубо идиллическом духе. Вот как писал о XVIII в. один из теоретиков этого эстетского движения, барон Н. Н. Врангель: «В этой волшебной атмосфере XVIII столетия все были опьянены красивым дурманом страсти. Правду скучной жизни никто не хотел знать. Все создавали себе химеры, хотя бы из тех крепостных Малашек, Дунек и Лиз, которых самодуры-помещики заставляли играть роли богинь на картинах и героинь на сценах помещичьих театров. Вся жизнь превратилась в театральную декорацию, и все разыгрывали роли актеров и актрис, не замечая, как иногда грубо сшиты их платья, как картонны декорации и как путает суфлер. Вся эта „нарочитая неправда" минувшего жизненного строя теперь уже не возродится никогда. В этом мире красивой лжи было совсем особое, пленительное издалека, острое и пряное смешение утонченной изысканности и грубой животной страсти. Так было до конца XVIII века. . .»[40]

Далее автор переходит к характеристике трактовки женского образа в живописи и поэзии XVIII в.: «На картинах этого

---

[39] Указатель авторов и их статей, напечатанных в Известиях Отделения русского языка и словесности за все время существования этого издания. Л., 1928, стр. 10.

[40] Бар. Н. Врангель. Женщина в русском искусстве XVIII века. — В кн.: Сборник любовной лирики XVIII века. Сост. Анной Веселовской. СПб., 1910, стр. XV.

времени женщина рисуется нам какой-то особенной, прекрасной. Кажется, будто всегда она была нарядной и холеной, что она мыслила и чувствовала изящно. И как теперь[41] в литературе и живописи намеренно подчеркивается в женщине все, что в ней есть распущенного и нездорового, так тогда, в XVIII столетии, говорилось о ней только „изящная правда" и „красивая ложь". Но под этими бутафорскими словами всегда чувствуется острый и опьяняющий аромат скрытой правды. Порочные мысли и чувства поэтов этой утонченной эпохи нарочито заключены в почти детские образы, выражаются условными, наивными словами. И тем более поражают и волнуют они, когда знаешь, что испорченные большие дети только притворяются маленькими, играя на своих театральных подмостках в куклы. Вот почему в этом кажущемся ребяческим и невинным лепете таится такой особенный, неотразимый и губительный злой яд. Этот яд и в картинах художников и в стихах поэтов, словом, во всем, что сохранило благоухание XVIII века: в табакерках и веерах, в кружеве музыки и в острословии прежней речи. Ведь не все ли равно, какие игрушки забавляют взрослых: игрушки звуков или слов или игрушки красок? И вот людям нынешнего века так весело и хорошо вспоминать об играх своего детского возраста: взрослым прикидываться маленькими, злым — добрыми, а испорченным — невинными детьми. Так забавно и радостно смешать старое и молодое, слишком умное со слишком глупым. И забыть про свой век, про свою скуку, и боль, и тоску под ласковые дорогие слова женских писем: „душенок мой, дурак, кот заморский, шалун, сударушка, mon beau faisan d'or, славной и сладкой"...»[42]

В связи с этим эстетическим переосмыслением «подражательной», «неоригинальной» литературы XVIII в. стоит появление ряда работ, посвященных лирике XVIII в.[43] Так, в 1909 г. вышло исследование А. А. Веселовского, сына акад. Ал-дра Н. Веселовского, «Любовная лирика XVIII века. К вопросу о взаимоотношении народной и художественной лирики XVIII в.» (СПб., 1909). Здесь нет той «красивости», которой пропитана цитированная выше статья барона Н. Врангеля. Книга А. А. Веселовского по существу представляет развитие идей В. Н. Перетца, положенных в основу «Очерков по истории поэтического стиля в России» (1905—1907). Однако и в ней проявляется то понимание XVIII в., какое мы находим у Врангеля. Характерен уже самый выбор темы Веселовским. Из всей огромной массы лирических произведений XVIII в. он

---

41 Т. е. в 1910 г.

42 Н. Врангель. Женщина в русском искусстве XVIII века, стр. XVII.— О бароне Н. В. Врангеле см. в кн.: Венок Врангелю. Пг., 1916; П. Нерадовский. — Большая советская энциклопедия, т. 13. М., 1929, стб. 396—397.

43 Обзору этих работ посвящена брошюра. А. В. Багрий. К вопросу о русской лирике XVIII века (Из «Русского филологического вестника», 1915, № 3). М, 1915.

останавливается только на любовной лирике, в трактовке которой он недалеко ушел от апологета «волшебной атмосферы XVIII столетия», когда «все были опьянены красивым дурманом страсти». Чтобы убедиться в справедливости этого, достаточно прочесть небольшую главку «Отношение к барам» (стр. 187—190).[44]

К исследованию А. А. Веселовского примыкает вышедший годом позднее «Сборник любовной лирики XVIII века» (с биобиблиографическими примечаниями Анны Веселовской, статьей барона Н. Врангеля «Женщина в русском искусстве XVIII века» и приложением текста и нот песен XVIII в.). Составительница сборника характеризует свой труд как «томное эхо» когда-то громкого века[45] и связывает появление этой книги со «стремлением современной поэзии к неоархаизму» и «интересом, проявляемым в обществе к XVIII столетию вообще».[46]

В 1914 г. одновременно поступают на книжный рынок книги И. Н. Розанова «Русская лирика. От поэзии безличной к исповеди сердца. Историко-литературные очерки» (М., 1914) и В. В. Сиповского «Русская лирика. Вып. 1. XVIII век. Из лекций, читанных на Петроградских высших женских курсах» (СПб., 1914). Хотя ни один из перечисленных авторов не солидаризируется с трактовкой XVIII в., данной Врангелем, тем не менее новое, более благосклонное отношение к пренебрегаемой до того времени поэзии эпохи «псевдоклассицизма» у них налицо. Книга И. Н. Розанова ценна не только тем, что внимание исследователя привлекли второстепенные и третьестепенные поэты, но и необыкновенно теплым, лирическим отношением автора к анализируемому материалу.

Переоценка лирики XVIII в. особенно стала заметна в 1916 г., во время державинского юбилея. Хотя незадолго до этого «повсеградно обэкраненный и повсесердно утвержденный» Игорь Северянин уверял, что

Для нас Державиным стал Пушкин,
Нам надо новых голосов, —

столетие со дня смерти Державина вызвало много любопытных откликов, свидетельствовавших о том, что частью литературоведов старый поэт уже не рассматривается по традиции как «представитель ложноклассического направления», а трактует-

44 Об А. А. Веселовском (1880) см.: А. и А. Веселовские. Вологжане-краеведы Вологда, 1923, стр. 180. — Кроме «Любовной лирики XVIII века», перу Веселовского принадлежат статьи: Капнист и Гораций (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII, нач. XIX в.). — Известия ОРЯС, 1910, т. XV, кн. 1, стр. 199—232, и отд. отт.; Кантемир — переводчик Горация (Классический мир в представлении русского писателя первой половины XVIII века). — Известия ОРЯС, 1914, т. XIX, кн. 1, стр. 242—254, и отд. отт.

45 Сборник любовной лирики XVIII века, стр. VIII.

46 Там же, стр. V.

ся как мощная, своеобразная поэтическая индивидуальность.[47] Так, например, статья В. Ходасевича кончалась вызовом Игорю Северянину: «Бессмертный и домовитый, Державин — один из величайших поэтов русских».[48]

Процесс переосмысления наследия XVIII в. сказался и на нарождавшемся в те годы «формализме». На юбилей Державина откликнулись некоторые из начинавших тогда свою деятельность литературоведов, имя которых впоследствии будет связано с «формальной» школой. Так, Б. М. Эйхенбаум в статье «Поэтика Державина», напечатанной в 1916 г., трактовал XVIII в. с позиций, близких интерпретации Врангеля, и характеризовал культурную атмосферу той эпохи в намеренно эстетизированном литературном стиле. «Ледяной XVIII век, — заканчивает статью Б. М. Эйхенбаум, — принял в его <Державина> поэтике вид лилейной мечты и утвердил власть света и любви над тьмою смерти и холодом рассудка».[49]

«Эстетское» отношение к быту, культуре и литературе XVIII в., реакционное по своей природе и устремлениям, заставило, однако, пересмотреть традиционные представления и «псевдоклассицизме», якобы лишенном «живого отношения к действительности». В. Ходасевич писал: «На школьной скамье... нас заставляют раз навсегда запомнить, что творения певца Фелицы — классический пример русского лжеклассицизма... Тут есть великая несправедливость. Назвали: лжеклассицизм — и точно придавили могильным камнем, из-под которого и не встанешь. Меж тем в поэзии Державина бьется и пенится родник творчества, глубоко волнующего, напряженного, т. е. как раз далеко не ложного. Поэзия Державина спаяна с жизнью прочнейшими узами».[50] Уроки державинского юбилея позднее использовало советское литературоведение.

В годы, предшествовавшие первой империалистической войне, изучение литературы XVIII в. обогатилось рядом ценных архивно-библиографических трудов: на научном поприще выступил и развил интенсивную исследовательскую деятельность В. П. Семенников (1885—1936).

Работая в качестве сотрудника Архива Академии наук под руководством Б. Л. Модзалевского, Семенников через много лет после Билярского, Куника, Пекарского и Сухомлинова обратился к неистощимым сокровищам академического архива в области истории русской литературы и просвещения XVIII в. В результате плодотворных разысканий Семенникова, интересы которого были сосредоточены преимущественно на эпохе, мало

[47] Юбилей Державина отметили многие журналы того времени.

[48] Вл. Ходасевич. Державин (К столетию со дня рождения) (sic!).— «Северные записки», 1916, № 10, стр. 90: перепечатано в кн.: Вл. Ходасевич. Статьи о русской поэзии. Берлин, 1922, стр. 57.

[49] Б. Эйхенбаум. Поэтика Державина. — «Аполлон», 1916, № 8, стр. 45; перепечатано в его кн.: Сквозь литературу. Л., 1924, стр. 36.

[50] Вл. Ходасевич. Державин (К столетию со дня рождения), стр 83.

обследованной его предшественниками, — последней трети XVIII в., биобиблиографические сведения об участниках литературного движения екатерининского времени во многом были уяснены и уточнены. Заслугой Семенникова было, в частности, то, что он, впервые после Н. Н. Булича и А. Н. Афанасьева, вновь занялся сатирическими журналами 1769—1774 гг., и, хотя не всегда его аргументация убедительна, все же он сильно пополнил наши знания об одном из важнейших моментов в истории русской литературы и журналистики XVIII в.

Библиографические интересы Семенникова побудили его предпринять грандиозную, к сожалению не реализованную, работу по созданию репертуара русской книги XVIII в. Некоторые обрывки картотеки Семенникова сохранились в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.[51] Этими же интересами была продиктована работа по учету книгоиздательской продукции Н. И. Новикова и т. д.

Однако наибольшей признательности заслуживает Семенников за свои труды о Радищеве, имеющие уже не архивно-библиографический характер. Ему принадлежит гипотеза о Радищеве как авторе знаменитого «Отрывка из путешествия в*** И*** Т***» в новиковском «Живописце». Им же был обнаружен и введен в научный обиход имеющий немаловажное значение новый текст «Путешествия» Радищева. До сих пор сохраняет значение и книга Семенникова «Радищев. Очерки и исследования» (М.—Пг., 1923), первая серьезная монография об этом великом писателе, целью которой было на основании фактического материала охарактеризовать его мировоззрение, отношение к французской революции, масонству, «либерализму» начала XIX в. и т. д. Наконец, едва ли не важнейшим вкладом Семенникова в изучение литературы XVIII в. явилась его последняя опубликованная при жизни статья «Литературно-общественный круг Радищева», разрушившая легенду об «одиночестве», об идейной и общественно-политической изоляции автора «Путешествия».

Начав научно-исследовательскую деятельность как продолжатель традиций «майковско-саитовской академии», ученик Б. Л. Модзалевского, Семенников в дальнейшем усвоил историко-литературную методологию, довольно близкую к той, которая отразилась в поздних работах Г. В. Плеханова. Неизлечимые болезни (эпилепсия и др.) и ранняя смерть Семенникова лишили советское литературоведение одного из несомненно выдающихся работников.[52]

---

51 Архивные материалы, оставшиеся после В. П. Семенникова, хранятся в Ленинградском государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства (см.: Операция «Парус». — «Вопросы литературы», 1964, № 6, стр. 145). Они до сих пор не обследованы.

52 О Семенникове см.: А. Г. Фомин. Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы. Л., 1934, стр. 244. — Список печатных работ Семенникова (до 1915 г.) см. в бро-

* *
*

Если начинать историю изучения русской литературы XVIII в. с первых опытов Сумарокова (1748), с набросков обзорных статей Ломоносова (1752) и с трактата Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755), то к 1917 г. она насчитывала более полутораста лет.

С какими же итогами пришла русская литературная наука в изучении литературы XVIII в. к советскому периоду?

В наследии, оставленном нам в этой области, явственно различаются две линии: дворянско-буржуазная и революционно-демократическая, консервативная и передовая. Дворянско-буржуазные литературоведы XIX в. независимо от их политических и методологических позиций либо вовсе отрицали связь литературы XVIII в. с общественной жизнью эпохи, либо представляли всех писателей без исключения покорными исполнителями либеральных предначертаний Екатерины II. В противовес им революционные демократы показали в своих работах, что литературу XVIII в. можно и до́лжно изучать в неразрывной связи с жизнью русского народа и что на этом материале следует решать задачи, выдвигаемые общественно-политической ситуацией середины XIX в.; они утверждали, что изучение литературы XVIII в. — не уход от современности, а один из способов постановки и решения злободневных вопросов.

Обе группы исследователей литературы XVIII в. привлекали для своих целей обширный фактический материал, но этот материал был и неравноценен, и небезразличен в идейном отношении: методологическая и политическая позиция исследователей определяла не только трактовку, но и отбор материала по литературе XVIII в.; отбрасывалось все то, что не отвечало взглядам публикаторов. Поэтому перед советскими исследователями встали сложные задачи — критическое преодоление якобы «аполитичных» традиций буржуазно-дворянского литературоведения и критическое усвоение взглядов революционных демократов; строгий и точный анализ и марксистско-ленинское переосмысление накопленного в науке материала; планомерное, продуманное собирание новых фактических данных, сознательно или бессознательно неиспользованных в дореволюционном литературоведении, иногда из-за недостаточной методологической и методической вооруженности исследователей, иногда из-за того, что материалы эти были погребены в архивах или поступили в них уже после 1917 г. Для этого советские литературоведы прежде всего должны были усвоить материалистическую диалектику, марксистско-ленинскую литературоведческую методологию.

шюре. Русская библиография XVIII века. План работы, предпринятой В П Семенниковым. Пг., 1915, стр. 20—21. — Более поздние упомянуты в предисловии к книге Семенникова «Радищев» (1923).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЛЕХАНОВ. — ЛЕНИН
(В преддверии советского периода)

Первые десятилетия истории советского литературоведения представляют сложный и еще недостаточно освещенный процесс усвоения марксистско-ленинской методологии.

В «академической» литературной науке досоветского периода сторонников марксизма было немного, да и те, кто считали себя марксистами (приват-доценты Московского и Петербургского университетов В. М. Фриче, П. С. Коган, начинавший свою деятельность В. Ф. Переверзев и др.), в действительности не были подлинными последователями Маркса — Ленина. Однако именно эти литературоведы в первое пореволюционное десятилетие заняли ведущие места в советской литературной науке, стали выдвигать свои, якобы подлинно марксистские концепции и обвинять друг друга и иных ученых в отступлении от марксизма. Результатом этого были длительные устные и журнальные дискуссии по вопросам методологии истории литературы, заполнившие почти все 20-е годы. Одновременно шла борьба и с представителями буржуазных литературоведческих направлений.

Решения, принятые партией по вопросам литературной политики в 20-е годы, оказали определяющее влияние на развитие советской литературной науки, на освобождение ее от различных ошибочных псевдомарксистских методологических шатаний. Положительное значение имела критическая и преподавательская деятельность А. В. Луначарского. Несмотря на некоторые философские заблуждения, допущенные в дооктябрьский период, в советское время он сыграл значительную роль в борьбе за ленинизм в литературной науке.[1] Большой вклад в этом отношении внес и М. Горький, много выступавший по вопросам литературы.

В области изучения истории русской литературы XVIII в. молодым советским литературоведам, стремившимся по-маркси-

---

[1] См. редакционную статью «Об отношении к литературному наследию А. В. Луначарского» в журнале «Коммунист», 1962, № 10, стр. 32—40.

стски понять изучаемый материал, было особенно трудно. Научное наследие, с которым им пришлось иметь дело, состояло почти исключительно из работ дворянско-буржуазных и мелкобуржуазных дореволюционных ученых. Взгляды Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова на историю литературы XVIII в. не изучались в должной мере. Естественно, что литературоведы 20-х годов, стремясь овладеть марксизмом, прежде всего обратились к наследию Плеханова, видного марксиста, специально занимавшегося изучением литературы XVIII в. Плехановская концепция русского исторического процесса и плехановское понимание истории русской литературы XVIII в. представлялись тогда единственно правильным научным путем. Поэтому без подробного рассмотрения роли Плеханова в истории изучения русской литературы XVIII в. наш историографический обзор будет неполон, неясен.

Г. В. Плеханов (1856—1918),[2] один из первых последователей марксизма в России, выдающийся пропагандист марксистской теории, в многочисленных работах по философии, эстетике и истории общественной мысли, в литературно-критических статьях неоднократно останавливался на общетеоретических вопросах истории искусства и литературы. Многие его суждения имеют отношение к изучению русской литературы XVIII в. Есть у него труд, в значительной части специально посвященный данному периоду,— «История русской общественной мысли», построенная почти целиком на материалах художественной литературы и литературной критики. В этом обширном незаконченном труде Плеханов впервые после Белинского, Герцена и Добролюбова рассматривал литературу XVIII в. в ее органической связи с историей русского общества и общественной борьбы. Больше того, это была первая попытка рассмотреть историю русской общественной мысли с позиций марксизма.

Однако правильно понять и объективно оценить значение этой работы Плеханова можно, только восприняв ее на фоне всей его научно-общественной деятельности.

Начав революционный путь в середине 70-х годов XIX в. как народник, Плеханов после переезда в 1880 г. за границу стал усиленно изучать произведения Маркса и Энгельса, порвал с народничеством и возглавил первую в русском революционном движении марксистскую группу «Освобождение труда». В 1914 г. В. И. Ленин писал о Плеханове: «Его личные заслуги громадны в прошлом. За 20 лет, 1883—1903, он дал массу превосходных сочинений, особенно против оппортунистов, махистов, народни-

---

[2] Наиболее полная и доведенная почти до наших дней библиография изданий Плеханова и литературы о нем находится в кн: История русской литературы конца XIX — начала XX веков. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., 1963, стр. 339—347; ср. также: Б. А. Чагин. Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксистской философии. М.—Л., 1963.

ков».[3] Важнейшими работами Плеханова, имеющими непосредственное значение для литературной историографии, в частности — XVIII в., являются «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «За 20 лет», «Основные вопросы марксизма». Перечисляя эти и некоторые другие произведения Плеханова, Ленин в библиографии к статье «Карл Маркс» (1914) писал: «По вопросу о философии марксизма и об историческом материализме лучшее изложение у Г. В. Плеханова...»[4] Уже в советское время, давая общую характеристику вклада Плеханова в развитие марксистской философии, Ленин отмечал: «... *нельзя* стать сознательным, *настоящим* коммунистом без того, чтобы изучать — именно *изучать* — все, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма».[5]

Утверждая, что Плеханов «самый знающий по философии марксизма социалист»,[6] Ленин в то же время указывал коренной недостаток его революционной деятельности — разрыв между теорией и практикой, закономерным следствием чего явился политический оппортунизм. «Теоретические работы последнего <Плеханова> — главным образом критика народников и оппортунистов — остаются прочным приобретением с.-д. всей России, и никакая „фракционность" не ослепит человека, обладающего хоть какой-нибудь „физической силой ума", до забвения или отрицания важности этих приобретений. Но как политический вождь русских с.-д. в буржуазной российской революции, как тактик Плеханов оказался ниже всякой критики. Он проявил в этой области такой оппортунизм, который повредил русским с.-д. рабочим во сто раз больше, чем оппортунизм Бернштейна — немецким».[7]

Приведенные ленинские оценки дают возможность правильно понять и использовать положительные стороны философского наследия Плеханова; в то же время, объясняя причины ошибочности некоторых его воззрений, они предостерегают от некритического отношения к его наследию в целом.

Основные заслуги Плеханова как теоретика заключаются прежде всего в строго научном обосновании материалистического, «монистического» взгляда на историю. Критика теорий многофакторности исторического процесса, борьба с идеализмом и вульгарным материализмом, с буржуазной эстетикой «искусства для искусства», установление происхождения и социальной функции искусства, борьба за содержательное, идейное искусство, за его общественную роль составляют несомненный вклад Плеханова в развитие марксистской философии.

---

[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 222.
[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 88.
[5] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 290.
[6] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 119.
[7] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 14, стр. 226—227.

Большое значение для советского литературоведения, помимо всего перечисленного, имела борьба Плеханова против буржуазных искажений истории русской критики и общественной мысли, за правильное понимание деятельности Белинского, Герцена, Чернышевского, за революционные традиции русской литературы, критики, общественной мысли. Благодаря Плеханову советское литературоведение обратилось к литературно-критическому наследию революционных демократов.

Но у Плеханова были идеи, не вполне точно сформулированные и просто ошибочные. Не до конца разработанное положение о так называемом «социологическом эквиваленте», заключающемся в установлении социальной природы, классового происхождения анализируемого художественного явления, в особенности обход вопроса о соотношении классового и общенационального в искусстве и литературе, привели к неверному пониманию идеи автора и утверждению вульгарного социологизма, принесшего вред советскому искусствоведению и литературоведению. Оппортунистические ошибки Плеханова, как известно, в последние годы его жизни усилились и отразились на литературных произведениях этого периода, в особенности на «Истории русской общественной мысли». Большая роль, которую сыграл этот труд Плеханова в советской литературной историографии XVIII в., делает совершенно необходимым уяснение его положительных и отрицательных сторон.

В 1906 г. вышла из печати «История русской общественной мысли» эсера Р. В. Иванова-Разумника, являющаяся апологией «внеклассовой» и «внесословной» интеллигенции. В годы после поражения революции 1905 г. книга Иванова-Разумника имела в определенных читательских кругах успех и выдержала несколько изданий; последнее из них, пятое, в нескольких выпусках вышло уже в 1917—1920 гг. На появление второго издания этой книги (1908) находившийся в эмиграции Плеханов откликнулся большой статьей «Идеология мещанина нашего времени», помещенной в меньшевистском журнале «Современный мир».[8] В этой статье Плеханов, помимо критики Иванова-Разумника, высказал также несколько соображений о том, как, по его мнению, должна строиться настоящая история русской общественной мысли.

В несомненной связи с этим эпизодом в мае 1909 г. меньшевистское легальное издательство «Мир» обратилось к Плеханову с предложением написать книгу на эту тему. Плеханов ответил согласием и приступил к работе.[9] Она очень затянулась, и третий том (без четырех последних глав) был выпущен издательством лишь в 1916 г. В 1919 г. посмертно были изданы главы X—

[8] «Современный мир», 1908, № 6, стр 112—139; № 7, стр. 72—129; перепечатана в кн.: Г. В. Плеханов. Соч, т. XIV, стр. 259—344

[9] Письма Плеханова и его жены в издательство «Мир» см. в сб.. «Воинствующий материалист», 1924, кн. 1, стр 165—202.

XII этого тома, а последняя, XIII, с «версией» и «заметками» к главе о Радищеве была напечатана в сборнике «Группа „Освобождение труда"» (вып. 1, 1924, стр. 50—82).[10]

Расхождения Плеханова с революционным марксизмом начинаются буквально с первых же строк «Предисловия», где он излагает свое понимание «влияния географической среды на историю русского народа».

Марксистско-ленинская критика неоднократно отмечала, что Плеханов, в теоретическом плане правильно трактуя значение географического фактора в истории (XX, 28), не всегда верно понимал его конкретную роль в истории России, преувеличивая его влияние на судьбы страны. Согласно Плеханову, трудные природные условия жизни русского народа и соседство кочевых племен в конечном счете определили своеобразие развития русской государственности: усиление княжеской, а затем возникновение царской власти, подчинившей себе все классы и прежде всего поработившей класс земледельческий, привели к созданию надклассового «государства». Однако, обосновывая теорию «русского надклассового государства», Плеханов часто вступает в противоречие с самим собой.

Характеризуя структуру России XVII—XVIII вв., Плеханов писал: «Общественно-политический быт Русского государства представлял собою как бы двухъярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству». «Но,— продолжает Плеханов,— класс, в руках которого сосредоточивается выполнение важнейших общественных функций, не преминет воспользоваться этим, во-первых, для того, чтобы увеличить свою власть над низшим классом, а во-вторых, для того, чтобы облегчить себе исполнение своих общественных обязанностей. Так и поступило русское дворянство. Оно постепенно увеличило свою власть над крестьянством и постепенно раскрепостило самого себя. Ему тем легче было сделать и то и другое, что военная сила государства была в его руках» (XX, 108—109).

Плеханов не замечает ошибки: если военная сила государства была в руках дворянства, если дворянство было классом, в руках которого сосредоточены самые ответственные общественные функции, то, значит, «государство» и было формой дворянской диктатуры, способом навязывания всему остальному населению страны своего господства.

В другом месте Плеханов так характеризует российскую государственность второй половины XVIII в.: «Соотношение обще-

---

10 «История русской общественной мысли» перепечатана в издании: Г. В. Плеханов. Соч., т XX—XXII. — Дальнейшие ссылки даются по этому изданию в тексте.

ственных сил в шляхетско-самодержавной России было таково, что „тиранство" помещика над крестьянином шло рядом с „тиранством" верховной власти по отношению к помещику. Процесс раскрепощения дворянства не мог привести у нас к ограничению власти государя господствующим сословием» (XXII, 41).

Употребляя выражения «шляхетско-самодержавная Россия», «господствующее сословие», Плеханов вкладывал в них содержание, не совпадающее с нашим современным пониманием. Абсолютизируя понятия «верховная власть», «государство», «государь», противопоставляя «господствующее сословие» (класс) «государству», Плеханов не видел или не хотел видеть того, что «двухъярусное здание» российской государственности, «тиранство верховной власти по отношению к помещику» — это только формы, в которых проявлялась дворянская диктатура, только «практика» и «тактика» дворянства в классовой борьбе XVIII в

Помимо указанной, Плеханов допустил еще одну, и очень большую, ошибку: он недооценил народные демократические движения, которые, по его мнению, имели реакционный характер. «Единственное русское сословие, смотревшее не назад, а вперед» (XXII, 130), как он утверждал, было в XVIII в. дворянство.

Анализируя внутриполитические отношения в старой России, Плеханов пришел к выводу: «В подобных условиях правительство отсталой страны неизбежно играет более или менее прогрессивную роль, и эта его роль обеспечивает ему на известное время сочувствие передовых умов его страны... Разлад между передовыми умами отсталой страны и ее правительством начинается лишь после того,— и иногда довольно долго после того,— как последнее окончательно отказывается от прогрессивной роли» (XX, 257—258).

Говоря о поддержке правительства «передовыми умами» или об отказе от поддержки, Плеханов не принимал в расчет классовой борьбы в тот или иной момент истории, не учитывал, во-первых, того, что понятие «передовые умы» очень неопределенно и может означать, с одной стороны, наиболее политически дальновидных людей любого класса, не только дворянства, с другой — общественных деятелей, сознательно или бессознательно отражающих настроения эксплуатируемых масс, во-вторых, того, что поддержка правительства и отказ от нее — это формы классовой борьбы, а не просто факты индивидуальной биографии той или иной прогрессивно настроенной личности, наконец, в-третьих, что эта поддержка и отказ могут быть также продиктованы логикой борьбы разных группировок внутри господствующего класса.

Историю русской общественной мысли Плеханов очень сужает. Он пишет: «Со времени петровской реформы на Руси не переводятся искренние приверженцы западного просвещения. В среде этих людей и развивалась русская общественная мысль» (XXI, 40). В то же время он останавливается и на деятельности таких

представителей русской общественной мысли, как Посошков, Щербатов, заподозривать которых в западнических симпатиях ни сам Плеханов, ни кто другой не стал бы. Таким образом, история русской общественной мысли даже в изображении Плеханова оказалась шире той формулы, которую он выдвинул: она развивалась не только в среде «искренних приверженцев западного просвещения», но и в среде консерваторов, развивалась в борьбе между теми и другими, а также в кругах крепостного крестьянства.

Сводя историю русской общественной мысли в XVIII в. к деятельности русской, в основном дворянской, интеллигенции, Плеханов фактически подменяет ее историей разочарования «просветителей» — «ученой дружины», как он называет их вслед за Феофаном Прокоповичем, в абсолютной монархии. Вот как Плеханов формулирует этот важный тезис. Напомнив, что Юрий Крижанич еще в XVII в. видел в самодержавии государственный «Моисеев жезл», он продолжает: «Еще более верили в чудесную силу Моисеева жезла птенцы гнезда Петрова. „Ученая дружина" служила самодержавию не токмо за страх, но и за совесть. Лица, державшие в своих руках верховную власть после Петра Первого, своими действиями должны были, казалось бы, значительно умерить веру передовых русских людей в прогрессивное значение самодержавия. Но передовые русские люди склонны были рассматривать весьма непохвальные подвиги преемников Петра не как общее правило, а как случайные исключения. Они ожидали, что вот-вот, не сегодня-завтра, исключения отойдут в область тяжелых воспоминаний, и общее правило обнаружит, наконец, свою плодотворную силу. Когда на престол вступила Екатерина II, они было подумали, что Моисеев жезл начнет теперь работать, как не работал даже и при Петре Первом. А когда они увидели, что у жезла два конца и что конец, направленный против слишком усердных просветителей, работает гораздо увереннее и энергичнее, нежели конец, обращенный против слишком тупых защитников старины, то в их душах возникли сомнения, остававшиеся чуждыми передовым людям петровской эпохи: „ученая дружина" второй половины XVIII столетия,— я хочу сказать: наиболее передовая часть тогдашней интеллигенции,— начала мало-помалу утрачивать веру в самодержавие» (XXIII, 73).

Возражая в свое время Иванову-Разумнику, Плеханов утверждал, что интеллигенция — не надклассовая, самостоятельная группа общества, а мыслящая «идеологическая» часть каждого класса. Из приведенных выше цитат следует, что, по мнению Плеханова, интеллигенция может приходить в конфликт со своим классом. «В политическом отношении дворянство,— пишет он в другом месте, — во второй половине XVIII века сделалось более консервативным, нежели было оно во время вступления на престол Анны Ивановны» (XXII, 201). Таким образом, дворянство с начала 30-х годов XVIII в. (со времени Анны Ивановны) де-

лается все более консервативным, а его идеологи все более прогрессивными, выступая в лице Радищева даже как «последователи французских революционеров» (XXII, 355).

Чем вызывается такой разрыв между классом и его идеологами? Плеханов утверждает, что, хотя «экономический строй тогдашней России делал невозможным возникновение в ней сколько-нибудь серьезного движения в духе освободительных идей XVIII столетия», однако «передовые французские учения, попадая в Россию, все-таки шевелили русские умы» (XXII, 232). И не только эпизодически «шевелили», но, как настаивает Плеханов в другом месте, играли значительно более серьезную роль: «В XVIII столетии те русские люди, которым пришлось (не по недоразумению) пострадать за свои передовые политические взгляды, воспитались на освободительной французской философии... Эта идеология третьего сословия оказалась весьма пригодным духовным орудием даже в процессе раскрепощения нашего служилого класса... Ей обязана русская литература века Екатерины решительно всем, что проникло в нее человечного, возвышенного, благородного...» (XXII, 54).

Таким образом, причиной расхождения между «ученой дружиной» второй половины XVIII в. и классом, идеологом которого она являлась, было внешнее влияние, французская просветительская философия, пришедшая к нам в виде моды, утверждает Плеханов вслед за буржуазно-дворянскими историками литературы. «Те русские люди,— пишет он,— которые усвоили себе стремление передовых просветителей XVIII в., видели противоречие, существовавшее между теорией Екатерины и ее практикой. и раздражались им. Но таких было крайне мало. Огромное большинство не замечало противоречия, а если и замечало, то не видело нужды в его устранении. Оно было довольно» (XXII, 36).

Излагая движение общественной мысли в России, Плеханов еще дальше отходит от материалистического объяснения явлений социального порядка: преувеличивая роль внешних влияний, он совершенно игнорирует реальную социальную обстановку, различные формы классовой борьбы. Положение крепостного крестьянства, его неоднократные восстания, почти не прекращавшиеся поджоги помещичьих усадеб и убийства их владельцев, судебные процессы против крепостных и жестоких помещиков он освещает мельком. Достаточно указать, что «Пугачевскому бунту» Плеханов уделяет небольшую главку и больше к этой теме не возвращается. Связи между положением крепостных, пугачевским движением и другими проявлениями основных классовых противоречий дворянско-помещичьей монархии XVIII в. и формированием идеологии писателей XVIII в. Плеханов не видит. Его больше интересуют процессы непосредственно идеологические. Не случайно вслед за главой «Взаимная борьба общественных сил в эпоху Екатерины II» (XXI, 245—296), в которой говорится о Пугачеве, Плеханов помещает почти вдвое бо́льшую по объему

главу «Западная общественная мысль в XVIII в. и ее влияние на Россию» (XXII, 5—93).

В результате Плеханов, автор блестящего труда «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», в котором показана несостоятельность тезиса французских просветителей, будто «мнение (идея) управляет миром», в «Истории русской общественной мысли» приходит к тому же выводу: идеи французских философов, а не реальные условия классовой борьбы в России были двигателями русской общественной мысли.

Несмотря на ошибочность основной концепции Плеханова, отдельные частные его наблюдения, замечания, выводы, характеристики справедливы и благодаря этому вошли в дальнейшем в литературную историографию XVIII в. Так, например, нам представляется правильной плехановская трактовка либерализма Екатерины II как лжелиберализма, а также оценка роли Паниных и их группы в общественной борьбе екатерининской поры. Достаточно аргументирована глава о реакционности масонства. Плеханову принадлежит интересная трактовка журнальной деятельности Ф. Кречетова. Он первым по существу стал рассматривать Сумарокова не как «дитя чужих уроков» (Пушкин), а как идеолога просвещенного «шляхетства».

Плеханов подверг пересмотру концепцию Белинского об «идеальном» («одическом») и «критическом» («сатирическом») направлениях в русской литературе и реабилитировал первое, разъяснив его социально-воспитательную роль. Приведя отрывок из сумароковской «Оды на день тезоименитства цесаревича Павла Петровича 29 июня 1779 года», Плеханов писал: «Не знаю, какое действие оказывали подобные наставления на тех весьма высокопоставленных читателей, для которых они предназначались. Полагаю, ровнехонько никакого. Но что они должны были способствовать прояснению общественно-политических понятий *обыкновенных* смертных (хотя бы и шляхетского происхождения), это очевидно. Сколько-нибудь просвещенных читателей того времени напыщенно-льстивый язык одописцев... вряд ли вводил в заблуждение, они понимали, что это — пустая формальность. Во второй половине XVIII века сатирическая литература стала едко насмехаться над льстивым языком одописцев. Иное дело — благие советы, преподносившиеся властителям теми же одописцами. В этих советах выражались политические взгляды передовых русских людей того времени. И над ними, наверно, никто не смеялся. Напротив, давая их, одописцы выступали, подобно сатирикам, просветителями читающей публики» (XXI, 234).

В процессе формирования советского литературоведения теоретические воззрения Плеханова сыграли значительную роль — и положительную, и отрицательную. Во время ожесточенных дискуссий по проблемам марксистской литературной науки с середины 20-х годов стали появляться книги и статьи о Плеха-

нове как методологе литературы и литературном критике. Вскоре лишь обращение к наследию Плеханова частью литературоведов стало рассматриваться как проявление подлинного марксизма. В статье И. В. Егорова «За метод Плеханова»[11] и в книге С. Щукина «Две критики. Плеханов — Переверзев» (М., 1930) прозвучал призыв «Назад к Плеханову!». Получил довольно широкое распространение лозунг «За плехановскую ортодоксию!».

Пропагандисты этого лозунга понимали под «плехановской ортодоксией» строгое следование теоретическим принципам Плеханова во всем их объеме, независимо от времени их возникновения, без учета суждений Ленина о нем и его ошибках.

В связи с этим в марксистской литературоведческой прессе стали появляться статьи, критиковавшие лозунг «За плехановскую ортодоксию!» и все настойчивее призывавшие к изучению Ленина и его взглядов на литературный процесс.[12] Эти дискуссии завершились появлением в 1932 г. статьи А. В. Луначарского «Ленин и литературоведение» в т. 6 «Литературной энциклопедии» (стб. 194—262), вышедшей в 1934 г. отдельным расширенным изданием. В этой работе впервые взгляды Ленина на литературу и культуру были приведены в стройную систему, показана их глубокая, органическая связь с его философскими воззрениями и революционной деятельностью. Луначарский раскрыл значение теории отражения в общей системе взглядов Ленина на теорию познания, на искусство и литературу и дал первую серьезную интерпретацию важнейшей для литературоведения статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905).

Обращение к произведениям Ленина, учет его конкретных суждений об истории России XVIII в. и о характере русской государственности в этот период, его замечаний о Петре I, Радищеве и т. д. и, главное, усвоение ленинского метода при анализе явлений русской культуры и литературы XVIII в. позволило советскому литературоведению освободиться от метафизического, вульгарно-социологического подхода к фактам исторического прошлого, преодолеть ошибочные трактовки литературного материала.

Хотя ленинская методология достаточно прочно усвоена советским литературоведением, изучающим историю литературы XVIII в., до сих пор, однако, нет ни одной специальной работы, в которой рассматривалось бы значение идей Ленина в развитии этой области нашей литературной науки. На высказываниях

---

11 «Записки Научного общества марксистов», 1928, № 11, стр 127—141

12 И. И. Анисимов. За ленинскую критику взглядов Плеханова (в связи с книгой С. Щукина «Две критики. Плеханов — Переверзев»). — «На литературном посту», 1931, № 34, стр. 27—36; Ф. Ф. Канаев. За ленинскую критику взглядов Плеханова на творчество Горького. — «Вестник Коммунистической академии», 1931, № 7, стр. 34—36; «РАПП», 1931, № 3, стр. 24—41; Н. Глаголев. За ленинскую критику взглядов Плеханова на Белинского.— «Марксистско-ленинское искусствознание», 1932, № 2, стр. 3—33.

Ленина по истории России XVIII в. впервые остановился Г. А. Гуковский в статье «Проблемы изучения русской литературы XVIII века».[13] В ленинской характеристике русского государственного строя за последние три века Гуковский выделил два момента: во-первых, что этот строй «изменял свой классовый характер», во-вторых, что изменение происходило «в одном определенном направлении... которое можно назвать направлением к буржуазной монархии».[14] Говоря о политическом строе России XVIII в., Ленин в одной статье определил его как «чиновничьи-дворянскую монархию»,[15] в другой — как «самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма"...».[16]

Останавливается Гуковский и на суждениях Ленина, Маркса, Энгельса о Петре I. Отметив значение этой оценки для понимания «драматизма борьбы за образ Петра между Ломоносовым, Фонвизиным, Радищевым, с одной стороны, и, напр., Екатериной II — с другой», Гуковский приходит к выводу: «Эти указания <классиков марксизма-ленинизма>, дающие совершенно единое толкование роли Петра и его деятельности, должны обосновать наше понимание как литературы времени Петра, так и литературы послепетровской, так и самой темы Петра в русской литературе». «Так же обстоит дело,— заключает Гуковский,— и с другими проблемами; обращаясь к классикам марксизма, мы черпаем у источника понимание глубоких основ историко-литературного процесса XVIII века».[17]

При несомненной справедливости приведенных соображений Гуковского вопрос о значении идей Ленина для изучения истории русской литературы XVIII в. гораздо глубже и шире.[18] Он настолько важен и обширен, что должен быть предметом самостоятельного исследования. В настоящей работе ограничимся рассмотрением лишь основных проблем, специально относящихся к узловым моментам изучения русской литературы XVIII в., предполагая в качестве предпосылки знакомство читателей с главными трудами об общем вкладе Ленина в развитие советского литературоведения.[19]

---

13 XVIII век Сб 2 М.—Л., 1940, стр 8—9

14 В. И. Ленин. Полн собр. соч, т. 20, стр 121

15 Там же

16 В И Ленин Полн. собр соч, т. 17, стр. 346.

17 XVIII век Сб. 2, стр. 9.

18 Этой же проблеме посвящена статья д-ра Ульфа Лемана (Берлин) «Einige Hinweise Lenins zum Studium der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts». — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx-Universität Leipzig», 10 Jhg, 1961, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, H. 2, S. 171—173

19 О вкладе Ленина в советское литературоведение, кроме упомянутой выше работы Луначарского «Ленин и литературоведение» (1932—1934), см также материалы, перечисленные в книгах под редакцией К. Д. Муратовой История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. М.—Л., 1962, стр. 12—13; История русской литературы конца XIX — начала XX века Библиографический указатель. М.—Л., 1963, стр. 9—11.

Для правильного понимания сущности и своеобразия литературного процесса XVIII в. необходимо отдать себе ясный отчет в том, что представляло собой самодержавное государство XVIII в. Плеханов считал, что государство, государственная власть в России, в том числе и в XVIII в., были явлением надклассовым. Ленин, как Маркс и Энгельс, видел в государстве явление историческое, не «вечное», а возникающее на определенном этапе развития общества. «По этому вопросу,— говорил он в лекции „О государстве",—прежде всего надо обратить внимание на то, что государство не всегда существовало. Было время, когда государства не было». «... Не было государства, не было особого аппарата для систематического применения насилия и подчинения людей насилию. Такой аппарат и называется государством».[20] «Оно <государство>,— указывает Ленин,— появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы, когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые».[21]

Еще раньше, в книге «Государство и революция» (1917), Ленин писал: «Государство есть продукт и проявление *непримиримости* классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно *не могут* быть примирены».[22] Таким образом, «государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим».[23] В другом месте Ленин уточняет определение: «Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы.[24]

В этих определениях Ленин настойчиво проводит идею о классовом, а не «надклассовом» характере государства в обществе, разделенном на классы, о том, что оно является машиной, аппаратом насилия одного класса над другим или другими.

От определения сущности государства Ленин далее переходит к вопросу о форме государства, форме правления: «Форма этой машины бывает различна... В действительности формы правления бывали чрезвычайно разнообразны, но суть дела оставалась одна и та же...»[25] В лекции «О государстве» Ленин по характеру избранной темы должен был оставаться в пределах общеисторических, а не специально русских политических категорий. Десятилетием раньше в статье «Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам» Ленин писал: «Беда с.-р. в том, что они не знают ни исторического материализма, ни диалектиче-

---

[20] В. И. Ленин Полн. собр. соч., т. 39, стр. 68.
[21] Там же.
[22] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 7.
[23] В. И. Ленин. Полн собр. соч , т. 39, стр. 73.
[24] Там же, стр. 75
[25] Там же.

ского метода Маркса, оставаясь целиком в плену вульгарных буржуазно-демократических идей. Конституция для них не новое поприще, не новая форма классовой борьбы, а абстрактное благо подобно „законности", „правовому порядку", „общему благу" либеральных профессоров и т. д. и т. п. На самом деле и самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке».[26]

Далее следует иллюстрация этого положения, частично цитированная выше. Мы приведем здесь ее в полном виде, так как только из контекста становится ясно, что во всех перечисляемых внешних «формах» государственной власти, сменившихся в России за три с лишним века, Ленин видит их внутреннее «содержание», то, что это — формы классовой борьбы. «Например, русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма" и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное „сверху" освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии. К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, полупатриархального самодержавия изжила себя».[27]

Таким образом, из этих положений Ленина и конкретных иллюстраций к ним следует, что и реформы Петра, и наступившая после его смерти реакция, и «либерализм» Екатерины II, каковы бы ни были их субъективные причины, являлись формами классовой борьбы в тогдашнем русском обществе. Ленинская концепция развития государственных форм правления в России учит нас при анализе литературного процесса XVIII в., так прямо и непосредственно связанного с политической жизнью страны, видеть проявления классовой борьбы не только в крестьянских восстаниях петровского и елизаветинского времени, не только в крестьянской войне под руководством Пугачева, но и в «просвещенном абсолютизме», в «Наказе» и созыве екатерининской Комиссии для сочинения проекта нового Уложения, и в жалованной грамоте российскому дворянству и т. д.

Положение Ленина о том, что каждая из форм классовой борьбы проходит различные этапы развития, при изучении истории литературы XVIII в. помогает понять прогрессивные моменты «просвещенного абсолютизма» Петра I и реакционную

---

[26] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 345—346.
[27] Там же, стр. 346.

направленность того же «просвещенного либерализма» Екатерины II, а также другие аналогичные исторические явления XVIII в.

Очень важно положение Ленина о том, что переход от одной формы классовой борьбы к другой «нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке». Эта мысль Ленина дает правильный критерий для оценки таких явлений русской истории XVIII в., как дворцовые перевороты, фаворитизм и пр. Значение внутриклассовой борьбы не следует переоценивать. Политические перевороты в крепостническом обществе, подчеркнул Ленин, «были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой».[28] В свете данного указания Ленина получает законное место в истории литературы отражение борьбы за власть между «шляхетством» и «верховниками» (сатиры Кантемира, вирши Феофана Прокоповича и др.), между сторонниками Елизаветы и ее противниками, между «дворянской фрондой» братьев Паниных и Екатериной II.

Когда же дело касалось не передачи власти из рук одной группы дворянских заговорщиков в руки другой, а социально-экономических изменений или попыток реализовать их, например, в форме движения Пугачева, дворянство, за немногими исключениями, выступало как единый господствующий класс.

Приведенные выше характеристики российской государственности как специфически русской формы классовой борьбы могут быть правильно поняты лишь в диалектической связи со взглядами Ленина на формы отношений угнетаемых народных масс к своим угнетателям в классовом обществе. В лекции «О государстве» Ленин писал: «Вся история полна беспрерывных попыток угнетенных классов свергнуть угнетение. История рабства знает на многие десятилетия тянущиеся войны за освобождение от рабства... Вся эпоха крепостного права равным образом полна постоянных восстаний крестьян... Вы все знаете примеры подобных многократных восстаний крестьян против помещиков-крепостников и в России».[29]

В статье «О национальной гордости великороссов» (1914) Ленин развивает эту мысль: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х го-

---

[28] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 443.
[29] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 76—77.

дов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика».[30]

В этой многократно цитировавшейся мысли Ленина очень важно выделить два момента:

а) насилия господствующего класса вызывают не только восстания угнетенных масс, но и идейный отпор, идеологическую деятельность, направленную против насильников и в интересах угнетенных;

б) эта идеологическая деятельность представляет результат революционного осмысления положения эксплуатируемых масс сначала лицами, не принадлежащими к этим массам и являющимися выходцами из господствующего класса (Радищев, декабристы), а затем людьми из более демократических слоев общества (революционеры-разночинцы 70-х годов) и, наконец, самими эксплуатируемыми массами.

Выделяя курсивом слово *эта,* Ленин подчеркивал мысль о том, что не иностранные влияния (французская просветительская философия, идеи французской революции), а русская действительность, насилия господствующих классов вызывали отпор из среды эксплуатируемой массы, порождали русскую революционную идеологию. Иными словами, деятельность и Радищева и декабристов является отражением и выражением отпора эксплуатируемых масс крепостного периода, так же как и «настроение Белинского в письме к Гоголю» «зависело от настроения крепостных крестьян», а «история нашей публицистики» «зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета».[31]

Ленинская концепция возникновения и развития революционных идей в России дает нам в руки надежное средство для анализа прогрессивных явлений русской литературы XVIII в.

Среди прочих важных вопросов, рассмотренных Лениным и имеющих прямое отношение к истории литературы XVIII в., следует остановиться на двух — «европеизации» России и посмертной «канонизации» великих революционеров господствующими классами.

«Европеизацию» России очень часто даже в советской науке, не говоря уже о западной, рассматривают вне условий классовой борьбы XVIII—XIX вв. Ленин показывает, что слово «европеизация» применяется в русской буржуазной публицистике без конкретного, исторического наполнения, без учета того, что «европеизация» — это перестройка России «по образу и подобию» капиталистической Европы,[32] это эксплуатация народных

---

30 В. И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 26, стр. 107.
31 См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, стр. 169.
32 См.. В И Ленин. Полн. собр соч, т. 22, стр. 371.

масс более утонченными, «приличными», «европейскими» способами. «Словечко „европеизация“,— пишет Ленин,— оказывается таким общим, что оно служит для запутывания дела, для затемнения насущных вопросов политики».[33]

Ленинское решение этой проблемы представляет для нас интерес не только общетеоретический, методологический, но и конкретно-исторический, так как «европеизация» русской литературы в XVIII в. тоже рассматривается обычно без учета того, что и она являлась одной из форм классовой борьбы. Положение Ленина помогает понять, с одной стороны, враждебное отношение народных масс к петровским мероприятиям по «европеизации» и, с другой, стремление передовых людей России для облегчения участи народных масс извлечь из этого все положительное, что только можно было.

Аналогичное явление, одну из форм классовой борьбы представляет собой и своекорыстное «присвоение» угнетающими классами великих деятелей прошлого, «гримировка» их в интересах господствующего класса. Книгу «Государство и революция» Ленин начал с констатации того, что «с учением Маркса происходит теперь <написано в 1917 г.> то, что́ не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение». «Угнетающие классы,— продолжает Ленин,— при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их *имени* для „утешения“ угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая *содержание* революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его».[34]

То, что Ленин говорил в данном случае о великих революционерах, можно, думается, с соответствующими оговорками отнести и к другим фактам идеологической борьбы. Например, различные толкования образа Петра, творчества Ломоносова, Фонвизина, Новикова, Радищева в русской литературе и науке XVIII—XX вв. вызваны не «простым» различием индивидуальных точек зрения. В них отразились социальные и политические интересы разных общественных групп.

Значение идей Ленина для изучения литературы XVIII в. не исчерпывается рассмотренными аспектами. Можно не сомневаться, что многие другие проблемы, которые возникают и будут возникать в процессе исследования, получат правильное решение только на основе марксистско-ленинского диалектико-материалистического метода.

---

[33] Там же.
[34] В. И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 33, стр 5

Оглядываясь назад на путь, пройденный советской литературной наукой, мы можем с полной уверенностью утверждать, что своими достижениями она целиком обязана идеям и методу Ленина. Они помогли советским литературоведам понять сущность различных немарксистских теорий, имевших распространение в 20—30-е годы, преодолеть свои заблуждения, в том числе одно из серьезнейших — «плехановскую ортодоксию», прямой или косвенный источник многих вульгарно-социологических ошибок, встречавшихся в работах по истории литературы XVIII в.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Путь, пройденный советским литературоведением, занимающимся изучением литературы XVIII в., после Великой Октябрьской социалистической революции, можно разделить на пять этапов, каждый из которых отличается особыми чертами, характеризуется своими задачами, частью общими для всего литературоведения, частью специфическими, связанными с изучаемым материалом.

Вот эти пять этапов: а) с Октября 1917 г. до постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.; б) с 1932 г. до начала Великой Отечественной войны; в) Великая Отечественная война (1941—1945); г) с 1945 г. до XX съезда КПСС; д) с 1956 г. до настоящего времени.

Периодизация эта имеет лишь предварительный характер и, возможно, в дальнейшем подвергнется изменениям.

С 1917 г. до постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

В 1928 г. П. Н. Сакулин поместил в первом номере журнала «Литература и марксизм» обзор «К итогам русского литературоведения за десять лет». Он отметил, что разработка литературы XVIII в. была слабее всех прочих разделов. Достижениям в области истории литературы XVIII в. Сакулин уделил всего шесть строк, и это объясняется не соображениями экономии места, а отсутствием материала. Он указывает лишь публикации театральных пьес XVIII в. И. А. Шляпкиным, В. Н. Перетцом, югославским филологом И. М. Бадаличем и книгу Г. А. Гуковского «Русская поэзия XVIII века» (1927 г.).[1]

[1] «Литература и марксизм», 1928, январь, стр 133

В самом деле, в первое десятилетие после Великой Октябрьской социалистической революции изучение литературы XVIII в. находилось в самом жалком положении. Почти прекратилось «академическое» изучение ее в форме публикации ранее неизвестных текстов литературных произведений, лишь изредка появлялись библиографические разыскания, посвященные второстепенным и третьестепенным писателям и литературным фактам. Основными деятелями в этой области были лица, выступившие на научном поприще в предшествующий период. Немногочисленные статьи по истории литературы XVIII в. печатались в эти годы преимущественно в Известиях второго Отделения Российской академии наук, заменившего прежнее Отделение русского языка и словесности.[2]

Чем можно объяснить такое положение? По-видимому, тем, что грандиозные революционные события, гражданская война, ломка всего уклада жизни, культуры, науки ставили в центр внимания литературоведческой молодежи проблемы современной литературы, а без притока молодых сил невозможно какое бы то ни было развитие вообще, в том числе науки, изучающей литературу XVIII в. В таких условиях вполне закономерен был упадок интереса и у исследователей, и у читателей к литературе XVIII в., которую к тому же, начиная со школьной скамьи, характеризовали как литературу, лишенную «живого отношения к действительности».

Однако по мере осуществления культурной революции неизмеримо возросла тяга широких народных масс к знаниям. Народ хотел знать свое прошлое, свою литературу. Понятно, что на перных порах понадобились труды не исследовательского характера, а доступные для широкого круга читателей. За популярное изложение материала брались люди, пользовавшиеся авторитетом, но никогда специально литературой XVIII в. не занимавшиеся, например П. С. Коган, А. В. Луначарский, П. И. Лебедев-Полянский и др. Естественно, что в их работах подводились итоги тому, что было сделано до них и с чем они успели познакомиться. Полностью зависевшие от своих дореволюционных предшественников, представителей «академического» литературоведения, популяризаторы брали не только материал, но некритически или малокритично воспринимали и концепции использованных источников. Этим авторам казалось, что они дают марксистское освещение материала; на самом же деле они чаще всего вносили путаницу в сознание читателей. Вот как, например, характеризовал литературу XVIII в. П. С. Коган в «Истории русской литературы с древнейших времен до наших дней»: «Усвоение западной культуры, которому реформа Петра дала такой

---

[2] Краткий обзор академических исследований литературы XVIII в. см. в статье: В. Н. Перетц. Работы по истории русской и украинской литературы. — В кн.: Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за десять лет. 1917—1927. Л., 1927, стр. 132—134.

сильный толчок, не могло не отразиться на развитии литературы. В течение целого столетия после Петра русская литература носит подражательный характер. Каждое литературное направление, возникающее на Западе, находит свое отражение у нас в России... Наиболее крупным литературным направлением в Европе в первой половине XVIII века было классическое или, как его часто называют, ложноклассическое».[3] Далее следует характеристика этого направления, отчасти по историко-литературным пособиям второй половины XIX и начала XX в., отчасти по «Истории русской общественной мысли» Плеханова. Затем Коган переходит к «просветительскому направлению». «У нас,— пишет он, — носителями просветительных идей были передовые представители дворянства и сама Екатерина, для которых это было скорее модным увлечением отвлеченной справедливостью, чем практической программой».[4] «Кроме того, — продолжает Коган, — не следует забывать, что этих носителей было немного, это были отдельные личности, что слой интеллигенции в те времена составлялся из дворянства, что торговые круги, а тем более многомиллионное крестьянство не оказывали влияния на развитие литературы».[5]

Ошибочность этих суждений в настоящее время очевидна. Справедливо критиковал впоследствии статью А. В. Луначарского «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского»[6] и Г. А. Гуковский.[7] Нет надобности останавливаться и на суждениях П. И. Лебедева-Полянского в статье «Критика русская».[8] Все подобные популяризации не выдерживают критики — ни в плане фактического освещения материала, ни со стороны концепции.

Среди работ, созданных в этот период, выделяются труды профессора Московского университета, позднее академика П. Н. Сакулина (1868—1930).[9] Ученый с широким кругом интересов и знаний, более склонный к обобщениям и схемам, чем к самостоятельным исследованиям, Сакулин работал по преимуществу в области литературы XIX в. и специальному изучению отдельных писателей XVIII в. уделил немного внимания. Можно отметить только речи о Новикове (1894) и Ломоносове (1911), брошюру «Великий сын народа (М. В. Ломоносов)» (1919),

---

3 П. С. Коган. История русской литературы с древнейших времен до наших дней (В самом сжатом очерке). М., 1928, стр. 21.

4 Там же, стр. 29.

5 Там же, стр. 29—30.

6 В кн Очерки по истории русской критики, т. 1. Под ред. А. Луначарского и Вал. Полянского. М , 1929, стр. 5—80

7 Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 300—301.

8 Литературная энциклопедия, т. V, 1931, стб 633—640.

9 О Сакулине см.: М. Н. Сперанский Записка об ученых трудах проф. П. Н. Сакулина. — В кн.: Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по отделению гуманитарных наук, избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. Л., 1930, стр. 107—115; Большая советская энциклопедия, т. 37, изд. 2-е, стр. 614

статью «Крепостная интеллигенция» (1911) и обширную рецензию «Новый труд по истории масонства», посвященную коллективному исследованию «Масонство в его прошлом и настоящем» (под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. М., 1915).

Крупнейшими трудами Сакулина в данной области являются книги «История новой русской литературы. Эпоха классицизма» (М., 1918) и «Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. Часть вторая. Новая литература» (М., 1929).

Первая из названных работ представляет стенограмму лекций, читанных на Московских высших женских курсах в 1917/18 г. Поэтому она издана «на правах рукописи». Автор называет свой метод «историко-социологическим»[10] и прежде всего отмежевывается от старой «историко-культурной» школы Пыпина. Указывая на значение трудов Александра Веселовского и его продолжателей (к которым Сакулин относит и критиков-символистов, и участников издававшихся в Харькове «Вопросов теории и психологии творчества») для изучения литературных форм, он в то же время обращает внимание своей аудитории на марксизм, который рассматривает как «экономический материализм».[11] Однако Сакулин излагает не марксистско-ленинскую и даже не плехановскую концепцию, а вульгарно-социологические взгляды В. М. Фриче. Поэтому, когда он предупреждает, что и «марксизм как социологическое учение уже подвергался научной критике» и что «тем более надо критически отнестись к марксистскому течению в области историко-литературной методологии»,[12] он вводит читателя в заблуждение, выдавая концепцию Фриче за марксизм. Свой «историко-социологический метод» Сакулин объясняет так: «Историко-социологический метод требует от нас точного расчленения понятий, которыми мы оперируем. Таким образом, понятия — общество, народ расчленяются на свои составные части: сословные и классовые группы. Далее мы выделили понятие „интеллигенции" и дошли до „индивидуума"».[13] Раскрыв понимание социологического принципа изучения художественной литературы, Сакулин без всякого обоснования переходит к другому кругу проблем: «Самым внимательным образом должны мы изучать проблему форм. Все данные наук родственных — эстетики, поэтики — должны быть использованы нами».

Переходя от общих положений к особенностям построения своего курса, Сакулин указывает, что понимает классицизм и сентиментализм как «особые разновидности реалистического

---

[10] П. Н. Сакулин. История новой русской литературы. Эпоха классицизма. М., 1918, стр. 17.
[11] Там же, стр. 11.
[12] Там же, стр. 12.
[13] Там же, стр. 21—22.

типа творчества»,[14] и выдвигает тезис о «вертикальном сечении» литературы: «Как народная жизнь в вертикальном сечении представляет несколько параллельных слоев, так и литературная жизнь не ограничивается каким-нибудь одним кругом: есть культурные верхи, есть и малокультурные слои, которые создают свое творчество: и у простого, неграмотного народа есть свое творчество, представляющее высокую поэтическую ценность. Эти отдельные пласты не изолированы, соприкасаясь между собой, они взаимно влияют друг на друга, здесь происходит постоянное передвижение молекул, в результате которого получается сложная ткань литературного организма».[15] Хотя Сакулин говорит здесь о взаимовлиянии различных «пластов литературы», практически он это положение не развивает, и в его изложении литература так и остается каким-то многослойным образованием.

Самый курс в его конкретно-исторической части построен таким образом, что исторический, социально-экономический и культурный фон занимает значительно больше места, чем полагалось бы. Деятельность отдельных писателей при таком изложении растворяется в общем литературном процессе. На первом плане у Сакулина в этой работе, как, впрочем, и во второй, — «стили», которые он, несмотря на все оговорки, понимает несколько статически, метафизически. Примером может служить любопытное суждение из другой книги Сакулина «Теория литературных стилей» (1928): «Когда, изучив тот или другой литературный стиль, стараешься представить его себе как живую монаду литературной жизни, стиль часто рисуется в виде человеческого образа, очевидно типично выражающего черты данного стиля и наиболее связанного с его эйдологией. Классицизм — стройная фигура воина, в гордой позе, с величаво протянутой рукой. Сентиментализм — нежная, хрупкая девушка; сидит, подперев подбородок рукой; на реснице сверкает повисшая слеза. Романтизм — красивый юноша в плаще и широкополой шляпе; кудрявые волосы развеваются по ветру; восторгом пылающий взор обращен к небу. Художественный реализм — зрелый мужчина с здоровым цветом лица, с спокойным и вдумчивым взглядом. Натурализм — неряшливо одетый мужчина, в картузе; волосы взъерошены; в руках — записная книжка; на ремне висит кодак; беспокойно и критически озирается по сторонам. Символизм — нервный молодой человек; сильно жестикулирует; громко и напевно декламирует стихи о метафизической красоте потустороннего мира».[16]

Не говоря уже о некоторой карикатурности и вычурности этой претенциозной «поэтической» схемы, существенно то, что в интересах «стилевых» характеристик автор опускает самое

---

14 Там же, стр. 24.

15 Там же.

16 Там же, стр. 61.

основное — идейное содержание литературы XVIII в. «Объектом нашего изучения, — пишет Сакулин, — является художественная литература, следовательно, прежде всего форма, в которую облекается литературное творчество».[17] Чувствуя уязвимость своей позиции, он вслед за цитированными словами пишет: «Наша задача — проследить эволюцию литературных форм. Термин „форма" и в эстетике и в поэтике недостаточно выяснен. При более широком понимании форма и содержание неотделимы».[18]

Не уяснив для себя и не объяснив читателям, что означают понятия «жизнь», «содержание» и «форма», не видя или не желая видеть, что литературный процесс XVIII в. теснейшим образом связан с политической жизнью страны и только в этой связи может быть правильно понят, Сакулин излагает историю литературных стилей XVIII в. Это делали до него и другие авторы. Но он допускает в своей книге такой хаотический беспорядок, так свободно сдвигает и передвигает материал разных десятилетий, что приходится удивляться тому, как решился он выпустить в свет свой курс даже «на правах рукописи». Например, о «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева и самом Радищеве читатель книги Сакулина узнает раньше (стр. 119—134), чем о «русском классицизме» (стр. 185—196); о борьбе царского правительства с масонством в XIX и XX вв. сообщается до того (стр. 97—104), как говорится о взглядах Тредиаковского и Ломоносова на теорию русского стиха (стр. 261—277). Сакулин своеобразно отбирает материал для подтверждения своих положений. Характеризуя «мещанскую литературу» XVIII в., он анализирует роман «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» А. Е. Измайлова, изданный в 1799—1801 г. (у Сакулина — либо опечатка, либо ошибка — 1789 г. — см. стр. 177), а о романах Ф. А. и Н. А. Эминых даже не упоминает.

Однако, несмотря на методологические просчеты и композиционные неувязки, книга Сакулина обладала несомненными достоинствами. Впервые в общем труде было обращено внимание на так называемую низовую «массовую» литературу, на литературную продукцию масонства, на роль Радищева и т. д. «История новой русской литературы» Сакулина представляет после «Истории русской словесности древней и новой» Галахова следующую попытку самостоятельного обобщения и осмысления литературы XVIII в.

По сравнению с курсом, изданным Сакулиным в 1918 г., в его «Русской литературе. Часть вторая. Вторая культурная эпоха. Под знаком европеизма» (1929) сравнительно немного нового. Правда, здесь учтены с присущими Сакулину тщательностью и вниманием все материалы, появившиеся в науке за первое деся-

---

[17] Там же, стр. 16.
[18] Там же.

тилетие Октября. Кроме того, автор рассматривает литературу не только эпохи классицизма, но и сентиментализма и романтизма и даже останавливается на том, что он несколько образно называет «на путях к художественному реализму»; изложение доведено вплоть до Пушкина. Сакулин уточняет отдельные положения первой работы, давая в некоторых случаях формулировки более или менее обоснованные. К числу последних, например, следует отнести недоказанный тезис Сакулина о существовании особого стиля — «масонизма».

Между тем недочеты, присущие первой работе Сакулина, не только сохранились, но и усилились в «Русской литературе». Анализируя этот труд в обзоре «За изучение восемнадцатого века», Г. А. Гуковский прежде всего отметил «компилятивность его, граничащую с эклектизмом», «неопределенность характеристик, недостаточную слаженность их» и т. д. Указав на принципы деления Сакулиным истории литературы на «эпохи» и «периоды», Гуковский продолжает: «Внутри периодов материал расположен не в последовательности хронологически-прагматической, а разделен по компромиссной и не всегда исторической системе рубрик: сначала идет литература крестьянская и близкая к ней (устная поэзия), потом литература мещанская и смежные с ней явления, затем „верхний слой литературы", разделенный на стили, а те в свою очередь — на жанры. Последнее особенно сильно сбивает всю эту сложную конструкцию. Читатель читает сначала все о классицизме, потом все о сентиментализме. Значит, он сначала читает об Озерове, Крылове, даже Грибоедове, водевилистах, Батюшкове и т. д. (классики), а потом уже о Карамзине и даже его предшественниках. То же и внутри „стилей". Сначала речь идет о Грибоедове (драма), а потом о Хераскове (поэма) или В. Майкове или Сумарокове (басня) и т. д., а до всего этого — и до Хераскова, и до Грибоедова — дан Кольцов. Искусственная классификация литературных фактов привела к запутанному и непоследовательному изложению. Но если мы проберемся через трудности, поставленные читателю схематизаторским заданием автора, перед нами окажется целая груда материала. Это — все, что известно науке о XVIII в. Поразительная ученость П. Н. Сакулина ручается за полноту. Все, однако, не много».[19]

Несмотря на суровую оценку работы Сакулина, данную Гуковским, «Русскую литературу», как и его «Историю новой русской литературы. Эпоха классицизма», надо признать итогом дореволюционной литературной историографии XVIII в.

Одной из причин недостатков книги Сакулина и других обобщений по истории литературы XVIII в. было то, что за них брались авторы, никогда не занимавшиеся исследовательской разработкой материала. Они знали только тот материал, который

[19] Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 307.

был собран другими историками литературы с определенных философских и общественно-политических позиций и был введен в науку при определенном уровне требований.

Однако среди представителей дореволюционной «академической» науки, искренне принявших Октябрьскую революцию и столь же искренне стремившихся усвоить новые методологические установки, были ученые-исследователи, которые внесли значительный вклад в изучение литературы XVIII в., хотя они и не выступали с обобщающими трудами, подобно Сакулину, Когану и др. В первую очередь следует назвать Н. К. Пиксанова (1878).[20]

Научно-исследовательская деятельность Пиксанова началась с работ о декабристах и Грибоедове. Вполне закономерно, что он обратил внимание на умственные течения в русском обществе додекабристского периода, и прежде всего на вольтерьянство и масонство. Еще в дореволюционные годы Пиксанов опубликовал ряд статей о масонстве и его литературных представителях. Масонством как философским и литературным течением он продолжал интересоваться и позднее. Для т. IV «Истории русской литературы», изданной АН СССР, Пиксанов написал статью «Масонская литература»,[21] — лучшее из исследований на эту тему. Перу Пиксанова принадлежат и оригинальные, интересные статьи о Ломоносове и Радищеве.

Однако при всей ценности этих работ гораздо бо́льшее значение в качестве стимулов изучения литературы XVIII в. имели «семинарии» Пиксанова. Именно он ввел в практику советской

---

[20] О Пиксанове см.: Николай Кирьякович Пиксанов (К восьмидесятилетию со дня рождения). Список печатных работ. Л., 1958; П. Н. Берков. Профессор Николай Кирьякович Пиксанов (К 70-летию со дня рождения) — Вестник ЛГУ, 1948, № 3, стр. 149—152; Н. И. Соколов. Профессор Н. К. Пиксанов (К 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности). — Вестник ЛГУ, 1953, № 6, стр. 171—173; И. П. Еремин. 50 лет творческого труда. К юбилею Н К. Пиксанова. — «Ленинградский университет», 1953, 10 апреля; Б. П Городецкий. 1) Николай Кирьякович Пиксанов.—Вопросы изучения русской литературы XI—XIX веков. Сборник, посвященный Н. К. Пиксанову. М—Л, 1958, стр. 5—12; 2) К 80-летию заслуженного деятеля науки РСФСР Н. К Пиксанова. — «Русская литература», 1958, № 2, стр. 243—246; М И Фетисов. Николай Кирьякович Пиксанов —Известия АН СССР, ОЛЯ, 1958, т. 2, стр. 183—185; К. Н. Григорьян. Николай Кирьякович Пиксанов (К 85-летию со дня рождения и 60-летию научно-общественной и педагогической деятельности). — «Русская литература», 1963, № 2, стр. 260—264; В. П. Вильчинский. К 85-летию Николая Кирьяковича Пиксанова.—Известия АН СССР, ОЛЯ, 1963, т. XXII, вып. 2, стр. 156—158; Б. В. Михайловский, А. Н. Соколов. Николай Кирьякович Пиксанов (К 85-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности). — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 3, стр 232—233; С С Деркач и В. А. Мануйлов. Н. К. Пиксанов. — Вестник ЛГУ, 1963, № 8, стр. 170—171, А. С. Бушмин Николай Кирьякович Пиксанов.—«Нева», 1963, № 4, стр. 181—183.

[21] Н. К. Пиксанов. Масонская литература. — В кн.: История русской литературы, т. IV. Литература XVIII века. Часть вторая. М.—Л, 1947, стр. 51—84.

высшей школы, в литературоведческую науку и библиографию тематические библиографические справочники. Сначала скромные, литографированные, а затем типографским способом выполненные брошюры Пиксанова (Три эпохи. СПб., 1912; изд. 2-е, 1913) разрослись в солидные по объему и исключительно ценные библиографические справочники (Два века русской литературы. М., 1923; изд. 2-е, 1924; Пушкинская студия. Пг., 1922; Старорусская повесть. М., 1923; Островский. Литературно-театральный семинарий. Иваново-Вознесенск, 1923; Областные культурные гнезда. М., 1928). В каждой из этих книг, не исключая и «Пушкинской студии», находятся темы по XVIII в. Тематические справочники Пиксанова представляют нечто более серьезное, чем просто перечни литературы по отдельным вопросам, хотя при бедности библиографических пособий по литературе XVIII в. и это имело бы немаловажное значение. Однако заслуга Пиксанова заключается не только в том, что многие темы и этим самым каждый его «семинарий» были одной из форм итоговых обобщений в области литературной историографии. Существенно то, что в каждой из книг намечались проблемы, стоящие перед наукой. Уже в первом издании «Двух веков русской литературы» (1923) Пиксанов указывал, что его книга — «способ дать отчет — сначала перед самим собой, а потом и пред товарищами по специальности — в очередных задачах науки о русской литературе».[22]

В самом деле, постановка ряда тем, подбор для них наиболее ценных материалов из историко-литературного наследия и из новейших исследований, частичная расшифровка и подразделения этих тем («вопросники») уже являлись какой-то подготовительной стадией работы. Исследователю, отправляясь от данного Пиксановым, надлежало углубить и расширить постановку вопроса и, пополняя материалы, реализовать одну из очередных научных задач. Так, из поставленных Пиксановым тем выросли интересные работы: в «Двух веках русской литературы» он предложил «экскурс» «Романист М. Комаров», — в 1929 г. вышла книга В. Б. Шкловского «Матвей Комаров, житель города Москвы»; в «Трех эпохах» Пиксановым намечена тема «Театр Медокса в Москве», которая разработана О. Чаяновой в книге под таким же названием (1927). Две статьи С. Ф. Елеонского «Из истории русской комедии XVIII века. Старинный „купецкий" театр»[23] и «Из истории русско-украинских отношений в русской литературе XVIII — первой половины XIX в.»[24] восходят к темам, предложенным Пиксановым: «Купечество в изображе-

---

[22] Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы. М., 1923, стр. 7; изд. 2-е. М., 1924, стр. 9.

[23] Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, 1953, т. 43, вып. 4, стр. 3—68.

[24] Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, 1955, т. 48, вып. 5, стр. 47—81.

нии русской драмы XVIII в.» и «Украинское культурное влияние в Великороссии в XVIII в.». Брошюра Б. Мартынова «Журналист и издатель И. Г. Рахманинов» (Тамбов, 1962), несомненно, навеяна темой Пиксанова «Старый русский вольтерьянец И. Г. Рахманинов» (Два века, стр. 42; изд. 2-е, стр. 49—50). Этот сопоставительный перечень можно было бы продолжить, но приведенных фактов достаточно, чтобы подтвердить мысль о значительной роли «семинариев» Пиксанова в историографии русской литературы XVIII в.

Признавая большое научное значение «семинариев» Пиксанова, следует все же отметить отсутствие единого методологического принципа. Это проявилось в разнохарактерности формулировок, постановке включенных в книгу тем, в методологических высказываниях в «Предисловии к первому изданию», перепечатанному с сокращениями во втором. В последнем Пиксанов писал: «Литературная наука своим предметом имеет явление столь сложное, что ограничение каким-нибудь монопольным методом или приемом в ней было бы положительно вредно. Поэтому вполне приемлемы — и давали отличные результаты — самые разнообразные методы: лингвистический, формальный, эстетический, психологический, социологический».[25]

Пиксанов признает далее, что «не все методы одинаково близки к ядру словесного художества и не все одинаково точны и разработаны»; поэтому он приходит к выводу: «Остается, воздерживаясь от крайностей, усовершенствовать, утончать и уточнять разнообразные приемы научно-литературного анализа и умело ими пользоваться».[26]

Таким образом, отсутствие методологического единства в «Двух веках» не было результатом случайности или недосмотра, а являлось следствием тогдашнего понимания Пиксановым проблем литературоведческой методологии. Сравнительно скоро этот большой советский ученый отказался от ошибочного признания равноправности всех методов в литературной науке и перешел в ряды исследователей-марксистов.

В годы выхода в свет первого и второго изданий «Двух веков» Пиксанова в тогдашнем Петрограде работала группа литературоведов, частично или специально изучавших литературу XVIII в. Научным центром их был Государственный институт истории искусств. Здесь наряду с близкими по своим тогдашним литературоведческим взглядам представителями «академической» литературной науки — акад. В. Н. Перетцом и его учениками В. П. Адриановой-Перетц, С. А. Щегловой и др. — вели активную исследовательскую деятельность в области поэтики, стиховедения и истории литературы В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Г. А. Гуковский и др.

[25] Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы, изд. 2-е, стр. 7—8.
[26] Там же.

При Институте истории искусств, представлявшем исследовательское учреждение, были учебные Высшие государственные курсы искусствоведения, на которых среди прочих предметов читалась история русской литературы XVIII в. Этот курс вел Г. А. Гуковский. Ход научных занятий и педагогической работы сотрудников института отражен в его изданиях — временнике «Поэтика», вып. I—V (1926—1929) и брошюре «Государственный институт истории искусств. 1912—1927» (Л., 1927). Кроме того, в издаваемой институтом непериодической серии «Вопросы поэтики» вышел ряд книг, по материалу связанных с литературой XVIII в., — «Русское стихосложение» Б. В. Томашевского (1923), «Рифма, ее история и теория» В. М. Жирмунского (1924), «Сквозь литературу. Сборник статей» Б. М. Эйхенбаума (1924) и др. Выпущена была в этой серии также специальная книга по литературе XVIII в. — «Русская поэзия XVIII века» Г. А. Гуковского (1927).

В советской литературной историографии дана достаточно объективная оценка «формальной школы», отмечена ошибочность ее идеалистической методологии, показана нелепость ее притязаний на исключительную роль в мировом литературоведении. Однако постановкой ряда вопросов поэтики, эстетики, стиховедения и т. д., правильно решить которые можно только с позиции диалектического материализма, формалисты способствовали установлению границ и сущности литературоведения. Одной из несомненных заслуг «формальной школы» было более широкое привлечение фактических литературных материалов, чем практиковалось в «академическом» литературоведении дореволюционного времени.[27] Все сказанное о «формальной школе» в целом относится и к формалистам, работы которых связаны с литературой XVIII в., в том числе к трудам Г. А. Гуковского тех лет.

Г. А. Гуковский сыграл такую большую роль в изучении литературы XVIII в. в советское время, что о нем необходимо сказать подробнее, чем о других советских литературоведах, также занимавшихся этим периодом.

В середине 1921 г. в Петрограде возник Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока им. А. Н. Веселовского. С 1923 г. он был присоединен к факультету общественных наук Петроградского, затем Ленинградского университета (без указания «им. А. Н. Веселовского»). В состав сотрудников института (ИЛЯЗВ) вошли

---

[27] В последнее десятилетие литературоведение капиталистических стран, особенно США, «открыло» «русский формализм 20-х годов» и подняло его на щит. В этом факте отчетливо проявилось, с одной стороны, подчинение буржуазного литературоведения политическим целям «холодной войны», с другой — полнейшая неспособность его к самостоятельному научному творчеству, вынуждающая обращаться к давно пройденному этапу в истории советской литературной науки, к этапу, от которого давно отошли все без исключения бывшие формалисты.

многие ученые старшего поколения, в том числе В. Н. Перетц, В. В. Сиповский, П. К. Симони, а также более молодые — В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум и др. Во второй половине 20-х годов состав института пополнился учеными-марксистами, среди которых особенно видными были В. А. Десницкий, М. В. Серебряков и др. При институте была довольно большая аспирантура. Некоторые из аспирантов специализировались и по истории русской литературы XVIII в.; в числе последних был Г. А. Гуковский и др.

Постепенно ИЛЯЗВ из коллегии ученых «академического» направления сделался центром марксистского литературоведения в Ленинграде. Хотя во второй половине 20-х — начале 30-х годов не все сотрудники института усвоили марксистско-ленинскую методологию, тем не менее в ИЛЯЗВе получили подготовку многие молодые литературоведы-марксисты. Большую роль при этом сыграли литературоведческо-методологический семинарий под руководством проф. В. А. Десницкого и семинарий по диалектическому материализму под руководством проф. М. В. Серебрякова.[28] Посещение этих семинаров и заседаний ИЛЯЗВа решительно повлияло на литературоведческие взгляды Гуковского.

Г. А. Гуковский (1902—1950)[29] получил образование в Петроградском университете и с первых же курсов увлекся литературой XVIII в., историю которой читал проф. Л. К. Ильинский. В 20-е годы Гуковский сближается с формалистами из Института истории искусств и быстро занимает среди них самостоятельное и заметное место. Знания молодого ученого открыли ему путь к чтению лекций по истории русской литературы XVIII в. на Высших курсах искусствоведения при Институте истории искусств. В сборниках «Поэтика», органе отдела словесных искусств, были напечатаны первые научные работы Гуковского, написанные с позиций ортодоксального формализма. Идейное содержание, социально-политическая направленность литературы XVIII в. не привлекали внимания молодого исследователя на тогдашнем этапе его научно-литературной деятельности. Наибольший интерес для него представляли «анализ структуры отдельных фактов, предметов словесного искусства», «выделение приемов и их самостоятельное изучение» и т. д. Он останавливается на изучении «истории трагедии как драматургического жанра в России в XVIII столетии»,[30] на «истолковании пародии»

---

[28] О Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока см.: Наука и научные работники СССР, ч. II. Научные учреждения Ленинграда. Л., 1926, стр. 98—99; «Язык и литература», 1926, т. 1, вып. 2, стр. I—XXX.

[29] О Г. А. Гуковском см. Литературная энциклопедия, т. III, стб. 578—579; Ленинград. Энциклопедический справочник. М.—Л., 1957, стр. 493; Большая советская энциклопедия, т. 51, изд. 2-е. 1958, стр. 90.

[30] Г. А. Гуковский. О сумароковской трагедии. — «Поэтика», 1926, вып. 1, стр. 67—80.

как средстве определить характерные черты типичной, канонической оды,[31] на «состязаниях и переводах» как «более или менее бессознательных проявлениях отношения литературы к самой себе»[32] и т. д.

Все эти и другие статьи Гуковского, опубликованные с 1925 по 1929 г., а также его книга «Русская поэзия XVIII века (1927) были построены на огромном свежем, самостоятельно проработанном материале. И именно это обращение к конкретному материалу, непредвзятое, свободное от груза «академических» традиций отношение к литературным фактам изучаемой эпохи привели Гуковского к выводам, расходившимся с обычным истолкованием литературы XVIII в. «При первом же знакомстве с материалом,— писал он в „Русской поэзии XVIII века",— оказывается, что ходячее представление о XVIII в. как „унылой пустыне ложноклассицизма" несправедливо; оказывается, что, начиная со времен пресловутой памяти Тредиаковского, в России шла оживленная творческая поэтическая работа, шла борьба быстро сменяющихся литературных направлений. Пульс литературной жизни бился сильно, молодо. Вместо ожидаемого серого однообразия открывается яркая картина столкновения различных поэтических систем, своих собственных, выросших на русской почве и создавших ряд произведений высокой ценности; вместо официальной риторики бесконечных „похвальных" од — изобилие разнообразных поэтических формаций».[33]

Итак, уже в первой книге о литературе XVIII в. Гуковский, еще стоя на почве «формализма», пытался разрушить традиционное представление о монотонности, ученической подражательности и художественной несостоятельности русской поэзии от Кантемира до Карамзина. Приведенный им материал был исключительно убедителен. Однако отдельные ценные наблюдения, удачные характеристики, верно нащупанные линии размежевания и сближения не спасли положения. Ошибка исследователя заключалась в игнорировании идейного содержания русской поэзии XVIII в., в пренебрежении к ее общественно значимой сущности, в интересе к одной только «форме», хотя и широко понимаемой.

Гуковский приводил многочисленные новые, неизвестные дореволюционной литературной науке факты, но не давал им объяснения, не раскрывал вызвавшие их причины. Когда в 1928 г. в ИЛЯЗВе он защищал «Русскую поэзию XVIII века» как диссертацию, недостатки книги были ему уже ясны: аспирантура помогла ему понять основную ошибку не только книги, но и собственной методологической позиции. Таким образом, несмотря

---

31 Г. А. Гуковский. Из истории русской оды (Опыт истолкования пародии). — Там же, 1927, вып. III, стр. 129—147.

32 Г. А. Гуковский. К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы. — Там же, 1928, вып IV, стр. 126—148.

33 Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, стр. 5.

на свежесть и обилие материала, почерпнутого из первоисточников, а не из «Русской поэзии» Венгерова, несмотря на несомненную оригинальность постановки и разрешения ряда вопросов, «Русская поэзия XVIII века» была для него уже итогом прошлого, а не программой будущего. Являясь одним из достижений русского формализма, книга Гуковского свидетельствовала и о кризисе этого течения в русской литературной науке.

В 1929 г. ИЛЯЗВе была защищена вторая диссертация по литературе XVIII в. — «Ранний период русской литературной историографии. XVIII век и первая четверть XIX» П. Н. Беркова.

К началу 30-х годов в Ленинграде образовалась группа литературоведов, в основном связанных с ИЛЯЗВом, отчасти с Пушкинским Домом, проявлявших живой интерес к литературе XVIII в.: В. А. Десницкий, Г. А. Гуковский, Б. И. Коплан, В. Н. Орлов, Л. Б. Модзалевский и др. Ощущалась потребность в создании специальной научной ячейки для изучения литературы XVIII в. Однако обстоятельства в это время не благоприятствовали организации такого центра. В те годы в советском литературоведении огромное влияние имел РАПП, и ученые, занимавшиеся далекими эпохами, были не в почете.

Изучение литературы XVIII в. в Москве в 20-е годы не было поставлено так широко, как в Ленинграде. Кроме И. Н. Розанова, продолжавшего изучать поэзию XVIII в., интерес к литературе данного периода проявляли немногие ученые.

Так, в декабре 1927 г. проф. Московского университета, А. С. Орлов, специалист по древнерусской литературе, сделал доклад о Тредиаковском;[34] в 1928 г. в журнале «На литературном посту» (№ 4) появилась статья Л. И. Тимофеева «В. К. Тредиаковский. К 225-летию со дня рождения»; в том же году в Ученых записках Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук была напечатана статья В. С. Нечаевой «Русский бытовой роман XVIII века. М. Д. Чулков». Наконец, в 1929 г. в сборнике «Художественный фольклор» (тт. IV—V) была опубликована интересная работа С. Ф. Елеонского «Пугачевские указы и манифесты как памятники литературы». Вышло несколько трудов по истории театра XVIII в.: Н. Л. Бродского «История стиля русской комедии XVIII века» («Искусство», 1923, № 1), С. Игнатова «Начало русского театра и театр петровской эпохи» (М., 1920) и др.

За пределами Ленинграда и Москвы в 20-е годы также изредка появлялись работы по литературе XVIII в. В Трудах Северо-Кавказского государственного университета увидела свет статья А. Н. Вознесенского «Основные черты русского псевдоклассицизма 18-го века»; харьковский литературовед проф. А. И. Белецкий опубликовал книгу «Старинный театр в России»

---

[34] А. С. Орлов. «Телемахида» В. К. Тредиаковского. — XVIII век. Сб. статей и материалов под ред. акад. А. С. Орлова. М.—Л., 1935, стр. 24, прим.

(М., 1923), посвященную, правда, в основном украинскому театру. В 1925 г. в Саратовском университете прочел пробную лекцию, затем напечатанную, проф. В. В. Буш на тему «Древнерусская литературная традиция в XVIII в. (К вопросу о социальном расслоении читателя)» (Уч. зап. Саратовск. гос. ун-та, 1925, т. IV, вып. 3, и отд. отт.). Ученик акад. В. Н. Перетца, бакинский проф. А. В. Багрий поместил в «Известиях Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина» (Общественные науки, т. 8—9, и отд. отт.) статью «Западноевропейские драматические жанры и их отражения в старинной русской драматической литературе» (эта статья представляла вступительную лекцию, прочитанную автором в Петроградском университете в октябре 1915 г.).

Ряд статей о Радищеве увидел свет в конце 20-х годов в изданиях республиканских и областных высших учебных заведениях.[35] Была напечатана и статья о Тредиаковском.[36]

В конце 20-х — начале 30-х годов в Москве стала выходить Литературная энциклопедия, в которой литературе XVIII в. было отведено достаточное, по тогдашним понятиям, место. Авторами статей были Д. Д. Благой, Л. И. Тимофеев, Т. М. Глаголева-Берхен, Г. А. Гуковский и др.

Приблизительно в это же время по инициативе М. Горького в Ленинграде была организована при издательстве «Советский писатель» серия «Библиотека поэта» (большая и малая серии). Поэзия XVIII в. в ней также заняла соответствующее место (подробнее см. ниже).

Из приведенных фактов можно заключить, что во второй половине 20-х годов интерес к литературе XVIII в. заметно повысился. Это свидетельствовало, что научные силы для разработки предмета есть, что изучение литературы XVIII в. стало одной из очередных задач советской литературной науки.

---

35 З. И. Чучмарев. Участие А. Н. Радищева в журнальной литературе его времени. К социологии его творчества. — Научные записки Научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры, т. II. Харьков, 1927, стр 95—123; П Г. Любомиров Благонамеренное «Путешествие из Петербурга в Москву» (Глушков и Радищев). — Уч. зап. Саратовск гос. ун-та, пед фак-т, 1928, т. VI, вып. III, стр. 317—330; А. П. Скафтымов. О реализме и сентиментализме в «Путешествии» Радищева. К стодвадцатипятилетию со дня смерти Радищева (1802—1927). — Там же, т. VII, вып. III, 1929, стр. 1—22; А. Н. Лозанова. К характеристике «Путешествия» и сибирских путевых заметок Радищева (Этнографические элементы). — Там же, стр. 254—259

36 И. В Шаля К вопросу о языковых средствах переводчиков XVIII столетия (Тредиаковский как переводчик) — Труды Кубанск. пед. ин-та, т. 2—3. Краснодар, 1929, стр. 215—240.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. ПОСЛЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) ОТ 23 АПРЕЛЯ 1932 г. «О ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Переломным моментом в изучении литературы XVIII в. в советский период явилось постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Хотя в нем речь шла непосредственно о задачах советской художественной литературы, его значение выходило далеко за эти пределы, и проведение его в жизнь незамедлительно сказалось на развитии советской литературной науки в целом, включая и изучение литературы XVIII в. Руководство РАПП в течение последних лет перед его ликвидацией развивало тезис о том, что историко-литературное исследование, — посвящено ли оно Пушкину, литературе XVIII в. или древнерусской, — есть «бегство от современности», «сознательный уход в прошлое» как форма уклонения от решения задач советской литературной критики.

Постановление о перестройке литературно-художественных организаций положило конец такому отношению к изучению классического наследия и литературного прошлого вообще. Прекратились нападки на исследователей, якобы намеренно «уходивших в прошлое». Все чаще стали появляться работы по истории русской литературы XIX в. Оживилось исследование древнерусской литературы, в состав Института русской литературы была включена на правах отдела Комиссия по древнерусской литературе, в течение многих лет бездействовавшая. Издательства, научно-исследовательские институты, руководство высшей школы стали проявлять больше внимания и к литературе XVIII в.

Некоторые мероприятия, инициатором которых был М. Горький, также способствовали изучению литературы XVIII в. Так, в руководимом им журнале «Литературная учеба» появилась статья о задачах изучения русской литературы XVIII в. В предпринятой по его предложению серии «Библиотека поэта» решено

было «ознакомить молодежь Союза Советов с историей роста и развития русской поэзии в XIX в.», «начиная, скажем, от Державина...»[1]

Последнее начинание Горького имело особенно большое значение для углубленного исследования литературы XVIII в. Рамки, первоначально поставленные великим писателем, сразу же были раздвинуты: уже в том выпуске «Библиотеки поэта», который открывал серию и в котором была помещена статья Горького «О „Библиотеке поэта"», редакция извещала о предстоящем выходе из печати сборника «Ирои-комическая поэма XVIII—XIX вв.»; вскоре началась подготовка трех томов «Стихотворений» В. Тредиаковского, М. Ломоносова и А. Сумарокова. В дальнейшем хронологические пределы были отодвинуты еще дальше назад.

«Библиотека поэта» явилась одной из первых форм ознакомления советской молодежи и всего советского народа с богатствами русской культуры и литературы, накопленными за многие века. Для осуществления этой важной социально-воспитательной задачи учреждения и издательства стали привлекать немногочисленных еще тогда специалистов по истории литературы XVIII в. и древнерусской, тем самым втягивая их в решение общетеоретических и историко-литературных задач, встававших перед всем советским литературоведением.

Хотя в течение 20-х — начале 30-х годов появлялись работы по истории литературы XVIII в., в целом изучение литературы этого столетия не имело определившегося характера, велось без какого бы то ни было плана, было оторвано от животрепещущих вопросов складывавшегося марксистско-ленинского литературоведения; темы исследования были случайны, мелки, решались примитивно. Почти на всех работах этого периода, посвященных литературе XVIII в., лежала печать сугубо личных интересов исследователей.

Подобное обособление литературной историографии XVIII в. от общих тенденций развития советского литературоведения грозило ей полным отмиранием, уничтожением ее как ветви литературной науки. Только в выходе на широкую арену советского литературоведения, в дружном участии во фронтальной разработке теоретических и историко-литературных проблем, в совместном, хотя и на специфическом материале, решении очередных задач литературной науки, в учете всего жизнеспособного и ценного в старой науке о литературе XVIII в., в переосмыслении его на основе марксизма-ленинизма заключались основные условия дальнейшего существования и развития советской истории литературы XVIII в.

Большое значение в этом процессе включения специалистов по литературе XVIII в. в общее русло советской литературной

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 26. М., 1953, стр. 177, 185.

науки имели и другие решения партии по вопросам культуры, в частности постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах». Основное требование, сформулированное в этом документе, — преподавание «гражданской истории в живой, занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей» — положительно подействовало не только на изучение истории в школе, но и на научные исследования, в том числе по литературе XVIII в. Вместо абстрактно-социологических трудов, имевших место в 1932—1935 гг., стали появляться серьезные исследования, построенные на новых архивных материалах, источниковедческих разысканиях, биографических экскурсах, характеристиках литературных деятелей.

Только в свете перечисленных партийных постановлений становятся понятными пути изучения литературы XVIII в. в 30-е и дальнейшие годы.

Одним из следствий постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», давшего возможность широкой постановки историко-литературных исследований, было обращение дирекции Института русской литературы в Президиум Академии наук СССР. В нем указывалось, что в институте «обширный отдел XVIII в. не представлен ни одним сотрудником... С присоединением к ИРЛИ отдела древней литературы в институте устанавливается непрерывная линия изучения русской литературы с возникновения письменности до наших дней. В этой непрерывной линии необходимо представить XVIII век как литературу эпохи феодализма».[2]

Ходатайство, направленное в Президиум в 1932 г., вскоре было удовлетворено. В институт был приглашен в качестве штатного сотрудника Г. А. Гуковский, по его инициативе, а также акад. А. С. Орлова и П. Н. Беркова при Институте русской литературы была организована на общественных началах группа по изучению литературы XVIII в. Первое организационное заседание ее состоялось 20 февраля 1934 г. Председателем группы был акад. А. С. Орлов, секретарем — Г. А. Гуковский; с 1937 г. председателем стал Г. А. Гуковский, секретарем — сначала П. Н. Берков, затем — Д. С. Бабкин. В состав группы в первые годы ее деятельности входили, кроме названных выше лиц, Я. Л. Барсков, К. К. Истомин, Б. И. Коплан, А. Я. Кучеров, П. Г. Любомиров, Л. Б. Модзалевский, В. Н. Орлов, Н. К. Пиксанов, Л. В. Пумпянский, П. И. Рулин, В. П. Семенников, Р. М. Тонкова, И. М. Троцкий, В. В. Фурсенко, С. Н. Чернов, Д. Д. Шамрай, аспиранты и студенты университета.

В предисловии к первому сборнику «XVIII век», изданному группой в 1935 г., автор (Г. А. Гуковский) писал: «Первой зада-

---

[2] Архив АН СССР, ф 150, оп. 1, д. 59, л. 7.

чей группы было объединить всех литературоведов, работающих в области изучения XVIII века, организовать и кооперировать их индивидуальные исследования, направить их по руслу плановой коллективной работы». Далее Гуковский указывал, что «проблема осмысления историко-литературного процесса в России в XVIII веке в целом, проблема построения марксистской схемы этого процесса была поставлена группой еще в начале ее работы и привлекала внимание работников ее в течение всего периода ее существования». «Горячие споры, — продолжает Гуковский, — вызвали появившиеся за последние три года работы, пытающиеся дать ответ на основной вопрос изучения литературы XVIII века — вопрос о соотношении классовых сил, поскольку оно отразилось в идеологиях и словесном искусстве в частности. Отправной точкой для этих споров послужила состоявшаяся 6 апреля 1934 г. в стенах Института русской литературы дискуссия об основных проблемах изучения литературы XVIII века». «Однако, — завершает Гуковский эту часть предисловия, — в процессе двухлетней совместной работы значительное большинство членов группы пришло к единству понимания центральных и решающих проблем литературы XVIII столетия» (стр. 1).

Упоминаемая Гуковским дискуссия 1934 г. была связана с появлением в 1932 г. статьи В. А. Десницкого «О задачах изучения русской литературы XVIII века»,[3] выходом в свет в 1933 г. первой книги в серии «Библиотека поэта» — «Стихотворений» Г. Р. Державина со вступительными статьями М. Горького и И. А. Виноградова, а также изданием тома «Литературного наследства», посвященного литературе XVIII в. В последнем наряду с богатым фактическим материалом были помещены статьи принципиального, теоретического характера — «От редакции» (стр. 1—4), «О некоторых вопросах изучения литературы XVIII века» Д. П. Мирского (стр. 501—509), «По поводу статьи Д. Мирского» И. В. Сергиевского (стр. 510—512) и Г. А. Гуковского «За изучение восемнадцатого века» (стр. 295—326).

Основное положение В. А. Десницкого сводилось к тому, что литература XVIII в. не сплошь дворянская: «В противовес типам „верховой" дворянской культуры складывались типы и третьесословной культуры; складывались они в быту, искали себе выражения и в искусстве». «Русское третье сословие — крупная торгово-промышленная буржуазия, городская мелкая буржуазия и служилая интеллигенция, городское и сельское духовенство, свободное крестьянство, фабрично-заводской и ремесленный

---

3 Сначала в журнале «Литературная учеба» (1932, № 7—8, стр. 37—67), затем в качестве вступительной статьи к «Ирои-комической поэме» под редакцией Б. В. Томашевского (Л., 1934, стр. 9—73), далее в сборнике статей В. А. Десницкого «На литературные темы» (кн. 2. Л., 1936, стр. 66—123). Текст статьи в издании «Ирои-комической поэмы» и в книге «На литературные темы» расширен и уточнен.

пролетариат, — стоявшие в целом и в отдельных своих классовых группах в тех или иных формах и степенях противоречия к господствующему дворянскому сословию и к сохранившим кое-что от своего феодального величия „князьям церкви", должны были иметь и несомненно имели своё выражение в литературе».[4] Поэтому Десницкий полагал, что советским литературоведам, изучающим литературу XVIII в., нужно «линию становления третьесословной литературы взять как одну из ведущих линий литературного процесса XVIII в.; как момент конкретизации и более четкого классового осмысления — вскрыть классовые тенденции крестьянства, городской ремесленной и торговой мелкой буржуазии в третьесословной литературе». «Нужно отказаться, — развивает свою мысль Десницкий дальше,— от традиционной установки на изучение в литературе XVIII в. только „основного" ее потока „дворянского классицизма", нужно отказаться от „нелитературности", второстепенности „мещанской", „лубочной", „простонародной" литературы».[5] Десницкий не предлагает полностью отказаться от изучения «дворянского классицизма», но считает нужным перенести акцент с «дворянских» черт в нем на «более прогрессивные» — буржуазные: «К русскому классицизму XVIII в. нужно подойти более углубленно — вскрыть в нем элементы становления буржуазной культуры, носителями которой были и определенные слои дворянства, подвергшиеся процессу буржуазного перерождения, и верхушечные группы торгово-промышленной буржуазии, смыкавшиеся с феодальной аристократией».[6]

Нельзя не заметить, что в концепции Десницкого есть много сходного со взглядами П. Н. Сакулина; впрочем, это не мешает ему критиковать последнего: «П. Н. Сакулин смело и решительно рассовывает литературные явления XVIII века по трем „ярусам"...»[7] Десницкий видит свое преимущество перед Сакулиным в том, что «схему» последнего дополняет «проблемой классовой борьбы как начала, организующего движение литературы».[8] На практике же Десницкий не показывает, в чем и как выразилась в литературе XVIII в. классовая борьба.

Наряду с этими положениями, вызвавшими в дальнейшем возражения других исследователей литературы XVIII в., Десницкий высказал мысли, имевшие, несомненно, прогрессивное значение в те годы. Приведя цитату из «Русской истории» М. Н. Покровского: «Наша художественная литература XVII—XVIII вв. была сплошь переводной и подражательной», — Десницкий писал: «Нечего и говорить уже о том, что утверждение о „сплошном" переводном и подражательном характере русской

---

[4] На литературные темы, кн 2, стр. 82—83.
[5] Там же, стр. 122.
[6] Там же.
[7] Там же, стр. 81.
[8] Там же, стр. 82.

литературы XVII—XVIII вв. далеко не соответствует действительности».[9]

Еще большее значение имела в те годы заключительная часть статьи Десницкого: «Будем надеяться, серия изданий по русской литературе XVIII и XIX века... послужит началом пробуждения научного интереса к русскому XVIII веку. Это тем более желательно, что и наши высшие учебные заведения, и исследовательские институты, сосредоточив все свое внимание на современной литературе и — в меньшей уже мере — на литературе XIX в., забыли про XVIII в. и более ранние эпохи. И едва ли это целесообразно: укорачивать и обеднять историю русской литературы победившему пролетариату, наследнику всего ценного в историческом прошлом побежденных классов, нет решительно никаких оснований».[10]

Мнение Десницкого, старого и авторитетного марксиста, друга М. Горького, крупного ученого и педагога, имело вес и, несомненно, в какой-то мере способствовало изменению отношения к литературе XVIII в. со стороны читателей и — что не менее важно — со стороны органов, руководивших в те годы деятельностью высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. Вскоре в университетах, институтах литературы и языка, в педагогических институтах были расширены или вновь введены курсы по истории русской литературы XVIII в., одно время сильно сокращенные или вовсе упраздненные. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. о преподавании истории еще более усилило внимание к преподаванию литературы XVIII в.

Однако точка зрения Десницкого сразу же вызвала и решительные возражения. В статье Д. П. Мирского в «Литературном наследстве» проявилось совершенно нигилистическое отношение к литературе XVIII в., выраженное фразеологией распущенного уже в это время РАПП, к которому был близок автор.

Подобно Сакулину и Десницкому, Мирский делит литературу XVIII в. по социальным признакам: дворянская литература, буржуазная, литература буржуазно-демократической оппозиции, плебейская литература, крестьянская литература. Ставя вопрос об «общей оценке дворянской литературы XVIII в.», Мирский отвечал: «Какая же может быть эта оценка? В основном очень низкая... дворянская литература XVIII в. подражательна и бессодержательна, т. е. дает мало адекватное и скудное выражение идеологии и психологии своего класса... дворянская литература в основном представляет мало ценности и мало интересна».[11]

Явно возражая Десницкому, Мирский пишет: «Признание ценности Державина отнюдь не должно заслонять его полной

---

[9] Там же.

[10] Там же, стр. 123.

[11] Д. П. Мирский. О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII века. — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 508—509.

враждебности. Тем менее допустимо переносить это признание на остальную дворянскую литературу XVIII в. Эта последняя не может рассчитывать на какое-либо возрождение, она сохраняет свой интерес только как часть огромного архива прошлого, который весь может быть использован для всестороннего изучения истории. В этом архиве она занимает один из отдаленных закоулков».[12]

Мирский завершает статью безапелляционными и необоснованными выводами: «Резюмируя, можно сказать, что основной задачей марксистского изучения XVIII в. должно быть изучение социально близкой нам литературы, крестьянской и плебейской, с установкой на построение цельной и полной идеологической истории эксплуатируемых классов крепостной России, — предков рабочих и крестьян, ныне строящих бесклассовое общество. Рядом с этим — но не смешивая с предыдущей — задача полного изучения русской демократической мысли в ее раннебуржуазных истоках: Радищева и его окружения. Наконец, изучение и оценка отдельных вершин дворянской поэзии в связи с общей задачей критического освоения достижений добуржуазного искусства эксплуататорских классов».[13]

Редакция «Литературного наследства» напечатала статью Мирского в отделе «Трибуна» и сопроводила ее рецензией И. В. Сергиевского. Резко полемизируя со своим противником — иногда справедливо, иногда неправильно, Сергиевский писал о «фантастическом характере его общей концепции»: «Конечные наши выводы в общем итоге таковы: вопросы, которые ставит Мирский в своей статье, весьма существенны, и поставлены они весьма своевременно. Но, пытаясь дать цельный и исчерпывающий ответ на эти вопросы, Мирский допустил большую путаницу. Поэтому и ценность его статьи — по преимуществу негативная, отрицательная, и только некоторые его суждения, сосредоточенные главным образом в конце его статьи, имеют бесспорно положительное значение для дальнейшей разработки трактуемых в статье проблем».[14]

Таким образом, редакция «Литературного наследства» солидаризировалась с заключительной частью статьи Мирского, наиболее уязвимой и ошибочной.

Главная цель помещенной в том же томе «Литературного наследства» статьи Г. А. Гуковского «За изучение XVIII века» состояла в том, чтобы показать, с одной стороны, в какой тупик завело изучение литературы XVIII в. «академическое» литературоведение, а с другой — раскрыть неосведомленность и непонимание особенностей материала, проявленные популяризаторами в советское время. Вместе с тем статья Гуковского содержа-

---

[12] Там же, стр. 509.

[13] Там же.

[14] И. В. Сергиевский. По поводу статьи Д. Мирского. — Там же, стр. 512.

ла и теоретические положения, характеризовавшие его принципы исследования литературы XVIII в., и в первую очередь поэзии этого периода. Гуковский повторяет здесь некоторые положения книги «Русская поэзия XVIII века», переосмысленные, как ему казалось, с позиций марксизма-ленинизма. Для него поэзия XVIII в. — это поэзия, «законом которой был не буржуазный индивидуализм, а рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от времени и пространства».[15]

Хотя в конечном счете все литературоведы, и дореволюционные, и советские, признавали различие эстетического подхода к материалу у писателей разных эпох, на практике получилось так, что о произведениях русских поэтов XVIII в. судили с позиций позитивистской, индивидуалистической, декадентской или вульгарно-социологической эстетики. Гуковский призывает в своей статье к историческому подходу. «Поэты русского классицизма, — пишет он, — (если мы обозначим этим наименованием условно дворянскую литературу середины века) строили свое творчество, исходя из отвлеченных рационалистических концепций прекрасного, но, конечно, именно эта система эстетического мышления выражала их социальное сознание».[16] Подробнее разъясняя свою точку зрения, Гуковский говорит о дворянских поэтах XVIII в.: «Они писали о любви вообще, об отвлеченной морали, обосновывая свою художественную манеру не личным (будто бы внеобщественным) вкусом, а, например, законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве. Но ведь именно самое существо этого императива рациональной закономерности, именно характер этой отвлеченной морали и самый принцип ее отвлеченности отчетливо осмысляет каждое из произведений русского классицизма мировоззрением общественной группы, творившей его».[17]

Нельзя не заметить, что Гуковский, критически оценивая литературоведение XIX в., все же не отверг тезис Л. Н. Майкова об «отсутствии живого отношения к действительности» как характерной черте литературы XVIII в., а лишь дал объяснение, внешне — социологическое, по существу — формалистическое. «Законы жанра» оказываются для него в одинаковой, во всяком случае не в меньшей, мере определяющими художественное творчество поэтов классицизма, как и «мировоззрение общественной группы». Таким образом, хотел этого Гуковский или нет, но эстетические категории у него не подчинены идеологическим — политической и философской, а подчиняют их.

Статьи В. А. Десницкого, Д. П. Мирского, И. В. Сергиевского и Г. А. Гуковского послужили основой для дискуссии, состояв-

---

15 Г. А. Гуковский. За изучение XVIII века. — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 296.

16 Там же.

17 Там же.

шейся в Институте русской литературы 6 апреля 1934 г. Целью дискуссии, как извещало приглашение, было «решение проблемы классовой борьбы в литературе XVIII века». Заседание открылось докладом Д. П. Мирского «Основные проблемы изучения русской литературы XVIII века», в котором в более развернутом виде, чем в статье в «Литературном наследстве», были изложены взгляды автора. Еще более резким нападкам подверглась со стороны Мирского вступительная статья Десницкого к «Ироикомической поэме».

В выступлениях В. А. Десницкого, акад. В. Н. Перетца, А. А. Бескиной, И. М. Троцкого, Г. А. Гуковского и других было высказано много критических замечаний по поводу доклада и статей, вызвавших дискуссию в ИРЛИ. Эта дискуссия не привела ни к каким окончательным результатам. Поставленной задачи — «решение проблемы классовой борьбы в литературе XVIII в.» — она не выполнила. Значение дискуссии заключалось в том, что взаимная критика способствовала, с одной стороны, уточнению позиций споривших, с другой — определению узловых проблем дальнейшего изучения литературы XVIII в. Была еще одна существенная сторона этой дискуссии: она показала общественности, насколько выросла в теоретическом отношении эта ветвь советского литературоведения и как далеко ушла от библиографического крохоборства «майковско-саитовской» школы конца XIX в. и ее эпигонов в XX в.[18]

Дискуссия, как было указано выше, началась в 1932—1933 гг. и продолжалась в первой половине 1934 г., т. е. происходила до постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. о преподавании истории. Дальнейшие этапы ее[19] протекали уже после данного постановления и отразили его установки. Новые статьи Десницкого и Мирского, статья историка Г. Гайсиновича, заключительная статья редакции «Литературного наследства» — «Итоги дискуссии» — увидели свет в 1935 г. Особенный интерес представляет последняя статья, которая наряду с правильными соображениями не свободна от ошибок (см., например, сопоставление сказки о мужике и помещике с «Войной и миром» Л. Толстого).

«Положительной стороной дискуссии,— писала редакция „Литературного наследства"»[20], — является то, что — при всех своих ошибках — она обязывает подойти к литературному про-

---

[18] О дискуссии 1934 г. см.: П. Н. Берков. Институт русской литературы (ИРЛИ). — Вестник АН СССР, 1934, № 6, стр. 50—51.

[19] К дискуссии имеют отношение статьи: а) В. А. Десницкий. Еще к вопросу об изучении литературы XVIII века. — Литературное наследство, т. 19—21, 1935, стр. 617—644 (перепечатано в его кн.: На литературные темы, кн. 2. Л., 1936, стр. 123—181); б) Д. П. Мирский. Ответ И. Сергиевскому и В. Десницкому. — Там же, стр. 645—649; в) Г. Гайсинович. История у историков литературы. — Там же, стр. 650—658; г) Итоги дискуссии. От редакции. — Там же, стр. 665—670.

[20] Статья написана Л. И. Тимофеевым.

цессу XVIII века более сложно и дифференцированно, чем это делалось раньше, с учетом тех антагонистических элементов, которые наличествовали в России XVIII века. Весьма существенным является сосредоточение внимания на литературе низов феодального общества, вносящее значительные коррективы в наше представление о литературе XVIII в., обогащающее нас литературными фактами крупного значения».[21] Далее редакция «Литературного наследства» отмечала: «Важно и то, что центральным моментом дискуссии явился вопрос о принципах изучения литературы этого периода, т. е. вопрос об установлении концепции развития этой литературы, о создании большого историко-литературного обобщения, которое позволило бы ориентироваться в массе литературных фактов, избежав примитивного фактографизма, господствовавшего до сих пор в этой области».[22]

В процессе дискуссии определялись специфические черты литературы XVIII в. «Для литературы XVIII в.,— указывалось в статье,— в особенности характерна ее политическая насыщенность, ее публицистичность; не говоря о сатирической журналистике 70-х годов, не говоря о сатире, комедиях, баснях, мы и в оде и трагедии XVIII в. все время сталкиваемся с большим общественным содержанием, которое прекрасно видел Плеханов, при всех грехах его „Истории русской общественной мысли". Дидактичность и просветительство пронизывают все жанры литературы XVIII века».[23]

Права редакция и в определении отрицательных сторон дискуссии. «Нужно со всей прямотой сказать,— писала она,— что если по самой постановке спорных вопросов дискуссия заслуживает положительной оценки, то в разрешении их она обнаружила наиболее слабые стороны нашего литературоведения, демонстрировала его болезни».[24] Анализируя высказывания главных участников дискуссии, редакция характеризует позицию Мирского как «абстрактное теоретизирование», отмечает неисторичность и порочность его концепции, «неосведомленность в самом фактическом материале». Суждения о Десницком менее суровы, но также содержат указания на недостатки его концепции: «Выступления В. Десницкого несоизмеримы с позициями Д. Мирского и по серьезности постановки проблемы изучения литературы XVIII века, и по той фактической базе, на которой он обосновывает свои взгляды. Однако и они не лишены исторического и социологического упрощенчества».[25] Далее говорится о его «исторических ошибках», о том, как свободно обращается

---

[21] Итоги дискуссии. От редакции. — Литературное наследство, т 19—21, 1935, стр. 665

[22] Там же

[23] Там же, стр. 666

[24] Там же, стр 665

[25] Там же, стр. 667

Десницкий с историческими фактами, о том, что «в основе его подхода к литературе лежит стремление установить прямолинейную связь между фактами экономического и идеологического порядка». «Изучение литературы,— продолжает редакция „Литературного наследства",— сводится Десницким преимущественно к установлению социального эквивалента: кто какие интересы выражает». Подобный подход, осуществляемый упрощенно и модернизированно, приводит его к признанию Екатерины II идеологом третьего сословия.[26] И, наконец, самый серьезный упрек, который делает редакция Десницкому: «Литература XVIII века в значительной мере ускользает из поля зрения В. Десницкого, его статьи загромождены статистическими данными, и им не хватает полноценного анализа литературных фактов».[27]

Оценка статьи Гуковского менее резка, но все же достаточно строга: констатируя «несомненный отход его от формалистических позиций, на которых стоял он прежде», редакция считает, что «отход этот еще половинчатый; рецидивы формализма ...несомненно наличествуют в его статье... Г. Гуковский, отходя от формализма, идет пока что вульгарно-социологическими путями. Только преодоление формализма и вульгарного социологизма может дать полновесность нередко ценным изысканиям конкретного порядка, которые имеются в работах Гуковского».[28]

Таким образом, редакция «Литературного наследства» выразила объективно отношение научно-литературной общественности к дискуссии по XVIII в. Окончательный вывод был вполне правилен: «Изучение литературы XVIII века должно идти именно путем постановки больших творческих проблем, на основе серьезного отношения к литературным фактам и преодоления вульгарного социологизма, только тогда оно сможет прийти к действительно серьезным научным обобщениям, только тогда оно сможет создать базу для действительного освоения нами литературы XVIII века и свяжет ее с творческими интересами нашей литературы».[29]

Подводя итоги дискуссии, редакция «Литературного наследства» наметила ряд конкретных исследовательских проблем по истории литературы XVIII в., а именно: ее познавательная ценность, проблема реализма в литературе XVIII в. и его социальные основы, реалистический и антиреалистический характер русского классицизма, периодизация литературного процесса.[30]

Выдвигая эти вопросы, редакция «Литературного наследства» исходила не только из материалов самой дискуссии, но и из проблематики, которая с соответствующими изменениями

---

[26] Там же

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] Там же, стр. 670

[30] Там же, стр. 667—670

разрабатывалась в то время в советском литературоведении на материале литературы XIX—XX вв. Такой подход был совершенно правилен: он, с одной стороны, учитывал тесную связь литературы XVIII в. со всем русским литературным процессом, с другой — позволял не упускать из виду своеобразные черты исследуемого материала.

Оценивая дискуссию 1933—1935 гг. сейчас, спустя тридцать лет, нельзя не отметить ее существенные просчеты: никто из участников не обращался в процессе споров к суждениям классиков марксизма-ленинизма об истории России XVIII в. Высказывания Маркса, Энгельса и Ленина по этим вопросам не были еще систематизированы и не стали достоянием всех литературоведов, и это, естественно, наложило соответствующий отпечаток на характер дискуссии. Лишь со второй половины 30-х годов наше литературоведение обратилось к систематическому изучению этого важнейшего методологического и конкретно-исторического источника, и результаты не замедлили сказаться — это видно по работам, появившимся в конце 30-х — начале 40-х годов и позднее.

Большое значение для изучения литературы XVIII в. имело также то обстоятельство, что с середины 30-х годов центральная партийная печать стала уделять заметное внимание культурному наследию XVIII столетия, разъясняя советской общественности историческую роль его великих деятелей и определяя характер дальнейших исследований. В газете «Правда» в связи с 225-летием со дня рождения Ломоносова была помещена передовая статья «Гениальный сын великого русского народа», в которой деятельность этого ученого и писателя рассматривалась не в плане его личной биографии, а в свете ленинской теории отражения: «Его <Ломоносова> самоотверженная борьба за науку была одним из проявлений героических черт великого русского народа».[31]

Через несколько месяцев, в 135-летнюю годовщину со дня смерти Радищева, в «Правде» была опубликована статья Л. И. Тимофеева «Из истории русской общественной мысли. А. Н. Радищев».[32] И хотя эта статья не редакционная, а напечатанная за подписью автора, тем не менее самый факт ее появления знаменателен. В статье дана четкая характеристика исторической роли Радищева как революционера: «Каждая страница „Путешествия" Радищева оплачена кровью автора. Мечта о счастливой и прекрасной родине, о свободном человеке — вот основная тема книги Радищева. Но исторически она неизбежно превращалась в тему несчастной родины. И величайшей заслугой Радищева было то, что от этой темы он перешел к новой — к теме борьбы за счастливую родину, к теме револю-

[31] «Правда», 1936, 18 ноября. — В том же номере «Правды» была напечатана статья Л. И. Тимофеева «Основатель русской литературы».

[32] «Правда», 1937, 19 марта.

ции. В страстном призыве к освобождению, в ненависти к угнетателям — весь пафос деятельности Радищева... С „Путешествия" началась традиция нашей революционной литературы, с процесса Радищева — традиция революционных политических процессов».

Появление такой статьи в «Правде» означало признание за Радищевым, за его книгой и тем самым за литературой, подготовившей ее появление, права на внимание и благодарность советского народа.

В 1939 г. была опубликована «История русской литературы» М. Горького, представлявшая стенограмму лекций, которые он читал в 1908 г. в «каприйской школе». Несмотря на то, что литературе XVIII в. в этом курсе уделено не очень много внимания и освещена она с вульгарно-социологических позиций, в ней есть интересные и ценные мысли. В первую очередь это относится к трактовке литературной деятельности Фонвизина.

В значительной мере следуя за буржуазно-либеральной литературной и общей историографией в оценке Екатерины II и явно преувеличивая ее роль, М. Горький видел в Фонвизине сторонника взглядов императрицы. «Этот писатель не только по времени, но и по смыслу дарования является самой типичной, цельной фигурой первой половины века Екатерины, наиболее точным выразителем тенденций времени».[33] Он невысоко ценит литературное дарование Фонвизина: «Фонвизин не был художником, его изобразительный талант не велик, не оригинален, приемы письма грубы и постоянно впадают в карикатуру. Стихи его плохи...» [34]

Однако Горький сумел понять историческое значение творчества Фонвизина: «..., Фонвизиным начата великолепнейшая и, может быть, наиболее социально-плодотворная линия русской литературы — линия обличительно-реалистическая... по пути, проложенному Фонвизиным, пойдут такие крупные люди, как Крылов, Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Щедрин, Лермонтов, Писемский, Слепцов, Г. Успенский — до Чехова... последовательно и все с большим приближением к действительности...» [35]

Таким образом, в целом Горький признавал большую заслугу Фонвизина в истории русской литературы как зачинателя реализма. Мнение великого писателя оказало большое влияние на дальнейшие споры по вопросу о реализме вообще и, в частности, о реализме XVIII в., о литературной позиции Фонвизина.

Есть в «Истории русской литературы» Горького еще одна интересная идея, которая, к сожалению, не обратила на себя ни тогда, ни позднее соответствующего внимания. Мы часто цитируем и стараемся правильно понять формулировки Ленина о «чиновничьи-дворянской монархии XVIII века», о самодержа-

[33] М. Горький. История русской литературы М, 1939, стр. 16.
[34] Там же, стр. 25.
[35] Там же.

вии «XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями...»; однако в этих высказываниях наше внимание привлекают почти исключительно определения «дворянский» и «монархический»; что касается чиновничества, бюрократии и служилых сословий, то в них мы видим только «форму» организации управления дворянским государством. Горький,— может быть, незаметно для себя,— подошел к вопросу исторически и диалектически. Он понял, что чиновничество, вызванное к жизни нуждами дворянского государства, было далеко неоднородным: оно в некоторой своей части явилось источником оппозиционных настроений. «Развитие государственных учреждений,— пишет Горький,— вызвало к жизни новую общественную группу — чиновничество, которое, происходя по большей части из среды духовенства и мещан, сразу увидало себя более образованным и работоспособным, чем изленившаяся в праздности масса среднего и мелкопоместного дворянства. Естественно было со стороны этих новых людей эпохи стремление к еще большим завоеваниям знаний, образования и всего, что называется культурой,— увеличение умственной силы было их орудием борьбы с дворянином за место в жизни. Мелкопоместный, постепенно разорявшийся дворянин тоже примкнул к этой группе; любопытно отметить, что большинство оппозиционно настроенных литераторов того времени —мелкопоместные дворяне, выходцы из духовенства и т. д.».[36]

В рассуждениях Горького не все правильно; например, неясно, о какой борьбе чиновничества с дворянством «за место в жизни» может идти речь. В целом чиновничество всегда являлось органической частью дворянского государства: петровская «табель о рангах», дававшая чиновнику возможность «за выслугой лет» получить дворянское звание, не ставила чиновничество в ряды противников существовавшего порядка. Напротив, бюрократия настолько энергично использовала свое право пополнять ряды господствующего класса, что идеологи последнего при Екатерине и позднее возражали против «дворян по табели о рангах». Неясно также в изложении Горького, почему появились в XVIII в. в среде чиновничества, мелкого дворянства, выходцев из духовенства и т. д. оппозиционно настроенные писатели. Только ли в результате того, что чтение пробуждало в них «голос совести» или потому, что в их руки попадали произведения французских просветителей? Вне ленинской теории отражения, освещающей процесс полного или частичного перехода представителей господствующего и привилегированных классов на позиции трудящейся и эксплуатируемой массы, мысли Горького не могут быть правильно поняты и прокомментированы.

И тем не менее, несмотря на неточности и неясности формулировок, в целом Горький прав. Нельзя недооценивать культур-

---

36 Там же, стр. 14—15.

ного значения чиновничества в XVIII в.— оно играло заметную роль в качестве потребителя литературы, посетителя театров, читателя сатирических журналов, в качестве поставщика писателей, переводчиков, издателей. Если В. А. Десницкий в своих работах по литературе XVIII в. не без основания обращал внимание на значение духовенства в классовых отношениях эпохи и в формировании литературного процесса, то не менее прав был Горький, поставив вопрос о роли чиновничества в развитии литературы XVIII в.

Менее справедливой была общая оценка Горьким литературы XVIII в. и характеристика Новикова и Радищева как «типичных либералов» той эпохи. Тем не менее после выхода «Истории русской литературы» к именам Ломоносова и Радищева, названным на страницах «Правды», прибавилось еще имя Фонвизина, освещенное авторитетом Горького. Литература XVIII в., таким образом,— пусть в лице самых крупных представителей — все больше входила в сознание советского народа как живая часть его культурного наследия, и это соответственно отражалось на развитии изучения литературы XVIII в.

В течение 30-х годов литературная историография XVIII в. доказала свою жизнеспособность, права на существование, свои возможности отвечать на потребности развивавшейся советской культуры. Исследователи литературы XVIII в. приняли активное участие в работе «Библиотеки поэта». Ими были подготовлены и изданы в свет «Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.», стихотворения Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина, Капниста, Карамзина, Дмитриева, сборники «Ирои-комическая поэма», «Поэты XVIII века» и др.[37] По инициативе Г. А. Гуковского в серии «Литературное наследство» был издан упоминавшийся выше двойной том (9-10), посвященный литературе XVIII в. и построенный исключительно на архивных или никогда не привлекавшихся историками литературы печатных материалах. В томе 19-21 «Литературного наследства» (1935) также было уделено место проблемам литературы XVIII в. В 1935 г. издательство «Academia» выпустило в свет фототипическое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, сопровожденное отдельно напечатанными «Материалами к изучению „Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева», подготовленными Я. Л. Барсковым. «Материалы» явились своеобразной формой итога всего, что было известно к тому времени о Радищеве и «Путешествии». Вскоре Академия наук приступила к подготовке издания Полного собрания сочинений Радищева (в 3 томах, 1938—1952).

---

[37] Об участии исследователей литературы XVIII в. в этом издании см. в кн.: В. М. Абрамкин и А. Н. Лурье. Библиотека поэта. Аннотированная библиография (1933—1960). Общий план. Л., 1960, стр. 20—27, 68—70, 100—103, 133—135, 157—160; ср. также заметку «XVIII век в „Библиотеке поэта"» — Литературное наследство, т. 9—10, 1933, стр. 513—516.

Однако самым важным проявлением жизнеспособности историографии литературы XVIII в. было участие специалистов этой отрасли науки в подготовке десятитомной академической «Истории русской литературы», изданной по инициативе М. Горького. Третий и четвертый тома этого издания (1941 и 1947) представляют не только сводку достижений дореволюционного и советского литературоведения в области изучения литературы XVIII в., но и самостоятельную разработку многих ее разделов. Подготовка этих двух томов явилась в прямом смысле слова коллективным трудом советских литературоведов, изучавших историю литературы XVIII в. К участию в ней были привлечены, кроме ученых Ленинграда во главе с В. А. Десницким и Г. А. Гуковским, ученые Москвы (Д. Д. Благой, Г. О. Винокур, Н. К. Гудзий, В. Д. Кузьмина, И. Н. Розанов), Киева (А. И. Белецкий) и др. В четвертом томе, изданном в 1947 г., но подготовленном еще до Великой Отечественной войны, ряд глав был написан молодыми исследователями, вступившими на научное поприще в конце 30-х годов, в основном учениками Г. А. Гуковского.

Некоторые авторы, подготовлявшие третий и четвертый томá, приняли участие в написании второго выпуска первого тома «Истории русской литературы. Учебника для вузов» (под ред. В. А. Десницкого. Л., 1941), также посвященного литературе XVIII в.; тираж этого издания почти целиком погиб во время блокады Ленинграда.

В 30-е годы интенсивно работала группа XVIII в. Института русской литературы. До начала Великой Отечественной войны ею были изданы три сборника: «XVIII век. Сборник статей и материалов» (под ред. акад. А. С. Орлова. М.—Л., 1935), «А. Н. Радищев. Материалы и исследования» (под ред. акад. А. С. Орлова. М.—Л., 1936), «XVIII век. Сб. 2» (ответств. ред. Г. А. Гуковский. М.—Л., 1940). Тогда же вышли в свет три монографии: две Г. А. Гуковского — «Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов» (М.— Л., 1936) и «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (Л., 1938) и одна П. Н. Беркова — «Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765» (М.—Л., 1936).

В 1936 г. были защищены две первые докторские диссертации по XVIII в.: в мае — П. Н. Берковым (книга о Ломоносове — см. выше), в ноябре — Г. А. Гуковским (Очерки по истории русской литературы XVIII века. Л., 1936).

С февраля 1934 г. до середины 1937 г. группа XVIII в. регулярно устраивала открытые научные заседания, на которых ставились доклады сотрудников и других исследователей литературы XVIII в. В период между 1937 и 1939 гг., когда силы всех участников группы были направлены на подготовку третьего и четвертого томов «Истории русской литературы», открытые заседания прекратились.

Для развития изучения литературы XVIII в. имели значение общий курс и семинарий по литературе XVIII в. в Ленинградском государственном университете, которые вел Г. А. Гуковский. Работы участников семинария — Г. П. Макогоненко, А. М. Кукулевича, Г. В. Битнер, И. З. Сермана и др. — вошли в том Ученых записок Ленинградского университета (1939, № 33, сер. филолог. наук, вып. 2) и обратили на себя внимание научной общественности. Им посвятил содержательную рецензию Б. В. Томашевский, отметивший научную ценность ряда статей.[38]

В связи со своей преподавательской деятельностью Г. А. Гуковский подготовил «Хрестоматию по русской литературе XVIII века», выдержавшую в 1935—1938 гг. 5 изданий (3 — в Москве, 2 — в Киеве). Им же была издана большая антология «Русская литература XVIII века» (Л., 1937) с обширной вступительной статьей и примечаниями, часть которых имеет исследовательский характер. Наконец, был напечатан учебник Гуковского для высших учебных заведений «Русская литература XVIII века» (М., 1939), в значительно бо́льшей степени самостоятельный научный труд, чем учебник в обычном понимании этого слова.[39]

В конце 30-х годов в Ленинградском университете и других учебных и научных учреждениях появились первые аспиранты по литературе XVIII в., а в ноябре 1940 г. состоялась первая публичная защита кандидатских диссертаций — Л. И. Кулаковой («Ранний русский сентиментализм» — оппоненты Н. К. Пиксанов и Г. А. Гуковский) и А. В. Западова («Журнально-сатирическая литература 60-х и 90-х годов XVIII в.» — оппоненты Г. А. Гуковский и П. Н. Берков). Примерно в это же время в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена были защищены две кандидатские диссертации — Д. К. Мотольской (о Ломоносове) и А. В. Десницкого (о Крылове).

Хотя в Москве отдельные ученые в течение многих лет вели плодотворную работу по изучению литературы XVIII в. (И. Н. Розанов, Л. И. Тимофеев, Д. Д. Благой, Н. К. Гудзий, С. Ф. Елеонский, В. Д. Кузьмина, Л. В. Крестова и др.), однако только в конце 30-х годов московские литературоведы отчасти

---

38 «Литературный критик», 1940, № 5—6, стр. 277—282. — «Сборник свидетельствует о высоком уровне научных интересов его участников. Почти каждая статья сборника вносит что-либо новое в работы предшественников и в разной мере пополняет и исправляет ранее известное» (стр. 277).

39 На книгу Гуковского был напечатан ряд рецензий: Известия АН СССР, ОЛЯ, 1940, № 1, стр. 102—105 (П. Н. Берков); «Звезда», 1940, № 8—9, стр. 327—329 (А. И. Грушкин); «Литературный критик», 1940, № 11—12, стр. 271—276 (Н. К. Гудзий); «Литературное обозрение», 1940, № 6, стр. 47—53 (Дэгэ = Д. И. Гинзбург); «Ленинград», 1940, № 3, стр 22—23 (В. Н. Орлов), «Литература в школе», 1940, № 5, стр. 28—30 (Л И. Тимофеев); «Літературна критика», 1940, № 10, стр. 121—123 (В. Фельдман); Zeitschrift für slawische Philologie, 1941, Bd 17, H. 2, S 469—474 (Д. И. Чижевский).

получили возможность объединить свои разрозненные силы для исследования литературы XVIII в. В 1939 г. при Институте мировой литературы им. М. Горького был организован Отдел древнерусской литературы и литературы XVIII в., руководителем которого назначен Н. К. Гудзий, а секретарем Л. Б. Лехтблау (Светлов). В 1940 г. Отдел выпустил интересный сборник «Проблемы реализма в русской литературе XVIII века» под редакцией Н. К. Гудзия. Сборник состоит из вводной статьи Л. И. Тимофеева «Реализм в русской литературе XVIII века», имеющей принципиальный характер, и ряда исследований о Фонвизине (Л. Г. Бараг), Княжнине (Б. В. Нейман), Радищеве (Л. Б. Лехтблау, В. Д. Кузьмина), Страхове (А. В. Западов) и о борьбе с «Домостроем» в народной лирике (И. Н. Розанов).

Сборник интересен прежде всего острой и своевременной постановкой вопроса о реализме в литературе XVIII в. Проблема реализма как в русской, так и в западных литературах привлекала с начала 30-х годов пристальное внимание советских литературоведов. Статьи о реализме печатались в журналах и специальных сборниках: «Французский реалистический роман» (под ред. В. А. Десницкого, 1932), «Из истории реализма XIX века на Западе» (1934), «Литературные манифесты французских реалистов» (под ред. М. К. Клемана, 1935), «Ранний буржуазный реализм» (под ред. Н. Я. Берковского, 1936), «Реализм XVIII века на Западе» (1936), «Реализм эпохи Возрождения» (1937) и др. На этом фоне приобретают значение как сборник «Проблема реализма в русской литературе XVIII века» в целом, так и статья Л. И. Тимофеева в частности.

Сознавая, что выпуском данного сборника проблема реализма в русской литературе XVIII в. не решена, руководство Отдела древнерусской литературы и литературы XVIII в. наметило издание научно-исследовательского сборника по теоретическим проблемам русского классицизма. Однако из-за начавшейся вскоре Великой Отечественной войны сборник этот не был издан.

Отчасти связано с изучением литературы XVIII в. другое издание Отдела древнерусской литературы и литературы XVIII в.— «Старинная русская повесть. Статьи и исследования» (под ред. Н. К. Гудзия. М.—Л., 1941). Кроме работ, тематически полностью относящихся к древнерусской литературе, в сборнике напечатаны статьи В. Д. Кузьминой («Повесть о Бове Королевиче в русской рукописной традиции XVII—XIX вв.»), А. В. Позднеева («Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград») и А. В. Кокорева («Русские стихотворные фацеции XVIII в.»). Написанные в строгой филологической манере акад. М. Н. Сперанского, эти статьи внесли ряд ценных новых данных, а также дополнений и уточнений в изучение связей древнерусской литературы и литературы XVIII в.

Работниками Отдела древнерусской литературы и литературы XVIII в. было осуществлено еще одно полезное издание — «Русские сатирические журналы XVIII века. Избранные статьи и заметки» под редакцией Н. К. Гудзия. Выбор текстов из журналов и вступительная статья «Русская сатирическая публицистика XVIII века» принадлежат Л. Б. Лехтблау, примечания — талантливому, рано погибшему литературоведу Д. И. Гинзбургу (1920—1941), писавшему под псевдонимом Дэгэ. Заслуга Л. Б. Лехтблау заключается в том, что он сделал доступными широкому кругу читателей, и в первую очередь студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, читающим курсы по литературе XVIII в., ценные тексты редких сатирических изданий XVIII в. Полезна была и вступительная статья, подводившая итог дореволюционным и советским исследованиям по сатирической журналистике рассматриваемой эпохи.

По характеристике трех изданий, выпущенных Отделом древнерусской литературы и литературы XVIII в. до 1941 г., можно представить направление и методику работы московских исследователей литературы XVIII в., наметить две линии изучения литературы этого периода — источниковедческую и проблемно-теоретическую. К сожалению, Великая Отечественная война прекратила деятельность Отдела. После окончания войны Отдел не возобновил работу. Тематика по литературе XVIII в. была передана Отделу новой литературы, возглавляемому Д. Д. Благим.

За пределами Москвы и Ленинграда литература XVIII в. в 30-е годы изучалась мало. Наиболее интересные работы принадлежат А. И. Белецкому (Харьков, Киев) и С. А. Щегловой (Саратов).

Даже при беглом рассмотрении того, что было сделано в области изучения литературы XVIII в. в 30-е годы, нельзя не заметить большого размаха, который приобрела в данный период исследовательская, научно-популяризаторская и педагогическая работа, и не только по сравнению с периодом 1917—1932 гг. Литературная историография XVIII в. завоевала в эти годы прочное и законное место в общей системе советского литературоведения.[40]

Несмотря на многообразие проблем, разрабатывавшихся в исследованиях и обобщающих трудах по истории литературы XVIII в. в 30-е годы, они могут быть сведены к нескольким основным: а) общественно-литературная борьба; б) самостоятельный характер русской литературы XVIII в.; в) своеобразие рус-

---

[40] Н. К. Пиксанов. 1) Итоги изучения новой русской литературы в СССР за двадцать лет. — Известия АН СССР, Отд. обществ. наук, 1937, № 5, стр. 1180—1181; 2) Тридцать лет борьбы и достижений Итоги изучения русской литературы за 1917—1947 гг — Вестник МГУ, 1947, № 11, стр 87.

ского классицизма и борьба литературных стилей в литературе XVIII в.; г) место литературы XVIII в. в общей концепции русского литературного процесса: д) место русской литературы XVIII в. в общеевропейском литературном движении того столетия.

В итоге дискуссий установился ряд положений, признанных всеми или почти всеми советскими исследователями литературы XVIII в. Коротко они могут быть сформулированы так.

Литература XVIII в., рассматривавшаяся в 20-е и начале 30-х годов только как подготовительный этап русской классической литературы XIX в., в частности как материал, объясняющий некоторые черты творчества Пушкина, либо как связующее звено между древнерусской литературой и русской классической и советской литературой, имеет, помимо этого, право на внимание потому, что она — и это главное — по-своему отражает жизнь русского народа или хотя бы значительных его слоев на протяжении целого столетия. В течение XVIII в. формировалась новая русская культура, освободившаяся или освобождавшаяся от сковывавшего ее развитие церковно-религиозного, авторитарного мышления. Возникает русская философия, общественная мысль, складывается общенациональный литературный язык, развиваются русская журналистика, критика, русский театр, вырастают научные и высшие учебные заведения. Все это свидетельствует о большой внутренней духовной жизни русского народа. Литература этого периода по-своему отражала эти явления и процессы, и не только пассивно отражала, но и активно участвовала в общем движении. Поэтому, вполне признавая выдающийся интерес, который представляет изучение литературы XVIII в. как соединительного звена между древнерусской традицией и литературой XIX—XX вв., а также как своего рода идейно-художественного трамплина для возникновения русской классической литературы, мы все же считаем, что русская литература XVIII в. важна как самостоятельный ценный раздел национальной культуры, имеющий историческое и эстетическое значение.

В итоге исследований и дискуссий было отброшено и другое положение, имевшее широкое распространение в 20-е и начале 30-х годов и представлявшее один из коренных принципов дореволюционного изучения литературы XVIII в.,— о ее рабской «подражательности», о «робком, неумелом ученичестве» писателей данного периода. Начиная с критических высказываний самих литературных деятелей XVIII в., которые отмечали заимствования в произведениях своих современников у западных писателей, продолжая известными формулами Пушкина о «дитяти чужих уроков» — Сумарокове, о «переимчивом Княжнине», статьями Белинского и кандидатским сочинением Н. С. Тихонравова «О заимствованиях русских писателей» (1853) и т. п. и кончая много раз издававшейся книгой Ал. Веселовского «За-

падное влияние в русской литературе» (1883; изд. 5-е, 1916),— всюду настойчиво проводилась мысль о несамостоятельном характере литературы XVIII в. Отрицать заимствования в большинстве случаев было бы просто нелепо. Однако в 30-е годы литературоведы подошли совершенно иначе к истолкованию этих заимствований. Опираясь на данные истории мировой литературы, они установили, что все литературы в той или иной форме проходили этап «ученичества» и что почти все западные авторы, у которых «заимствовали» русские писатели XVIII в., сами заимствовали у своих предшественников. Если дореволюционных историографов XVIII в. интересовало установление самого факта заимствований и на этом они считали себя вправе остановиться, то для советских литературоведов было важно определить, в каких исторических условиях, с какой целью делались заимствования, какими задачами, стоявшими перед русской литературой, они были вызваны и насколько содействовали их решению.

Подобный подход позволил рассматривать такие заимствования не как основу развития литературы XVIII в., а лишь как одно из средств литературно-общественной борьбы в тогдашней русской действительности. В результате этого отпало самое понятие «подражательности» и «несамостоятельности» русской литературы XVIII в.

Правильное понимание проблемы заимствований стало возможным только потому, что, стоя на почве марксистско-ленинской философии, исследователи русской литературы XVIII в. отказались от буржуазной трактовки литературного процесса как «единого потока». Не отвергая понятия «национальная литература», не впадая в вульгарный социологизм, подменявший единую национальную литературу механической суммой дворянской, мещанской и крестьянской литератур, существующих обособленно, независимо друг от друга, исследователи в 30-е годы признали основой развития литературы XVIII в. идейно-художественную борьбу, являющуюся отражением классовой борьбы того периода в ее различных формах.

Там, где дореволюционные литературоведы, как, например, В. В. Сиповский, видели суммарное «русское общественное самосознание» или «русское свободомыслие XVIII в.», где вульгарные социологи находили «чуждую, враждебную пролетариату» дворянскую литературу XVIII в., которую не следует изучать, историографы 30-х годов, вооруженные диалектико-материалистическим методом, научились различать сложную борьбу идеологических воззрений, а иногда и систем, обусловленную разностью классовых позиций. Для них стало ясно, что русская литература XVIII в. не представляет литературы одного только дворянского класса или механической суммы литератур (или «литературных слоев», как говорил П. Н. Сакулин) разных классов русского общества, а является отражением сложного

процесса формирования «чиновничьи-дворянской монархии XVIII века» (Ленин) с характерной для него борьбой дворянско-помещичьей и демократической идеологий.

Это крупное достижение тогдашнего литературоведения заставило исследователей сосредоточить внимание на таких явлениях, как литературные памфлеты, пародии, полемики XVIII в., как рост демократических тенденций в литературе этого периода и появление первого русского писателя-революционера Радищева.

Благодаря этому было преодолено положение (также унаследованное от буржуазного литературоведения) об абстрактном характере русской литературы XVIII в., ее оторванности от жизни и верноподданической, монархической направленности. «Подобострастные», прославляющие монархов оды стали рассматриваться как своеобразная форма проведения определенных, большей частью прогрессивных идей. В трагедиях были открыты явные черты политической борьбы. Казалось бы, посвященные «общечеловеческим порокам» притчи, как выяснилось, содержали опять-таки намеки на политические и общественные события. Сатирическая журналистика 1769—1774 гг. перестала трактоваться как верная союзница Екатерины II, «либеральной монархини», «ученицы философов-просветителей». Это стремление раскрыть политическую сущность литературы XVIII в., отчетливо проявившееся в печатных работах исследователей в конце 30-х годов и в их трудах, тогда же подготовленных, но опубликованных после войны, получило широкое распространение после XX съезда КПСС.

Усмотренная исследователями связь литературы XVIII в. с современной ей действительностью, с политическими и социальными событиями и процессами, естественно, привела к тому, что необходимость изучения литературного развития в соотношении с историей общественной мысли и философских течений, решительно оспаривавшаяся кое-кем из литературоведов в 20-е годы, стала общепризнанной. Так появились в конце 30-х годов труды по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в., работы о философских взглядах Ломоносова, Радищева, писателей 60-х годов XVIII в. и т. д.

Наряду с этим исследователи 30-х годов не утратили интереса к анализу стиля русской литературы XVIII в. Здесь также наметился значительный перелом. Под влиянием изучения фактов, привлечения ранее не обращавших на себя внимания авторов и произведений историки литературы XVIII в. отказались от старой точки зрения, согласно которой вся литература этого столетия — от Феофана Прокоповича (или даже от Симеона Полоцкого) и до Державина включительно создавалась в едином художественном стиле — классицизме. Вслед за европейскими искусствоведами стали сперва говорить о русском барокко, о позднем Возрождении, о предклассицизме, т. е. механи-

чески переносили готовые европейские схемы на русскую литературу. Это было, по-видимому, результатом еще не изжитого тогда представления о «подражательном», «несамостоятельном» характере литературы XVIII в., о том, что русская культура «с запозданием проходит этапы европейского развития».

Лишь постепенно, опять-таки в результате усвоения материалистических взглядов на историю, стало понятно, что русский классицизм — явление, закономерно возникшее на русской почве, а отнюдь не привозное, не заимствованное, что, усваивая некоторые внешние формы, выработанные в западных литературах, русский классицизм, в зависимости от национальных условий и потребностей, наполнял их местным содержанием, сплавлял их со своими литературными традициями, перерабатывал настолько, что эти заимствованные формы приобретали русское обличье, национальную специфику. Таким образом, к концу 30-х годов сложилось представление о русском классицизме как оригинальном варианте классицизма общеевропейского.

Однако этот тезис о русском классицизме ни в коей мере не являлся рецидивом «теории единого потока», возвратом к преодоленному представлению о суммарной «русской литературе XVIII века» в понимании А. С. Архангельского, или В. В. Сиповского, или, наконец, П. Н. Сакулина. Стиль русского классицизма рассматривался как форма выражения, как проявление идейно-художественных представлений русских писателей XVIII в., и поскольку эти идеологические представления находились в непосредственной зависимости от социальной позиции писателей, постольку закономерно встал вопрос о дворянском и демократическом вариантах русского классицизма. При этом наряду с борьбой вариантов в едином стиле русского классицизма исследователи установили и факты их взаимопроникновения, усвоения каждым из них отдельных элементов другого, а также факты неприятия, отрицания, борьбы с другими элементами.

К концу 30-х годов ученые накопили достаточно материалов для того, чтобы выдвинуть все более и более утверждавшееся положение, что русская литература XVIII в. не исчерпывается одним классицизмом и «пришедшим ему на смену сентиментализмом, также заимствованным на Западе», как доказывали дореволюционные литературоведы. Стало ясно, что уже в конце 50-х — начале 60-х годов XVIII в. в русской литературе начался сперва незаметный, но в дальнейшем усилившийся процесс распада классицизма, появления, с одной стороны, тенденций реалистических, с другой — сентиментальных. Причем та и другая тенденции находились в зависимости от разного отношения русских писателей тех лет к политической борьбе с самодержавием и крепостничеством. Отсюда следует, что накопление реалистических черт в произведениях передовых писателей тех десятилетий XVIII в. тесно связано с борьбой последних за интересы

народных масс, против лжелиберализма Екатерины II. Так, постепенно было признано, что зарождение элементов реализма в недрах классицизма явилось результатом не «имманентного саморазвития литературы», как утверждали некоторые литературоведы-формалисты, а политической борьбы.

Перечисленные выше положения определили понимание места русской литературы XVIII в. в общеевропейском литературном процессе. Стало несомненным, что дореволюционные представления о «провинциальном» характере литературного развития в России XVIII в. не отвечают действительности и что русская литература этого периода не только не может и не должна быть признана «отсталой», «повторяющей зады европейского литературного движения», но, напротив, должна быть оценена по достоинству как оригинальное явление, своей политической направленностью и демократическими тенденциями дополняющее европейский литературный процесс.

Примерно таковы основные выводы, которые были сделаны советскими исследователями в изучении литературы XVIII в. к концу 30-х — началу 40-х годов.

Завершая обзор изучения литературы XVIII в. со второй половины 20-х годов до начала Великой Отечественной войны, мы не можем не отметить исключительно большой роли, которую сыграл в этот период в развитии литературной историографии XVIII в. Г. А. Гуковский. Человек необыкновенных дарований и работоспособности, редкостной эрудиции и еще более редкостной способности философски осмыслять изучаемые материалы, ученый поразительной научной честности, никогда не упорствовавший в своих заблуждениях и ошибках, как формалистических, так и вульгарно-социологических, и с делавшей ему честь прямотой преодолевавший их и переходивший на правильные методологические позиции, Г. А. Гуковский был центральной фигурой в литературной историографии XVIII в. как выдающийся исследователь, замечательный организатор, блестящий педагог и лектор-популяризатор. Разумеется, не Гуковский «создал» ту ветвь советского литературоведения, которая занимается изучением литературы XVIII в. Условия для ее развития были определены успехами советской культуры, всемерной поддержкой партии и правительства. Стимулом явились культурные потребности советского народа на определенном этапе его развития. Гуковский хорошо сказал об этом в одной из статей конца 30-х годов: «Нет сомнения в том, что решающую роль в общем оживлении работы, в подъеме общественной значимости этой работы по изучению и пропаганде литературы XVIII в. сыграли руководящие указания вождей партии и Советского правительства, указания центральной партийной печати, то внимание, которое прошлому русской культуры уделяют Советская власть и Коммунистическая партия. Юбилейные даты — Ломоносовские дни, Радищевские дни — показали, с каким уваже-

нием относятся партия и правительство к великим деятелям XVIII в.»[41]

Гуковский не один действовал в эти годы на поприще литературной историографии XVIII в., но его педагогическая работа в высших учебных заведениях, гармонически сочетавшая огромную эрудицию с правильно понятыми воспитательными задачами, его деятельность как блестящего ученого, организатора, пропагандиста во многом способствовала притоку в науку молодых талантливых литературоведов. Его заслуги нельзя не отметить, настолько глубока и оригинальна была его деятельность, настолько сильный след оставил он в науке, что его влияние чувствуется в ней вплоть до настоящего времени. Умер Гуковский в апреле 1950 г.

---

[41] Г. А. Гуковский. Проблемы изучения русской литературы XVIII в. — XVIII век. Сб. 2. М.—Л., 1940, стр. 5.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. ДО XX СЪЕЗДА КПСС

В 1940 г. вышел в свет второй выпуск сборника «XVIII век» с программной статьей Г. А. Гуковского «Проблемы изучения русской литературы XVIII в.», которая упоминалась выше. Сопоставляя эту статью Гуковского с его же статьей «За изучение XVIII века», опубликованной в «Литературном наследстве» в 1933 г., видно, как возмужала эта ветвь советской литературной науки в течение каких-нибудь пяти-семи лет. Перед литературоведами были поставлены большие, ответственные задачи и увлекательно интересные проблемы, была намечена широкая программа архивных и библиографических работ — поисков новых материалов. Группа XVIII в. расширилась и была превращена в Комиссию по изучению литературы XVIII в. Предполагалось выделить в самостоятельную ячейку изучение литературы XVIII в. и в московском Отделе древнерусской литературы и литературы XVIII в. По достижениям 30-х годов следовало ожидать еще бо́льших результатов в ближайшие годы.

Однако естественное развитие литературной историографии XVIII в. было нарушено Великой Отечественной войной и последующими событиями. Усиление культа личности Сталина оказало отрицательное влияние на многие ветви советских общественных наук, в том числе и на литературоведение. Так как XX съезд КПСС явился началом коренных перемен в жизни советского народа, во всех областях теории и практики, то и изложение советской литературной историографии XVIII в. целесообразно рассмотреть от начала Великой Отечественной войны и до конца ее и с 1945 г. до XX съезда КПСС с тем, чтобы выделить в самостоятельную главу материалы о ее развитии после 1955 г. и до наших дней. Такое деление тем более обосновано, что каждый из этих периодов имеет характерные черты, достижения и недостатки, притом настолько своеобразные, что рассмотрение их, как нам кажется, внесет в наше изложение то,

что, перефразируя известное выражение «couleur locale» — «местный колорит», можно было бы назвать «couleur temporale» — «колорит времени».

а) 1941—1945 гг.

События Великой Отечественной войны, оказавшие огромное воздействие на все стороны жизни советского народа, естественно, отразились и на литературоведении, на деятельности научных учреждений и учебных заведений. Вызванное войной перемещение Академии наук, Московского, Ленинградского и других университетов, педагогических и исследовательских институтов в глубокий тыл нарушило на некоторое время их налаженную деятельность и повлекло за собой перестройку научной работы в соответствии с первоочередными идеологическими потребностями эпохи.

Но и те ученые, которые остались в Москве, Ленинграде и других городах, также нашли новые формы работы, отвечавшие требованиям момента. Весь советский народ был охвачен великим патриотическим подъемом и совершал героические подвиги на фронте и в тылу. Многие советские литературоведы также вступили добровольцами в народное ополчение и в ряды Советской Армии, другие, по возрасту, состоянию здоровья и иным веским причинам не имевшие возможности пойти на фронт, считали своим долгом помогать патриотам фронта и тыла чтением лекций, писанием статей, брошюр и книг, в которых раскрывали моральную красоту и силу русского народа, русской культуры, искусства и литературы. В связи с этим особенно актуальной стала тема патриотизма.[1]

Литература XVIII в. в эти годы дала советским литературоведам обильный и ценный материал. При внимательном чтении ряда работ по истории литературы XVIII в., появившихся в середине и особенно в конце 30-х годов, нельзя не заметить, что тема патриотизма в произведениях изучаемого столетия частично уже привлекала многих исследователей. В годы войны, несмотря на недоступность научных библиотек и архивов, литературоведы не прекращали осмысления некоторых сторон литературы XVIII в. Они обратились к поэтам и прозаикам XVIII столетия, изучавшимся ими ранее под иными углами зрения. Не вдаваясь в анализ характера патриотизма разных писателей XVIII в., его источников и форм выражения (условия времени исключали возможность заниматься этими проблемами), советские литературоведы популяризировали обнаруженные ими материалы и делали научное и важное в те годы социально-воспитательное дело.

---

[1] С. А. Рейсер. Патриотические идеи в русской литературе. Указатель литературы. Л., 1945. — Литературе XVIII в. в этом библиографическом справочнике отведены стр. 42—46.

Разделы о патриотической теме в литературе XVIII в. включались в обобщающие труды, раскрывающие эту проблему, — в различные антологии, исследовательские и научно-популярные статьи.

В течение 1941—1945 гг. вышло несколько литературно-художественных сборников, посвященных теме патриотизма в русской литературе, теме Родины, борьбе с иноземными захватчиками и т. п. Вот наиболее крупные из них: «Родина. Сборник высказываний русских писателей о Родине и о народе» (М., 1942; изд. 2-е. М., 1943), «Родина и война в русской поэзии» (сост. П. Вячеславов. Киров, 1942), «Отчизна. Избранные стихи о Родине у русских поэтов от Ломоносова до Маяковского» (сост. Б. Аннибал и Б. Евгеньев. М., 1943), «Русские поэты о Родине» (ред. Б. Папковский. Л., 1943) и др. В этих антологиях то в большей, то в меньшей степени присутствуют материалы по литературе XVIII в. Так, в книгу «Родина. Сборник высказываний русских писателей о Родине» (под ред. А. М. Еголина и др., в том числе и И. Н. Розанова) включены отрывки из произведений Ломоносова, Сумарокова, Державина, Карамзина и Радищева. В 1943 г. в серии «Писатели — патриоты великой Родины» вышла книжка «Русские поэты XVIII века», текст которой был подготовлен Л. И. Тимофеевым; ему же принадлежит вступительная статья к сборнику, озаглавленная «Старое, но грозное оружие». В сборник вошли отрывки из произведений Ломоносова, Сумарокова, Кострова, Петрова, Державина и Карамзина.

О литературе XVIII в. говорилось в книге «Героическое прошлое русского народа в художественной литературе» (Л., 1941). В Саратове в 1943 г. вышла брошюра Г. А. Гуковского и В. Е. Евгеньева-Максимова «Любовь к родине в русской классической литературе», где несколько страниц отведено литературе XVIII в.

Юбилей Державина в 1943 г. вызвал появление статей и брошюр Д. Д. Благого (1944), Г. А. Гуковского (1943), С. А. Щегловой («Державин и Суворов», 1943; напечатано в 1948 г.) и др.[2] Откликнулись советские литературоведы и на юбилей Новикова, Кантемира и Фонвизина. Во всех работах отмечались патриотизм этих писателей, национально-воспитательное значение их творчества, художественная сила их поэтических произведений.

Вполне понятно, что из-за трудностей военного времени в печать попадала только небольшая часть того, что было сделано советскими литературоведами по разработке патриотической темы, и что литературе XVIII в. уделялось меньше места, чем литературе XIX—XX вв.

Несмотря на исключительно трудные условия жизни в осажденном Ленинграде, в Педагогическом институте им. А. И. Герцена состоялись защиты диссертаций, посвященных литературе

---

[2] Там же, стр 45—46.

XVIII в., — Е. П. Приваловой «Журнал Н. И. Новикова „Детское чтение" и его сотрудники» (1943), А. П. Могилянского «Драма А. Ф. Писемского „Горькая судьбина". Изображение крестьянства в русской драматургии эпохи крепостничества — от Лукина до Писемского» (1944), С. М. Бабинцева «И. А. Крылов. Библиография его произведений на русском и других языках (1786—1941)» (1944).

В Москве была проведена защита диссертации А. В. Кокорева «Стихотворные фацеции петровского времени» (напечатана в сб. «Старинная русская повесть», 1941; см. выше, стр. 210), представленной на соискание степени кандидата филологических наук. По предложению одного из оппонентов, проф. Н. Л. Бродского, соискателю была присуждена степень доктора филологических наук. Высшая аттестационная комиссия утвердила это решение.

Итоги литературоведческих работ, осуществленных в военные годы, несмотря на относительную краткость этого периода по сравнению с 20—30-ми годами и последовавшим почти двадцатилетием, немаловажны для нашей науки. Проблема национально-воспитательного значения литературы XVIII в., тесно связанная с изучением особенностей русского классицизма и своеобразия русской литературы вообще и XVIII в. в частности, как мы видели, не занимала в дореволюционный период сколько-нибудь заметного места в общей исследовательской проблематике. Выдвинутые характером эпохи, эти вопросы оказались очень существенными не только в годы войны, но и после ее окончания. Действенность, актуальность патриотических произведений Ломоносова, Державина, Радищева и других поэтов и прозаиков XVIII в. в годы войны заставила исследователей обратить больше внимания на эту сторону при изучении литературного процесса XVIII в. Конечно, эти вопросы, поставленные в период войны, не могли быть решены тогда; в послевоенное же время они, с учетом социально-различных истоков дворянского и демократического патриотизма, а также классового переосмысления дворянского патриотизма трудящимися массами и т. д.,[3] остались в ряду основных проблем литературной историографии этого периода.

б) С 1945 г. до XX съезда КПСС

Десятилетие, протекшее со времени окончания Великой Отечественной войны до XX съезда КПСС, в области изучения литературы XVIII в. отмечено неуклонным ростом числа исследователей и исследований. Литературная историография XVIII в.

---

[3] Уже во время войны в связи с выходом в свет «Стихотворений» П. А. Вяземского в серии «Писатели — патриоты великой Родины» (1944) в газете «Литература и искусство» была напечатана рецензия, в которой осуждалась тенденция ряда литературоведов проводить «теорию единого потока»

стала органической, неотделимой частью советского литературоведения. Больше того: интерес к литературе XVIII в. возрос и в других областях гуманитарных наук. Историей литературы этого столетия советские философы стали заниматься еще в 30-е годы (М. Т. Иовчук, Г. С. Васецкий и др.). В послевоенный период их внимание привлекают не только Ломоносов и Радищев, как в предвоенные годы, но и другие писатели XVIII в. В печатном органе Института философии АН СССР «Вопросы философии» появляются работы молодых ученых, ставятся новые темы, возникают дискуссии. В них принимают живое участие и литературоведы.

Значительный интерес к литературе и общественной мысли XVIII в. начали проявлять в эти годы историки. В довоенный период едва ли не один П. Г. Любомиров специально занимался изучением русской истории XVIII в. Вопросы общественно-политической борьбы в XVIII в. редко затрагивались в работах историков.[4] Со времени войны отношение к предмету решительно изменилось к лучшему, и литературоведы получили возможность опираться на труды и выводы историков, в особенности историков общественной и экономической мысли. Явно оживилась также деятельность искусствоведов. В бо́льшем числе, чем в довоенное время, стали выходить из печати работы по истории живописи, архитектуры, музыки и театра XVIII в. Усилилась также работа по изучению русского языка XVIII в. и, что особенно важно, литературного языка этого периода.

Все эти благоприятные обстоятельства не замедлили сказаться на изучении литературы XVIII в. Правда, не все исследователи использовали итоги работы философов, историков, искусствоведов и языковедов, как, впрочем, не все специалисты-нелитературоведы обращались к трудам историков литературы. Однако важно то, что представители разных наук, анализируя свои специфические материалы, независимо друг от друга приходили к одинаковым теоретическим выводам, тем самым оказывая большую принципиальную поддержку своим соседям, внимательно следившим за их работой.

Упрочение позиций литературной историографии XVIII в. проявилось в разных формах. Вскоре после окончания войны вышло в свет несколько обобщающих трудов по литературе и журналистике XVIII в., правда, подготовленных в основном еще в конце 30-х годов, но затем доработанных авторами, которые сумели учесть литературоведческие достижения периода Великой Отечественной войны. В 1946 г. напечатана «История русской литературы XVIII в.» Д. Д. Благого, выдержавшая до настоящего времени еще три издания (изд. 2-е, 1951; изд. 3-е, 1955;

---

[4] См. соответствующие разделы в кн.: История СССР. Указатель советской литературы за 1917—1952 гг. История СССР с древнейших времен до вступления России в период капитализма, т. 1. М., 1956, т. 1, приложение. М., 1956.

изд. 4-е, 1960). В следующем году был опубликован четвертый том академической «Истории русской литературы», посвященный литературе второй половины XVIII в., в 1952 г. — «История русской журналистики XVIII века» П. Н. Беркова. Кроме этих обобщающих работ, в первое послевоенное десятилетие вышло из печати большое число монографий о крупнейших писателях XVIII в. — Ломоносове,[5] Новикове,[6] Фонвизине,[7] Радищеве[8] и Крылове.[9] В серии «Русские драматурги» издательство «Искусство» выпустило семь книг по XVIII в.: кроме указанных работ о Фонвизине (Г. П. Макогоненко) и Крылове (А. В. Западов), — о Сумарокове, Лукине и Капнисте (П. Н. Берков), о Княжнине и Плавильщикове (Л. И. Кулакова).

В большом количестве стали выходить сборники статей и исследований, посвященных писателям XVIII в. Крылову (1947), Радищеву (1950), Ломоносову (1946 и позднее) и др. Появились монографии, предметом которых были литературные деятели «второго» ранга («Русские просветители 1790—1800-х годов» В. Н. Орлова, 1950; изд. 2-е, 1953).

В 1948 г. был издан восьмой (последний) том академического издания Сочинений Ломоносова, предпринятого еще под редакцией акад. М. И. Сухомлинова; было начато новое академическое издание Полного собрания сочинений Ломоносова. В 1952 г. завершено трехтомное академическое издание Полного собрания сочинений Радищева, первые два тома которого вышли еще до войны. В юбилеи Радищева 1949 и 1952 гг. выпущено несколько изданий сочинений писателя (под ред. Г. П. Макогоненко — «Избранные произведения», и И. Я. Щипанова — «Избранные философские произведения»), а также «Стихотворений» Радищева и «Путешествия из Петербурга в Москву». Г. П. Макогоненко опубликовал «Избранные сочинения» Новикова (1951), П. Н. Берков переиздал «Сатирические журналы Н. И. Новикова» (1951). Продолжалась публикация большой и малой серий

---

[5] Б. Н. Меншуткин. Жизнеописание М. В Ломоносова, изд. 3-е. С дополнениями П. Н Беркова, С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. Под ред. С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. М.—Л., 1947; А. А. Морозов. М В. Ломоносов. 1711—1765, изд. 2-е. Предисл. акад. С. И. Вавилова. Л., 1952.

[6] Л. Б. Светлов. Издательская деятельность Н. Б. Новикова. Л., 1946; Г П Макогоненко. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М—Л, 1951.

[7] Д. Д. Благой. Д. И. Фонвизин. М., 1945; П. Н. Берков. Театр Фонвизина и русская культура. — В сб.: Русские классики и театр. М.—Л., 1947; Г. П Макогоненко. Д. И. Фонвизин. 1745—1792. М.—Л., 1950; К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина. М., 1954.

[8] Г. П. Макогоненко. А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества. М, 1949; Б. Евгеньев. А Н. Радищев, 1749—1802. М., 1949; Л. И. Кулакова. А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества Л, 1949; В. Н. Орлов. Радищев и русская литература. М, 1949; изд. 2-е. Л., 1952; Г. П. Макогоненко. А. Н. Радищев. М, 1952.

[9] Н. Л. Степанов. И. А. Крылов. Жизнь и творчество М., 1949; А В. Западов. И. А. Крылов. М.—Л., 1951.

«Библиотеки поэта». Впервые были изданы «Избранные произведения русских мыслителей XVIII века» (в 2 томах, под ред. И. Я. Щипанова).

После войны возник новый вид антологий, посвященных литературе XVIII в., но уже не всей, как книга Г. А. Гуковского 1937 г., а построенных по отдельным родам и жанрам литературы: «Русская проза XVIII века» (в 2 томах, под ред. Г. П. Макогоненко и А В. Западова. 1950), «Русская комедия и комическая опера XVIII века» (под ред. П. Н. Беркова, 1950), «Русская народная драма XVII—XX веков» (под ред. П. Н. Беркова. 1953). В рассматриваемое десятилетие появились рекомендательные библиографические пособия по литературе XVIII в. в целом или по творчеству отдельных авторов (о Ломоносове, Радищеве и др.).

Нет необходимости подробно перечислять все отдельные издания по истории литературы, философии, общественной и экономической мысли, искусства, театра XVIII в., появившиеся между 1945 и 1956 гг. А количество статей, в особенности связанных с юбилеями Радищева 1949 и 1952 гг., так велико, что библиография их может составить отдельную книгу. Достаточно сказать, что, по далеко не полному подсчету, только за три года (1954—1956) по литературе XVIII в. было опубликовано свыше 275 работ. С 1945 по 1955 г. состоялось четыре защиты докторских диссертаций по литературе XVIII века — Л. Б. Модзалевского (1947), К. В. Пигарева (1954), Л. И. Кулаковой (1954) и Г. П. Макогоненко (1955), и около двадцати кандидатских.[10]

После 1945 г. происходит несомненный подъем работы по изучению литературы XVIII в., можно даже сказать — расцвет исследовательской деятельности в данной области. Однако имелись и серьезные недостатки, объясняющиеся условиями периода культа личности, давлением некоторых сталинских формулировок. Несмотря на обилие и разноообразие работ по истории литературы XVIII в., появившихся в это время, их отличало отсутствие общей четкой концепции русского исторического процесса XVIII в.

Выше указывалось, что Ленин видел в России XVIII в. «чиновничьи-дворянскую монархию», «самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма"...».[11] В определении Ленина ясно и четко проводится мысль о том, что государство в России в XVIII в. было по своему существу дворянским, а организация его — чиновничьей, бюрократической. Говоря о тенденциях его развития, Ленин отмечал: «Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что

---

[10] И. А Кряжимская Библиографический перечень авторефератов диссертаций по русской литературе и русскому языку XVIII века. — XVIII век. Сб. 3. М.—Л, 1958, стр. 591—602.

[11] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т 20, стр. 121, т 17, стр. 346.

он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении... которое можно назвать направлением к буржуазной монархии».[12] Следовательно, по Ленину, этот процесс растянулся на три века и был развитием в определенном направлении, а не завершившимся результатом. В другом месте Ленин, касаясь формирования русского внутреннего рынка, так определял роль буржуазии в истории России с XVII в.: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это... вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных».[13] Значит, государство в XVIII в. было и оставалось государством дворян, а экономическое развитие толкало его «в направлении» к буржуазной монархии.

Формулировка Сталина, данная в беседе с немецким писателем Э. Людвигом: «Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев»,— вносила серьезное осложнение в понимание русского исторического процесса XVIII в. Из этой фразы стали делать вывод, что Россия XVIII в.— государство, в котором осуществлялась диктатура одновременно двух классов, и, следовательно, одновременно в качестве господствующих существовали две культуры, хотя не уточнялось, как, в какой форме осуществлялась двуклассовая диктатура. Это высказывание Сталина, шедшее вразрез со взглядами на историю России XVIII в. Маркса, Энгельса и Ленина, заключало в себе неразрешимое внутреннее противоречие и ставило литературоведов перед большими, непреодолимыми трудностями при попытках создать целостную концепцию русского историко-литературного процесса XVIII в.

Особенно запутанным в таких обстоятельствах оказался вопрос об истоках прогрессивных тенденций в литературе XVIII в. Напомним, что дискуссия начала 30-х годов о прогрессивных и реакционных тенденциях в литературном процессе XVIII в. упрощенно решала проблему: если в экономическом отношении капиталистический строй, бесспорно, является прогрессом по сравнению со строем феодальным, то из этого делался вывод, что все прогрессивное в дворянской литературе обязано своим происхождением «обуржуазивающемуся дворянству» и «буржуазным элементам» в сознании поместного дворянства. Но это казалось недостаточным. Делались попытки выделить непосредственно буржуазную прогрессивную литературу в России XVIII в. Однако — при всем желании — прогрессивных буржуазных писателей среди

[12] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 121.
[13] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 153—154.

деятелей русской литературы XVIII в. найти не удалось. Анализируя в статье «Идеология русского буржуазного писателя XVIII в.» социальную и эстетическую позицию Ф. Эмина, Г. А. Гуковский вынужден был сделать вывод, имеющий более общее значение, чем только итог изучения деятельности и роли данного романиста: «Чем более знакомишься с произведениями Эмина, с обильными его рассуждениями на религиозные, философские, моральные темы, тем более убеждаешься в том, что никакого нового мировоззрения Эмин не внес в русскую культуру. Все в основном осталось по-старому. Сокрушительные идеи западной буржуазной мысли утратили свою силу в мировоззрении Эмина; в его творчестве не прозвучал голос нового человека, пришедшего незваным гостем в дворянскую страну и дворянскую литературу. Конечно, такой вывод годится только по отношению к прямым идеологическим высказываниям Эмина. Литературно-эстетическая структура его творчества так же, как некоторые из его общесоциальных взглядов, сыграли известную роль, и притом обновляющую роль, в русской литературе. Но все же сущность мировоззрения Эмина говорит об одном: русский буржуа в XVIII веке — не разрушитель крепостнического строя, а нахлебник при нем».[14]

Если к такому выводу приводило исследователя изучение творчества писателя, в наиболее яркой форме выражавшего буржуазную идеологию, то тем очевиднее, насколько безнадежны были бы поиски других прогрессивных буржуазных писателей в России XVIII в. Обращение к демократической линии развития литературы XVIII в., изучение которой было так плодотворно начато Г. А. Гуковским, позволило лучше понять национальные традиции, на которых выросло творчество Радищева; оно показало, что западная просветительская философия не «создала» Радищева, а только укрепила, упрочила его общественно-политические и эстетические позиции.

Влияние культа личности проявилось в изучении литературы XVIII в. еще в одной форме. Установилась манера догматического толкования высказываний классиков марксизма-ленинизма. Так, ленинскую характеристику идеологических позиций русских просветителей 40—60-х годов XIX в. некоторые исследователи литературы XVIII в. считали возможным без каких бы то ни было изменений переносить на писателей изучаемой эпохи.

В результате в первое послевоенное десятилетие литературоведы оказались не в состоянии создать целостную концепцию русского литературного процесса XVIII в. и понять его специфические особенности, исходя из самого материала, а не из расширительно толкуемых цитат. Указанные обстоятельства определили выбор тематики исследований — отказ от одних тем, обращение к другим.

---

[14] Известия АН СССР, Отд. обществ. наук, 1937, № 3, стр. 458

Количественный рост научной литературы о XVIII в. сопровождался постановкой новых проблем и задач изучения.

Прежде всего встал вопрос о роли и месте Радищева в истории русской литературы XVIII в. Еще в довоенный период произошла переоценка значения «Путешествия из Петербурга в Москву» как памятника литературного развития XVIII в. Дореволюционные исследователи не только не признавали итогового и в то же время новаторского характера литературной деятельности Радищева, но вообще не уделяли ему сколько-нибудь серьезного внимания при рассмотрении литературного процесса XVIII в. В работах 30-х годов о Радищеве было установлено, что автор «Путешествия» занимает важнейшее место в истории литературы XVIII в., не меньшее, чем Карамзин, которому вслед за дореволюционными историками литературы советские ученые и критики отводили основополагающую роль в формировании литературы первых десятилетий XIX в.

В послевоенное время вопрос о месте и значении Радищева в истории литературы XVIII в. перерос в более широкую проблему — об общем пути развития литературы этого периода, о ее философском смысле. Радищевские юбилеи 1949 и 1952 гг., как уже указывалось, вызвали огромную литературу об этом писателе. Им стали заниматься не только литературоведы, но и историки, философы, экономисты, юристы. Совместными усилиями всех этих специалистов, часто противоречивших друг другу в своих исходных положениях и в особенности в конечных выводах, «проблема Радищева» была во многих пунктах прояснена. Было признано, что, подобно тому как вся русская литература XVIII в. представляет органическое явление, выросшее на почве национальных традиций и усвоения и переработки западных достижений, так и творчество Радищева есть закономерный факт и фактор русской и европейской литературы, науки и общественной мысли XVIII в. Главное значение вклада Радищева в русскую литературу заключается в его последовательном демократизме и революционных выводах его философии. Однако по вопросу о характере этой революционности — демократическом или дворянском — дискуссии продолжались. Больше того, высказывались даже мнения, что последовательным демократом и революционером считать Радищева не следует. Эти рецидивы досоветских трактовок Радищева впоследствии вызвали решительные возражения.

Исследование деятельности предшественников Радищева — Ломоносова, Фонвизина, Новикова, а также его современников и ближайших сторонников, начавшееся еще в довоенный период (работы Г. А. Гуковского, И. К. Луппола и В. Н. Орлова), было продолжено в послевоенное десятилетие в монографиях Г. П. Макогоненко «Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века» (1951) и В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов» (1950). В этих трудах и в ряде меньших по объему статей

была поставлена проблема русского Просвещения и роли отдельных просветителей. Однако больше внимания она привлекла позднее.

Среди других тем, особенно выдвинувшихся в течение послевоенного десятилетия, а ранее занимавших едва заметное место в исследованиях по истории русской литературы XVIII в., в первую очередь нужно назвать тему связи литературы этого периода с народным творчеством и несколько шире — тему фольклоризма русских писателей. Здесь следует указать работы М. К. Азадовского, Н. В. Баранской, Г. И. Бомштейна, С. Ф. Елеонского, А. В. Кокорева, В. Д. Кузьминой и др. Проблема соотношения фольклора и литературы XVIII в. естественно связана с изучением истории фольклора XVIII в. И в этом плане в послевоенное десятилетие имеются значительные достижения. В коллективном труде Института русской литературы (Пушкинский дом) «Русское народное поэтическое творчество» (тт. I—II, вып. I) и другой коллективной работе под таким же названием, вышедшей под редакцией П. Г. Богатырева, содержится множество ценнейших статей, широко раздвигающих границы наших прежних представлений о фольклоре XVIII в.[15]

Вместе с тем новые материалы показывают, что фольклоризм русских писателей изучен совершенно недостаточно. На очереди стоит рассмотрение отношения (в теории и на практике) к фольклору Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Державина, Радищева и всех остальных писателей XVIII в.

Близкую по характеру тему, также выдвинувшуюся в послевоенное десятилетие, представляет «старая традиция» в литературе XVIII в. Эта тема была поставлена еще А. Н. Пыпиным в статье «Допетровское предание в XVIII-м веке» (1886). Останавливаясь в этой работе на «старине в нравах и бытовых понятиях» и «на продолжении старых понятий в литературе», Пыпин выступил против утвердившегося взгляда на литературу XVIII в. как на явление, полностью оторванное от старых национальных традиций. Либерал-западник по своим политическим убеждениям, Пыпин этой работой по существу опровергал излюбленную западниками, усердно развиваемую ими концепцию о «несамостоятельности» и «подражательности» русской литературы XVIII в.

Однако сколько-нибудь заметного следа в литературной историографии XVIII в. ни эта работа Пыпина, ни его книга «Для любителей книжной старины» (1888; перепечатана с дополнениями в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1891 год»), посвященная рукописной повести XVIII столетия, не оставили. Нельзя, правда, сказать, что точка зрения Пыпина

[15] Еще более обширный и систематизированный материал см. в книге М. К. Азадовского «История русской фольклористики» (т. I. М., 1958), написанной в 1945—1950 гг.

была забыта (ср. «Старорусскую повесть» Н. К. Пиксанова, 1923; книги П. Н. Сакулина по истории литературы XVIII в., 1919 и 1929), однако дальнейшей углубленной разработки путем привлечения нового материала и главное марксистского осмысления в советском литературоведении до послевоенного периода она не получила.

Зато в это десятилетие были опубликованы свежие по материалу и по подходу работы на данные темы Е. А. Касаткиной, В. Д. Кузьминой, С. Ф. Елеонского, Г. П. Макогоненко, Д. М. Молдавского и др. В результате этих работ и пересмотра старых фактов определился иной взгляд на традиционную схему. Сейчас вопроса о «разрыве» между «старой традицией», между «допетровским преданием» и литературой XVIII в. не существует. Русский литературный процесс рассматривается в единстве и целостности. «Европеизация» русской литературы XVIII в., если пользоваться термином, который возник в XIX в. и применялся В. И. Лениным, вкладывавшим в него определенный, классовый смысл, представляла не перерыв в развитии русского литературного процесса, а лишь одну из форм этого развития.

К числу небольших, но принципиально важных тем, разработка которых по-настоящему началась в послевоенное десятилетие, относится изучение контактов русской литературы XVIII в. и современных ей литератур народов тогдашней России. Среди немногочисленных работ на эту тему следует отметить статьи киевского литературоведа Ф. Я. Шолома, посвященные изучению русско-украинских связей XVII—XVIII вв., в частности связей произведений украинских сатириков 40—50-х годов XVIII в. с творчеством Кантемира («Російсько-українські літературні зв'язки після возз'єднання України с Росією в 1654 році», 1954; «Російсько-українські зв'язки в галузі громадсько-політичної поезії XVIII століття», 1952). В диссертации, отдельные главы которой опубликованы в виде статей, Ф. Я. Шолом пошел значительно дальше В. Н. Перетца, автора работы о неизвестных подражателях Кантемира (1928), и методологически правильнее ставил вопрос. Однако надо признать, что вообще в области изучения контактов русской литературы XVIII в. с современными ей литературами народов, уже тогда входивших или позднее вошедших в состав России (белорусы, грузины, армяне), в послевоенное десятилетие было сделано мало.[16]

Из сказанного можно заключить, что в целом в изучении литературы XVIII в. в послевоенное десятилетие достигнуты заметные результаты. Однако рассмотренные выше материалы позволяют сделать наблюдение: вопросы художественного метода ли-

---

[16] Наиболее детально исследованы русско-армянские литературные контакты. См. работу проф. Р. Оганнисяна «Из истории оценки русской литературы армянской общественной мыслью» (Ереван, 1952) и ряд работ К. Н Григорьяна, в особенности автореферат его докторской диссертации «Из истории русско-армянских литературных отношений X — начала XX вв.» (Л., 1955)

тературы XVIII в. и в особенности вопросы мастерства писателей недостаточно привлекали внимание исследователей. Раскрыта органическая, хотя и своеобразная, связь литературы XVIII в. с современной ей русской действительностью и зарубежной политической жизнью. Установлены соотношения между внутренней и внешней политикой Петра I, Елизаветы, Екатерины II и русской литературой того времени. Восстание под руководством Пугачева, американская и французская революция в их отношении к тогдашней русской литературе также исследованы достаточно внимательно. Конечно, не следует считать все факты установленными, все материалы исчерпывающе осмысленными. Изучать связь литературы XVIII в. с русской политической жизнью этого столетия необходимо и дальше. В частности, очередной такой проблемой, несмотря на наличие нескольких диссертаций, остается творчество Кантемира.

В послевоенное десятилетие приостановилось изучение русской литературы XVIII в. как части мирового литературного процесса, русской литературы на Западе в XVIII столетии, форм, причин и целей использования русскими писателями XVIII в. достижений античной, западных, восточных и славянских литератур. Проблема связи русской литературы XVIII в. с современными ей славянскими литературами, прежде всего с польской, также не разработана. Это прекращение сопоставительно-исторических исследований лишило литературоведов возможности решить одну из труднейших и актуальнейших проблем — своеобразие русской литературы XVIII в и ее место в современной ей мировой литературе.

Не отказываясь от дальнейшего изучения этих связей, следует уделить больше внимания анализу теоретических, эстетических взглядов русских писателей XVIII в., их литературному мастерству, художественной практике. Это позволило бы вновь вернуться к еще недостаточно выясненному вопросу о литературном стиле или литературных стилях XVIII в. и решать его не умозрительно, как это делалось в 20—30-е годы в статьях о русском барокко и русском классицизме, авторы которых оперировали ограниченным кругом материалов, а конкретно, используя накопленные важные факты.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС

XX и XXII съезды Коммунистической партии Советского Союза явились переломными моментами в истории нашей страны, оказали влияние на различные области политической, экономической, идеологической, культурной жизни народа. Их воздействие ощущается в разных направлениях, в том числе и в литературной историографии XVIII в. После XX съезда КПСС ленинские принципы оценки явлений идеологической жизни, литературных фактов окончательно утвердились в практике литературоведов, изучающих XVIII в.

Подлинное торжество ленинских принципов в науке означает отказ не только от ошибочных формулировок и характеристик, но прежде всего от догматического толкования цитат, взятых вне контекста, оторванных от общих взглядов того или иного деятеля на историю и современность. Оно предполагает изучение истории России, в том числе России XVIII в., как истории классовой борьбы, но не в вульгарно-социологическом, а в ленинском понимании последней. Применительно к истории литературы XVIII в. следование этим принципам означает толкование литературного процесса также как процесса классовой борьбы, проявляющейся в своеобразных формах. В свете этого прогрессивные и оппозиционные явления в литературе XVIII в. должны рассматриваться не как факты индивидуальной биографии, не как результат усвоения взглядов западных философов, а как отражение социальных, классовых противоречий внутри общества. Из этого следует далее, что европеизация России при Петре I, «просвещенный абсолютизм», введение нового, «гражданского» алфавита, возникновение периодической печати, открытие Московского университета, Российского театра и пр. должны восприниматься диалектически: будучи проведены или созданы по инициативе и в интересах господствующего класса, они имели объективно прогрессивное значение, так как отвечали назревшим потреб-

ностям общественного развития. Следование ленинским принципам научного анализа предполагает строго исторический подход к оценке явлений прошлого и настоящего. Как ни важно для прогресса литературной науки открытие новых фактов, новых материалов, еще более существенно методологически правильное истолкование известных и вновь открытых и открываемых фактов.

В отличие от предшествующих периодов, для которых характерно (за исключением годов Великой Отечественной войны) обилие обобщающих трудов, вроде «Русской литературы XVIII века» Г. А. Гуковского, третьего и четвертого томов академической «Истории русской литературы», «Истории русской литературы XVIII века» Д. Д. Благого и т. д., в рассматриваемый период (с 1956 г.) не было издано ни одной специальной обобщающей работы по истории литературы XVIII в. Зато в исследованиях, посвященных всему русскому литературному процессу или отдельным его этапам, соответствующее место отводится литературе XVIII в. или истории отдельных ее жанров.

В 1958 г. вышел первый из трех томов «Истории русской литературы», задуманной как «общая картина исторического движения всей литературы, развивающейся в сложных связях и взаимодействиях — притяжениях, отталкиваниях, борьбе прошлого с настоящим, закостенелых традиционных схем с новаторством, писателей-современников между собой».[1] Редакция указывает, что в данном труде «предпринята попытка... наметить, хотя бы предварительно, до сих пор еще весьма мало изученные объективные закономерности литературного развития... По наиболее существенным этапам этого развития, без выделения монографических глав, посвященных отдельным писателям, и строится изложение истории русской литературы в данном труде».[2]

В разделе, отведенном XVIII в., приняли участие П. Н. Берков, К. В. Пигарев и Н. Л. Степанов.

Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие общей исторической, социально-политической концепции русского литературного процесса XVIII в. во вводной главе. Этого не могут восполнить частные наблюдения над отдельными сторонами литературного развития данного столетия. Не будучи соотнесены с историей классовой борьбы, они так и остаются частными наблюдениями и ни в коей мере не создают «общей картины исторического движения всей литературы». Нельзя считать также, что в главах об отдельных периодах литературы XVIII в. аргументированно определены «мало изученные объективные закономерности литературного развития».

Выход этого тома из печати прошел почти незаметно: в критике не было высказано никаких заслуживающих внимания суждений о предпринятом опыте. Едва ли это случайно.

---

[1] От редакции — История русской литературы в трех томах, т. I (Литература X—XVIII веков). Гл. ред. Д. Д. Благой. М.—Л., 1958, стр. 6.

[2] Там же, стр. 6—7.

В том же 1958 г. Институтом русской литературы был издан т. I «Истории русской критики» под ред. Б. П. Городецкого. Раздел «Развитие литературной критики в XVIII веке» написан П. Н. Берковым. Отведено место XVIII в. и в т. I «Истории русского романа», изданном тем же институтом в 1962 г. под той же редакцией; соответствующие главы написаны Г. Н. Моисеевой и И. З. Серманом. В 1963 г. издательство «Высшая школа» выпустило учебник «История русской журналистики XVIII—XIX веков», составленный коллективом преподавателей факультетов журналистики Московского и Ленинградского университетов, под редакцией проф. А. В. Западова. Глава о журналистике XVIII в. в этом учебнике написана В. Г. Березиной. В настоящее время в Институте русской литературы (Пушкинский дом) ведется работа над «Историей русской поэзии», и, естественно, ряд глав посвящен поэзии XVIII в.; они написаны И. З. Серманом и Н. Д. Кочетковой.

Осуществление всех этих изданий оказалось возможным благодаря тому, что в течение 30—50-х годов в Москве и Ленинграде сформировались группы литературоведов разных поколений, специалистов по всем периодам истории русской литературы, включая и XVIII в. Имело значение также и то, что с 1955 г., после шестилетнего перерыва, возобновила свою деятельность группа XVIII в. в Институте русской литературы. Многие работы по литературе XVIII в. в перечисленных выше коллективных трудах выполнены сотрудниками группы.

Больше, чем в предшествующие периоды, вышло в последние годы специальных монографий по истории литературы XVIII в. Одни из этих книг посвящены писателям, мало изученным в советском литературоведении, например Державину. Другие, хотя и анализируют неоднократно изучавшееся творчество Радищева, Ломоносова и Фонвизина, отходят от принятых в предшествовавшее десятилетие схем и привычных приемов изложения материала. Г. П. Макогоненко опубликовал после 1955 г. монографии «А. Н. Радищев и его время» (1956) и «Денис Фонвизин. Творческий путь» (1961). А. В. Западовым были подготовлены две книги: «Державин» и «Мастерство Державина», обе вышли в 1958 г. А. И. Старцев посвятил Радищеву две книги: «Университетские годы Радищева» (1956) и «Радищев в годы „Путешествия“» (1960).

Довольно много книг и брошюр было издано к 250-летнему юбилею со дня рождения Ломоносова. Но о Ломоносове-поэте — только книга А. В. Западова «Отец русской поэзии. О творчестве Ломоносова» (1961). Из работ общего характера следует назвать книги А. А. Морозова: «Ломоносов» (1961; в серии «Жизнь замечательных людей»), «М. В. Ломоносов. Путь к зрелости, 1711—1741» (1962); ср. также его книгу «Юность Ломоносова» (изд. 2-е, 1958). Важными пособиями по изучению Ломоносова являются изданные в 1961 г. книги «Летопись жизни и творчест-

ва М. В. Ломоносова), составленная Г. А. Андреевой, Г. Е. Павловой и Н. В. Соколовой под руководством В. Л. Ченакала, и «Библиотека Ломоносова» Г. М. Коровина (опубликована посмертно). Из других юбилейных трудов о Ломоносове обращают на себя внимание «М. В. Ломоносов и журналистика» А. В. Западова, «М. В. Ломоносов и Петербургская академия наук» М. И. Радовского, «М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской академии наук» Е. С. Кулябко и «М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников» Г. Е. Павловой. Был издан также ряд «ломоносовских сборников»: «Ломоносов. Сборник статей и материалов» (подготовленный Институтом истории естествознания и техники АН СССР), «М. В. Ломоносов. 1711—1961» (Архангельский гос. педагогический институт им. М. В. Ломоносова), «Ломоносовский сборник» (Московский гос. заочный педагогический институт) и др. Литературоведческих работ в этих сборниках мало: в первом — ни одной, во втором — две («Одическая поэзия М. В. Ломоносова» В. И. Рудовой и «Русские писатели и критики о М. В. Ломоносове» А. Г. Беднова), в третьем — одна («Произведения М. В. Ломоносова в рукописных песенниках XVIII века» А. В. Позднеева).

Рассматриваемый период характеризуется выходом большого числа сборников, в основном подготовленных группой XVIII в., а именно — «XVIII век» (сб. 3—5, 1958, 1959, 1962), «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века» (1961), «Литературное творчество Ломоносова» (1962), «Русская литература XVIII века и славянские литературы» (1963) и «Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма» (1964).

В бо́льшей части перечисленных работ, особенно в тех, которые вышли из печати в последние годы, отчетливо видны положительные результаты усвоения принципов, провозглашенных на XX и XXII съездах партии. Монографии Г. П. Макогоненко, А. В. Западова и др., сборники, изданные к юбилею Ломоносова или посвященные общим проблемам истории литературы XVIII в., отличает глубокий, конкретно-исторический, подлинно диалектический подход к постановке и решению теоретических проблем, рассмотрению фактических материалов. Значительно расширился круг вопросов, рассматриваемых исследователями, возросло число работ, построенных на архивных и забытых печатных источниках, и — что очень важно — поворот от «цитатного метода» анализа фактов к конкретному изучению текстов не привел к крохоборству «майковско-саитовской школы», а сопровождался большим подъемом в теоретическом осмыслении всего литературного процесса XVIII в. и отдельных его явлений и деятелей.

Кроме сборников, специально посвященных литературе XVIII в., после 1956 г. вышло в свет несколько сборников, в которых также отведено место литературным явлениям этого столетия. Таковы, например, «Исследования и материалы по древнерусской литературе» (под ред. В. Д. Кузьминой, 1961), «Между-

народные связи русской литературы» (под ред. акад. М. П. Алексеева, 1963) и др. В первом сборнике помещено шесть статей (из пятнадцати), связанных тематически с XVIII в., во втором — также шесть (из двадцати). Как правило, работы по XVIII в. встречаются в юбилейных сборниках в честь выдающихся советских ученых: «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков» в честь чл.-корр. АН СССР Н. К. Пиксанова (1958), «Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков», посвященный памяти проф. В. А. Десницкого (1959), и др. Очень часто в ученых записках филологических факультетов университетов и факультетов литературы и языка педагогических институтов печатаются статьи по литературе XVIII в., принадлежащие обычно молодым исследователям и представляющие главы их диссертаций.

В последние годы защищены две докторские диссертации по литературе XVIII в. (А. В. Западова, 1958; Ю. М. Лотмана, 1960), три докторские диссертации по истории театра XVIII — начала XIX в. (В. Д. Кузьминой, 1958; Б. Н. Асеева, 1958; А. А. Гозенпуда, 1962) и более двух десятков кандидатских.

Заметное оживление наблюдается и в области изучения русской журналистики XVIII в., сосредоточенного в данное время на факультете журналистики Московского университета под руководством проф. А. В. Западова. Сам руководитель работы издал четыре небольшие книги, в целом образующие полный очерк истории русской журналистики XVIII в.;[3] под его редакцией опубликована коллективная «История русской журналистики XVIII—XIX веков», упоминавшаяся выше; в ряде изданий факультета журналистики печатаются статьи и материалы по истории русской журналистики XVIII в. Полезное начинание представляют погодные библиографические указатели по истории русской журналистики, составляемые сотрудником кафедры истории русской журналистики Московского университета Е. П. Прохоровым. Здесь тщательно учитываются и материалы по истории журналистики XVIII в. В 1957 г. в издательстве Высшей партийной школы при ЦК КПСС вышла в свет книга В. П. Соболева «Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики XVIII века», преследующая, как и большая часть перечисленных нами брошюр и книг, учебные, а не исследовательские цели.

С 1956 г. оживился интерес к другой области, близкой к истории литературы XVIII в., — к истории театра. В 1957—

---

[3] А. В. Западов. 1) Русская журналистика первой половины XVIII в. М., 1960; 2) Русская журналистика 30—60-х годов XVIII века. М., 1957; 3) Русская журналистика 1769—1774 годов. М., 1959; 4) Русская журналистика последней четверти XVIII века. М., 1962. — Ср. также упомянутую выше книгу А. В. Западова «М. В. Ломоносов и журналистика» (М., 1961). Недавно вышла из печати обобщающая книга А. В. Западова «Русская журналистика XVIII века» (М., 1964).

1960 гг. вышло в свет несколько обобщающих трудов по истории русского театра XVIII в., часть которых является серьезными исследованиями, вводящими в научный оборот и новые фактические данные, и интересные наблюдения и соображения теоретического характера. Это — «Русский театр. От истоков до середины XVIII в.» (М., 1957) В. Н. Всеволодского-Герн-гросса, его же «Русская народная драма» (М., 1959) и «Русский театр второй половины XVIII века» (М., 1960), далее — «Русский демократический театр XVIII века» (М., 1958) В. Д. Кузьминой, «Русский драматический театр XVII—XVIII веков» (М., 1958) Б. Н. Асеева и «Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки» (М.—Л., 1959) А. А. Гозенпуда. К этой же группе следует отнести и коллективный труд «Русские драматурги. XVIII век» (М.—Л., 1959) под редакцией Г. П. Макогоненко, составленный из монографических очерков, либо специально написанных для данного издания, либо представляющих переработки ранее печатавшихся отдельными книгами в серии «Русские драматурги». Ценное библиографическое пособие «Основные издания произведений русских драматургов XVIII века», подготовленное И. А. Кряжимской, обогащает этот коллективный труд (стр. 453—476).

Отдельных монографий о драматургах и актерах XVIII в. после 1956 г. появилось немного. Таковы, например, упоминавшаяся выше книга Г. П. Макогоненко «Денис Фонвизин. Творческий путь» (М.—Л., 1961), небольшая работа В. Н. Всеволодского-Гернгросса «Фонвизин-драматург» (М., 1960) и популярная, живо написанная и хорошо изданная книжечка К. Ф. Куликовой «Кинжал Мельпомены. Рассказ о жизни Федора Волкова» (М.—Л,. 1963).

Из работ по истории русского литературного языка XVIII в., кроме нескольких кандидатских диссертаций и статей на частные темы в различных ученых записках, заслуживает особого внимания книга В. Д. Левина «Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика)» (М., 1964). Начата подготовка «Словаря русского литературного языка XVIII века», но работы ведутся крайне медленно, а в последнее время, кажется, сокращаются. Это не может не вызвать сожаления: без настоящего научного словаря литературного языка XVIII в. исследовательская работа литературоведов крайне затруднительна. Тем более огорчительно, что в западноевропейских странах и США в последние годы успешно занимаются изучением истории русского литературного языка XVIII в. (Г. Гютль-Уортс, Л. Чельберг, В. Торндаль и др.).

В рассматриваемый период были сделаны попытки осмыслить литературный процесс XVIII в. и его закономерности. Опыты эти принадлежат Л. В. Крестовой, напечатавшей статью «Отражение формирования русской нации в русской литера

туре и публицистике первой половины XVIII века»,[4] и Д. Д. Благому, уделившему много внимания литературному процессу XVIII в. в докладе «Закономерности становления новой русской литературы» (М., 1958), прочитанном на IV Международном съезде славистов в Москве. Несмотря на индивидуальные трактовки данной проблемы, обоих авторов объединяет стремление — пусть хотя бы предварительно, лишь в общих чертах — наметить некоторые основные специфические закономерности становления новой русской литературы, формировавшейся в условиях все нараставшего развития капиталистических отношений в стране, постепенного перехода от феодализма к новому, буржуазному обществу, образования и утверждения русской нации. Этим определяются хронологические рамки доклада Д. Д. Благого, охватывающего «развитие новой русской литературы на протяжении столетия — от 30-х годов XVIII в., когда возникают первые образцы, до Пушкина, который завершает процесс *становления* новой русской литературы, как великой литературы великой нации, и закладывает основополагающие начала ее дальнейшего развития, включительно».[5]

Точка зрения обоих авторов, в особенности Д. Д. Благого, не может быть принята безоговорочно, а в отдельных пунктах вызывает решительные возражения. Главное из них состоит в том, что понятие «новая русская литература» у Д. Д. Благого противополагается понятию «древнерусская литература», между ними усматривается полный разрыв и тем самым отрицаются национальные традиции русской литературы XVIII в.

Острота, новизна и обилие рассматриваемых проблем отличают спорную и конспективно написанную статью проф. А. В. Предтеченского «Основные вопросы истории русской культуры XVIII—XIX веков».[6] Наряду с некоторыми известными проблемами, решение которых, предлагаемое Предтеченским, не вызывает особых возражений, автор выдвигает новые интересные соображения: «. . . „Классовая пропасть" между двумя культурами <одной и той же нации> есть категория историческая. Она возникает лишь с наступлением определенных исторических условий и изменяется вместе с изменением этих условий. Когда в период развитого капитализма наступает ясно и четко выраженная классовая дифференциация общества, тогда столь же ясно и четко дифференцируется общественное сознание. Тогда можно говорить и о „классовой пропасти" двух культур. Классовая дифференциация в феодальном

4 См. в сб.: Вопросы формирования русской литературы и нации. М.—Л., 1958, стр. 253—296.

5 Д. Д. Благой. Закономерности становления новой русской литературы. М, 1958, стр. 16 (Советский комитет славистов. IV Международный съезд славистов. Доклады).

6 Уч. зап. Горьковск. гос. ун-та. К истории экономики, классовой борьбы, культуры и общественной мысли в России конца XVIII—XIX столетия, 1963, сер. ист.-филолог., вып. 58, стр. 226—244.

обществе по своему характеру отличается от классовой дифференциации капиталистического общества. Поэтому в обеих формациях неодинакова дифференциация общественного сознания. В феодальном обществе дифференциация общественного сознания иногда не развивается до степени полной противоположности и даже враждебности двух культур, как это свойственно капиталистическому обществу».[7]

Это положение Предтеченского очень существенно и направлено против тех историков и литературоведов, которые догматически толкуют суждения Ленина о двух национальных культурах в каждой национальной культуре, часто не обращая внимания на диалектическую постановку вопроса. Ленин начинает с того, что признает существование единой национальной культуры в каждой национальной культуре. Однако в этой единой национальной культуре есть как бы два полюса: реакционный («культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве») и революционный («культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»). Первый отражает и выражает интересы господствующего класса, второй является выразителем интересов эксплуатируемых народных масс и передовых слоев общества. И хотя устремления тех и других во все времена противоположны, хотя несомненно, что и в XVIII в. классовое сознание дворянства (в целом, а не в лице его передовых деятелей) было противоположно классовым представлениям угнетенных масс, — все эти верные положения не дают оснований для вывода (который делают некоторые исследователи), что в XVIII в., а также в XIX и XX вв. имелись две резко обособленные, четко разграниченные русские культуры.

Если трактовать ленинское учение о двух культурах как доказательство правомерности деления единой национальной культуры на две обособленные, взаимно не связанные и даже отрицания существования единой культуры как таковой (а подобные попытки имелись в литературной историографии, в том числе и применительно к XVIII в. — П. Н. Сакулин, Д. Л. Мирский), то закономерно встает вопрос, во-первых, куда следует отнести великорусскую культуру, характеризуемую именами Ломоносова, Радищева, Пушкина, Л. Толстого, Чехова; во-вторых, происходит ли «взаимодействие» между реакционной и революционной великорусской культурой, и если происходит, то в какой форме. В «культурной» концепции Сакулина в общих словах говорится о происходящих между разными культурными силами взаимодействиях и взаимопроникновениях. Однако, на какой почве и в каких формах осуществляется этот процесс, ни Сакулин, ни другие литературоведы не раскрывают.

Если вспомнить то, что Ленин говорил и писал о Л. Толстом, Пушкине, Тургеневе, Радищеве и т. д., о необходимости

---

[7] Там же, стр. 230.

критической переработки и усвоения «всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека»,[8] о том, что «пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»,[9] — тогда станет ясно, как искажают взгляды Ленина на культуру те, кто по-своему интерпретирует учение о двух культурах.

В области культуры, как и во всех сферах общественной жизни, ведется классовая борьба, и не только между культурой Пуришкевичей, Гучковых и Струве и культурой, характеризуемой именами Чернышевского и Плеханова. Свой вклад в национальную культуру внесли анонимные творцы фольклора, Ломоносов, Радищев, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Л. Толстой, Чехов, а также Сумароков, Карамзин, Жуковский и т. д. В творчестве каждого писателя есть противоречия, отражающие то в большей, то в меньшей степени противоречия общественной жизни их времени и их собственной классовой позиции. Конечно, в каждой национальной культуре есть ведущее, прогрессивное, гуманистическое начало, представляющее отражение и выражение лучших идеалов нации, сформулированных ее передовыми людьми, и чем оно значительнее, тем дороже, ближе эта культура трудящимся массам.

Борющиеся классы производят своеобразный отбор из общенациональной литературы в своих классовых интересах, и не только производят отбор, но и дают этому отобранному материалу свое освещение, истолкование. Поэтому взгляды «академических» ученых на устное народное творчество, на Ломоносова, Екатерину II, Радищева и пр. так противоположны взглядам дореволюционных демократических и советских литературоведов. В этом отборе и освещении проявляется и выражается классовая борьба в области культуры.

Без правильного понимания отношения Ленина к вопросам культуры вообще и национальной в частности нельзя ни создать работ о закономерностях развития (или становления) новой русской литературы, ни до конца осознать своеобразие и многообразие форм, в которых проявляется классовая борьба в литературной науке.

В статье А. В. Предтеченского есть еще одно положение, требующее — по своему отношению к вопросам литературной историографии — внимательного рассмотрения. Исследователь пишет: «В истории русской литературы XVIII и XIX вв. было немало явлений, вызванных к жизни культурно-просветительной политикой правительства. К их числу должны быть отнесены: основание учебных заведений и научных учреждений, по-

---

[8] В. И. Ленин. Полн собр. соч, т. 41, стр. 305.

[9] Там же, стр. 304—305.

стройка архитектурных и скульптурных памятников, а также создание других произведений изобразительного искусства, основание театров, библиотек, музеев и т. д. Совершенно бесспорно, что значительная часть этих явлений принадлежит к числу прогрессивных, но также бесспорно и то, что они возникали не в результате забот русского правительства об интересах трудящихся масс. Они были призваны обслуживать интересы господствующего класса... Господствующий класс может ограничить доступ народных масс к культуре, но вовсе закрыть его он не в состоянии. Поэтому многие явления русской культуры XVIII и XIX вв., предназначенные защищать интересы господствующего класса, объективно, то есть независимо от воли и сознания тех, кто их вызвал к жизни, становились прогрессивными».[10]

«Историк русской культуры XVIII и XIX вв., — продолжает Предтеченский, — должен поэтому при рассмотрении культурных явлений, в возникновении которых решающую роль играла политика правительства, ставить вопрос о двойственной функции этих явлений и устанавливать степень и границы воздействия в них элементов прогрессивного и реакционного».[11]

В том, что говорит Предтеченский, почти все правильно. Однако опять-таки сказанное автором надо воспринимать в свете ленинской интерпретации понятия «классовая борьба» и ее диалектического характера. Культурно-просветительная политика правительства — это определенное «поприще», форма классовой борьбы, как и конституция и пр. Но почти всякое мероприятие господствующего класса вызывает со стороны угнетенных классов соответствующую реакцию — от полного отрицания и борьбы против данного правительственного мероприятия до переосмысления его и использования в своих, народных интересах. А. В. Предтеченский прав, говоря, что явления, призванные укреплять позиции господствующего класса, защищать его интересы «независимо от воли и сознания тех, кто их вызвал к жизни, становились прогрессивными». Но он прав не полностью: они становились прогрессивными не в результате некоего саморазвития, а в зависимости от воли и сознания тех, кто переосмыслял их и использовал в своих интересах. Прав Предтеченский также, когда говорит о «двойственной функции» культурно-просветительной политики царского правительства, но опять-таки прав наполовину: диалектика этой «двойственности функций» заложена не в существе самих явлений, а в том, что они создаются и осуществляются в классово антагонистическом обществе, в условиях классовой борьбы.

Работы Л. В. Крестовой, Д. Д. Благого и А. В. Предтеченского — не единственные, в которых рассматривались общие

10 Уч зап. Горьковск. гос. пед. ин-та, 1963, вып. 58, стр. 234—235.
11 Там же, стр. 235.

вопросы русского литературного процесса, XVIII в. в частности.

В статье «О национальном своеобразии и мировом значении русской классической литературы» Б. И. Бурсов высказал несколько соображений об основных линиях развития русской литературы XVIII в. Из всего комплекса проблем, связанных с общей концепцией развития литературы XVIII в., он рассматривает только вопрос о степени ее самостоятельности и об отношении к национальным традициям.

«Можно ли сказать, что русская литература XVIII века является подражательной по своему характеру? В некотором отношении — безусловно, да. Многие русские писатели того времени, действительно, следовали в своей творческой практике западноевропейским образцам. Но не говорит ли это об утрате нашей отечественной литературой ее национальной специфики? Ответ, разумеется, должен быть отрицательным, но с одной очень важной оговоркой. Чтоб усвоить сравнительно быстро достижения западноевропейской литературы, русской литературе в некоторых звеньях временно пришлось поступиться отдельными чертами своей самобытности... В русской литературе XVIII века, наряду с ориентацией на Запад, развивалась другая тенденция, целиком погруженная в национальные традиции».[12]

Б. И. Бурсов не скрывает, что предлагаемая им трактовка литературы XVIII в. восходит к концепции Белинского. То обстоятельство, что один из крупнейших советских литературоведов остановил внимание на своеобразии литературного процесса XVIII в., показывает, что данная тема перестала быть предметом изучения только специалистов по литературе XVIII в. и что сейчас при построении общих схем развития русской литературы ее нельзя обойти молчанием. Однако огорчительно, что Б. И. Бурсов счел возможным ограничиться изложением взглядов одного Белинского, не приняв во внимание, с одной стороны, исторических условий, в которых сложились эти взгляды, а с другой — всего последующего развития литературно-историографической мысли XIX—XX вв. и в особенности советского периода.

После 1956 г. состоялись два международных съезда славистов — IV в 1958 г. в Москве и V в 1963 г. в Софии. На обоих съездах были сделаны доклады, в которых ставились и посильно решались вопросы изучения литературы XVIII в. Результаты этих съездов, безусловно, сказались на литературной историографии XVIII в.

Рассмотрение истории русской литературы XVIII в. как части большого комплекса славянских литератур определяло, с одной

---

[12] Б. И Бурсов. О национальном своеобразии и мировом значении русской классической литературы (статья первая). — «Русская литература», 1958, № 1, стр. 30—31.

стороны, постановку проблемы литературных и общественных направлений в славянских литературах XVIII в., включая и русскую, и с другой — освещение фактов, свидетельствующих о литературных контактах между славянскими литературами этого столетия.

Первая из названных тем отчасти была освещена в уже упоминавшемся докладе Д. Д. Благого «Закономерности становления новой русской литературы». Значительное место уделили этому вопросу на обоих съездах литературоведы и историки стран народной демократии.[13] Два вопроса имели прямое отношение к литературе XVIII в. — о «барокко» и о Просвещении. В перечне, составленном Международным комитетом славистов и разосланном в национальные комитеты, значились: вопрос № 15: «Была ли так называемая „литература барокко" в славянских странах? Если возможно принять этот термин для обозначения некоторых литературных течений XVII—XVIII вв., то каковы особенности „литературы барокко" в славянских странах?»; вопрос № 17: «Как возникли и в чем проявились идеи просветительной философии в славянских литературах XVIII в.? В чем выразилось влияние русского Просвещения XVIII в. в истории славянских литератур этого периода?».

Постановка этих проблем не была новостью в славянском, и в том числе советском, литературоведении; обе они в той или иной форме ставились в рамках отдельных национальных, а иногда и всех славянских литератур. Заслуга международного комитета славистов заключалась в удачной формулировке их и в том, что к ним было привлечено внимание славистов разных стран. К IV съезду был издан «Сборник ответов на вопросы по литературоведению» (М., 1958), в котором находятся отклики и на вопросы № 15 (И. Н. Голенищев-Кутузов, П. Н. Берков, И. П. Еремин, А. А. Морозов — СССР; И. Грабак, Я. Мишианик — Чехословакия; К. Треймер — Австрия) и № 17 (В. С. Люблинский — СССР; Ф. Вольман, М. Пишут, А. Фринта — Чехословакия). Хотя ответы, в особенности на вопрос № 15, были разноречивыми, а некоторые даже взаимоисключающими, тем не менее опубликование их способствовало оживлению интереса к дискуссии, развернувшейся по докладам

[13] K. Krejči. Klasicismus a sentimentalismus v literaturách východních a západních Slovanů—Československé přednášký pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha, 1958, str. 285—309; E. Winter. Die Aufklärung in der Literaturgeschichte der slawischen Völker. — «Советская филология», т. III. М., 1958, стр 282—293; Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Jhg. IX (1959/60), H. 3, S. 183—187; H. Graßhoff Zur Rolle des Sentimentalismus in der historischen Entwicklung der russischen und westeuropäischen Literatur. — Zeitschrift für Slawistik, 1963, H. 4, S. 558—570; U. Lehmann. Bemerkungen über die Kennzeichen des russischen Klassizismus. — Zeitschrift für Slawistik, 1963, H 5, S. 917—923, P. Hoffmann Probleme des Übergangs von der Aufklärung zu revolutionären Thematik im Schaffen A. N. Radiščevs.— Zeitschrift für Slawistik, 1963, H. 3, S. 424—434.

Д. Павловича (Югославия) «Проблема барокко в истории югославских литератур (т. е. следует ли барокко считать стилем или направлением)»,[14] И. де Врис де Гунзбург (Голландия) «Несколько замечаний о барокко применительно к русской и польской литературам»[15] и Я. Мишианика (Чехословакия) «Эпоха Возрождения и барокко в словацкой литературе».[16] В дискуссии приняли участие также Ю. М. Лотман, И. Матль, И. Франгеш.[17] Как и многие дискуссии, данная, не приведя участников к какому-либо взаимоприемлемому решению проблемы, обогатила литературную историографию XVIII в. интересными соображениями, наблюдениями и перспективами дальнейшей ее разработки. Эта проблема и позднее разрабатывалась исследователями на Западе (А. Андял, Ф. Вольман и др.) и у нас (статьи А. А. Морозова и М. А. Гуковского в журнале «Русская литература», 1962—1963).

Одним из частных, но принципиально важных вопросов, всплывших в ходе дискуссии о барокко, был вопрос о том, к какому литературному направлению относится творчество Ломоносова. Высказывались мнения о том, что «Ломоносов боролся не только с идеологией русских представителей барокко», «но и с их стилистикой, неприемлемой для русского светского классицизма»;[18] в то же самое время утверждали, что «Ломоносов впитал в себя художественный опыт предшествовавшего литературного развития. Он совместил в себе идейные устремления Просвещения с художественными традициями русского барокко, отдав дань классицизму».[19]

Примерно в таком же положении было и обсуждение проблемы Просвещения, вызвавшей на IV съезде ме́ньшие, а в печати значительные споры. На съезде был заслушан доклад проф. Э. Винтера (ГДР) «Просвещение в истории славянских народов»,[20] основная идея которого сформулирована так: «Просвещение можно понять только, если оно рассматривается как идеология общественного процесса образования буржуазных наций».[21] Но автор доклада ставит своей целью «понять и раскрыть для истории литературы эпоху Просвещения» и «как элемент стиля».[22] В возражениях докладчику, среди прочих, была высказана мысль, что Просвещение — «это философское направление, но

[14] IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. I. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. М., 1962, стр 140—141.

[15] Там же, стр. 142.

[16] Там же, стр. 143—144.

[17] Там же, стр. 144—152.

[18] И Н. Голенищев-Кутузов. — Сборник ответов на вопросы по литературоведению М., 1958, стр. 79.

[19] А. А. Морозов. — Там же, стр. 91.

[20] IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. I, стр. 239—240.

[21] Там же, стр. 239.

[22] Там же.

никак не стиль. Поэтому могут быть и были разные стилистические приемы внутри Просвещения».[23]

Таким образом, IV съезд славистов внес в изучение теоретических проблем русской литературы много полезного, с чем советские литературоведы в дальнейшем не могли не считаться.

IV съезд славистов привлек внимание и к другой проблеме — о литературных контактах между славянскими литературами в XVIII в., почти не разработанной в нашем и зарубежном литературоведении: одной из причин этого являлось утверждение буржуазной историографии об «ученическом» и «подражательном характере» русской литературы XVIII в. П. Н. Берковым был сделан доклад «Русско-польские литературные связи в XVIII веке».[24]

На V съезде славистов в 1963 г. в Софии П. Н. Берков посвятил той же проблеме более пространный доклад «Русская литература XVIII в. и другие славянские литературы XVIII—XX вв. (В порядке постановки вопроса о литературных контактах)».[25] В сборнике, изданном к съезду группой XVIII в. под названием «Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы» (М.—Л., 1963), кроме статьи П. Н. Беркова, помещены работы И. З. Сермана, Г. Н. Моисеевой, В. К. Макарова, А. В. Позднеева, проф. А. В. Флоровского, П. В. Линтура, В. Л. Микитася и Е. С. Кулябко, посвященные контактам русской и других славянских литератур в XVIII в.

Интерес к литературным взаимоотношениям России и европейских стран XVIII в. после 1956 г. проявился в ряде статей сборника «XVIII век» (вып. 3—5) и в сборнике «Международные связи русской литературы» под редакцией акад. М. П. Алексеева. Так, в 3-м выпуске были опубликованы статьи Г. А. Гуковского (посмертно) «Русская литература в немецком журнале XVIII века», акад. М. П. Алексеева «Д. Дидро и русские писатели его времени», В. С. Люблинского «Новое о русских связях Вольтера»; в 4-м выпуске в разделе «Вопросы международных литературных связей в XVIII веке» увидели свет статьи Э. Винтера «И. В. Паус о своей деятельности в качестве филолога и историка» (1702), Г. Рааба «Вклад Грайфсвальда в изучение России немцами в Петровскую эпоху», Е. С. Кулябко «Научные связи Ломоносова с зарубежными учеными», Э. Хексельшнайдера «О первом немецком переводе „Недоросля" Фонвизи-

---

23 П. Н. Берков. — Там же, стр. 267.

24 Отдельное издание — М., 1958, стр. 63; перепечатано в сокращенном виде в кн.: Исследования по славянскому литературоведению и стилистике. Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М., 1960, стр. 77—105; краткое изложение в кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. I, стр. 186—187; ср. там же дополнения Р. Лужного, сообщенные на съезде проф. В. Якубовским (Краков).

25 В сб.: Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы. Под ред. П. Н. Беркова и И. З. Сермана. М.—Л., 1963, стр. 5—39.

на», Л. С. Гордона «Французский драматург Дефорж (1746—1806) и его пьеса о восстании русских крепостных», Л. С. Шепелевой «Из истории русско-грузинских культурных связей в XVIII веке („Ефигения" Давида Чолокашвили)» и П. Гофмана «К вопросу о распространении сведений о Радищеве в Германии (Лейпцигский книгопродавец Лео)».

В 5-м выпуске сборника «XVIII век» помещены статьи «Латинские школы в России в эпоху Петра I» проф. А. В Флоровского (Прага) и «„Великая наука Раймунда Люллия" и ее читатели» А. Х. Горфункеля.

Много усилий направляет сектор взаимосвязей русской и зарубежных литератур Института русской литературы (Пушкинский дом) на изучение материалов, относящихся к XVIII в. Руководителю сектора, акад. М. П. Алексееву, принадлежит большое число работ на эту тему, начиная со статьи о русском композиторе XVIII в. Максиме Березовском, учившемся в Италии (1921), книги (на французском языке) «Вольтер и Шувалов. Неизданные отрывки французско-русской переписки XVIII в.» (Одесса, 1928) и статьи 1930 г. «Изучение русской литературы за границей до XIX в.» (на немецком языке).[26]

В выпущенном к V международному съезду славистов сборнике под редакцией М. П. Алексеева напечатаны следующие статьи по XVIII в.: «Об исторической эволюции принципов перевода (К истории переводческой мысли в России)» Ю. Д. Левина, «„Литература — посредник" в истории русско-западных литературных связей XVIII—XIX вв.» П. Р. Заборова «„Робинзон Крузо" в русских переводах» М. П. Алексеева, «Первые переводы сатир А. Д. Кантемира» Х. Грассхофа, «Ломоносов и придворные итальянские стихотворцы 1740-х годов» И. З. Сермана. «„Исмений и Исмена", греческий роман Сумарокова» А. Н. Егунова и «Самюэль Джонсон „на берегах Волги"» Д.-С.-Г. Симмонса.

Вне поля зрения исследователей остался вопрос о контактах русской литературы XVIII в. с фольклором и литературами народов СССР, за исключением украинской и грузинской. Между тем существуют материалы, еще не вошедшие в научный оборот и свидетельствующие о стимулирующей роли тогдашней русской литературы для первых опытов национальных литератур народов Поволжья и др. Мы имеем в виду такие издания, как описания «торжеств» разных семинарий (Казанской, Нижегородской и др.) конца XVIII в., где приводятся наряду с русскими речами и стихами подобные же произведения на национальных языках.

Исследование контактов и связей литературы XVIII в. с западноевропейскими и славянскими литературами не исчер-

---

[26] Полный список работ акад. М. П. Алексеева см. в кн.: Михаил Павлович Алексеев. Список научных печатных трудов. Л., 1956.

пывает круга проблем, которые разрабатывались советскими учеными после XX съезда КПСС. В последние годы исследователи обратились к изучению, во-первых, национальных традиций русской литературы XVIII в. или, другими словами, ее отношения к древнерусской литературе и фольклору, во-вторых, значения литературы XVIII в. для последующего развития русской литературы.

Вопрос об отношении литературы XVIII в. к древнерусской литературной традиции, поставленный еще Н. И. Новиковым в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772), а затем на иных принципах А. Н. Пыпиным в статье «Допетровское предание в XVIII веке» (1886), продолжал время от времени привлекать внимание исследователей, разрабатывавших отдельные частные темы. Особенно много в этой области после 1956 г. сделали В. Д. Кузьмина и Л. В. Крестова. Первой из них, кроме уже упоминавшегося исследования «Русский демократический театр XVIII века» (1958), принадлежит ряд работ на эту тему, в том числе статья «Русская сказка о Бове Королевиче в лубочных изданиях XVIII — начала XIX века».[27] Л. В. Крестова разрабатывает интересную и плодотворную тему о древнерусских литературных традициях в литературе XVIII в. Пока ею опубликованы статьи: «Традиции русской демократической сатиры в журнальной прозе Н. И. Новикова („Трутень", „Живописец")»[28] и «Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина „Райская птичка", „Остров Борнгольм", „Марфа Посадница"».[29] В. Д. Кузьминой издана работа акад. М. Н. Сперанского «Рукописные сборники XVIII века. Материалы для истории русской литературы XVIII века» (М., 1963), в которой основное внимание направлено на традиции древнерусской литературы в круге чтения книголюбов XVIII в. Несколько статей на частные темы аналогичного порядка опубликованы в Трудах Отдела древнерусской литературы, в ученых записках некоторых университетов и педагогических институтов. Однако цельной и теоретически обоснованной работы на эту тему у нас еще нет, она стоит на очереди дня.

С проблемой традиций древнерусской литературы и фольклора в литературе XVIII в. тесно связан вопрос о традициях литературы XVIII в. в литературе XIX в. Особенно волновавший Белинского, в дальнейшем он утратил актуальность и лишь в самой общей форме затрагивался литературоведами конца XIX — начала XX в. и советскими исследователями. Между тем он представляет большой исторический и теоретический интерес;

---

[27] В сб.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. Под ред. В. Д. Кузьминой. М., 1961, стр. 148—192; В. Д. Кузьмина. Рыцарский роман на Руси («Бова», «Петр Златых ключей»). М., 1964.

[28] Труды Отдела древнерусской литературы, т. XIV (1958), стр. 486—492.

[29] Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961, стр. 193—226.

проблемы народности русской литературы XIX в., становления критического реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина и других и вообще любой вопрос литературы XIX в., начиная с поставленной Герценом темы «о развитии революционных идей в России» и кончая анализом вклада предшественников Пушкина в формирование литературного языка, — не могут быть поняты и решены без основательного рассмотрения литературы XVIII в. Однако в настоящее время имеется лишь ряд работ частного характера, порой ярких и блестящих, как, например, статьи Г. П. Макогоненко «Был ли карамзинский период в истории русской литературы?» («Русская литература», 1960, № 4) и «Литературная позиция Карамзина в XIX веке» (там же, 1962, № 1) и Ю. М. Лотмана об идейных и эстетических связях литературы конца XVIII с литературой начала XIX в. Конечно, подобные разработки подготовляют материалы для постановки обобщающей проблемы, и в этом их несомненное значение; однако пока она остается первоочередной.

Менее значительны по объему, но важны по месту в литературной историографии XVIII в. вопросы о сущности, хронологических границах и социальной природе русского Просвещения XVIII в. и его отражения в литературе; далее — о литературном направлении, к которому принадлежал Ломоносов, и — близкие к этому — о роли латинской образованности в русской литературе конца XVII—XVIII вв.; наконец, вообще проблема литературных направлений XVIII в.

Разработка перечисленных вопросов в основном ведется группой XVIII в. Вскоре по возобновлении своей деятельности она стала проводить всесоюзные конференции по литературе XVIII в. В 1959 г. состоялась конференция, посвященная проблемам русского Просвещения в литературе XVIII в., в 1961 г.— литературному творчеству Ломоносова, в 1965 г. предполагается конференция о национальных традициях литературы XVIII в. Каждая из конференций вызывала живой и порой страстный обмен мнений и сопровождалась изданием сборника важнейших докладов.[30]

В сборнике «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века» помещены статьи П. Н. Беркова («Основные вопросы изучения русского просветительства»), И. З. Сермана («Просветительство и русская литература первой половины XVIII века»), Ф. Я. Шолома («Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века»), А. В. Предтеченского («Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина в 1790-х годах») и

---

[30] Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. Под ред. П. Н. Беркова. М.—Л., 1961 (доклад Г. П. Макогоненко «Русское Просвещение и литературные направления XVIII века» напечатан в журнале «Русская литература», 1959, № 4), Литературное творчество М В Ломоносова. Исследования и материалы. Под ред. П. Н. Беркова и И. З. Сермана. М.—Л., 1962.

Ю. М. Лотмана («Пути развития русской просветительской прозы XVIII века»). Кроме того, в сборнике опубликованы сделанные на конференции сообщения А. В. Позднеева («Просветительство и книжная поэзия конца XVII — начала XVIII века») и И. Я. Каганова («Я. Маркович и его „Дневник" как материал для истории просветительства на Украине в первой половине XVIII века»), а также выступления Е. Г. Плимака, Г. И. Бомштейна, В. Н. Всеволодского-Гернгросса, Г. М. Фридлендера, А. В. Кокорева, З. И. Гершковича, Ю. М. Лотмана, Л. И. Кулаковой и Г. П. Макогоненко.[31]

Особенный интерес представляли доклады Г. П. Макогоненко и Ю. М. Лотмана, а также выступление Л. И. Кулаковой в прениях; все эти материалы посвящены вопросу о реализме литературы XVIII в., столь актуальному в последние годы.

На конференции по проблеме русского Просвещения встал вопрос об идеологической и эстетической позиции Ломоносова. В связи с 250-летием со дня его рождения, праздновавшимся в ноябре 1961 г., группа XVIII в., как уже отмечено, провела специальную конференцию, посвященную литературному творчеству Ломоносова. В изданном позднее сборнике указывалось, что за последние два десятилетия изучение поэтического наследия Ломоносова велось недостаточно энергично и последовательно, тогда как исследование его многообразной научной и общественной деятельности шло с большим размахом и внесло много нового в наши представления о его вкладе и месте в развитии мировой науки. В статьях и материалах, включенных в сборник «Литературное творчество М. В. Ломоносова», освещен широкий круг вопросов, связанных с отношением поэта к художественому наследию античности, к новым литературам Запада и Востока, к современной ему западной литературе (статьи П. Н. Беркова, А. Н. Егунова, А. А. Морозова, М. М. Дыхне). Другая группа статей сборника посвящена анализу литературно-критических и эстетических позиций Ломоносова, его поэтики и стиля, его роли в создании новой русской поэзии (статьи Г. А. Гуковского и Л. Б. Модзалевского, а также И. З. Сермана и М. Я. Мельц). Включены в сборник также статьи, характеризующие посмертную судьбу литературного наследия Ломоносова на родине и за рубежом (статьи и сообщения Л. И. Кулаковой, Т. А. Быковой, Д. Д. Шамрая, Н. Д. Кочетковой и П. Р. Заборова).[32]

Одним из существенных результатов ломоносовского юбилея 1961 г. была постановка вопроса о роли латинской образованно-

---

[31] В последнем разделе сборника помещены материалы юбилейного заседания, посвященного 250-летию со дня рождения А. Д. Кантемира (статьи П. Н. Беркова, З. И. Гершковича, И. В. Шкляр и библиография А. Д. и Д. К. Кантемиров, составленная П. Н. Берковым и В. П. Степановым).

[32] Часть материалов, связанных с Ломоносовским юбилеем 1961 г., опубликована в 5-м выпуске сб. «XVIII век» (1962).

сти — античной и новоевропейской — в художественном развитии великого поэта и вообще в русской литературе XVIII в. Не входя в подробности, отметим, что тема «Латинская образованность и европейские литературы средневековья и нового времени» привлекает особенное внимание западноевропейских буржуазных литературоведов после окончания Великой Отечественной войны. Они проводят мысль, что европейские литературы (имеются в виду французская, английская, немецкая, итальянская и т. д., за исключением русской и остальных славянских) являются единственными законными наследницами Романии, т. е. античной культуры в ее римско-латинской форме, и это составляет их решительное отличие (подразумевается — от русской литературы).

Исследования, появившиеся во время юбилея 1961 г. и отчасти до него (работы А. Н. Егунова, Я. М. Боровского, П. Н. Беркова, А. В. Флоровского и др.), показывают, что латинская образованность играла значительную роль и в развитии русской литературы XVII—XVIII вв., в частности в творчестве Ломоносова. Установлено при этом, что процесс усвоения латинской образованности, протекавший в западноевропейских литературах по несколько столетий, а то и целое тысячелетие, в русской литературе осуществился в интенсивных формах в течение одного столетия — с Симеона Полоцкого до Тредиаковского, Ломоносова и многочисленных русских переводчиков Овидия, Горация и других старо- и новолатинских поэтов. Сделанное в этой области, однако, только начало — проблема требует дальнейших исследований и обобщений.

Выше указывалось, что в связи с изучением русского Просвещения возникла необходимость пересмотра традиционных воззрений на сущность и социальную природу литературных направлений XVIII в. Вскоре по возобновлении деятельности группы XVIII в. (в 1955 г.) с докладами, содержавшими критический пересмотр традиционных воззрений на философскую природу западноевропейского классицизма XVII—XVIII вв., выступили Е. Н. Купреянова и Н. А. Сигал-Жирмунская, статьи которых позднее были напечатаны в сборнике «XVIII век», вып 4 и 5. В эти же годы А. И. Дуденкова опубликовала свои наблюдения над некоторыми особенностями эстетики русского классицизма. Замечания о противоречивых чертах того литературного явления, которое в науке принято называть классицизмом, встречались в течение 50-х годов в работах и других литературоведов. Однако только после конференции по проблемам Просвещения стало очевидно, что необходим фронтальный пересмотр наших представлений о литературных направлениях изучаемого периода. Из докладов, прочитанных в течение 1960—1962 гг. в группе XVIII в., был составлен сборник «Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма», вышедший недавно из печати. Основная цель сборника — побудить изучающих лите-

ратуру XVIII в. отрешиться от традиционных представлений о литературных направлениях XVIII в. — спорном «барокко», классицизме, сентиментализме, предромантизме, «просветительском реализме». Тенденция сборника совпадает со стремлением, наметившимся в работах ряда исследователей (Г. П. Макогоненко, Ю. М. Лотмана, Л. И. Кулаковой), уточнить наше понимание как термина «литературное направление», так и обозначений, употребляемых применительно к литературным явлениям XVIII в.

В связи с указанными вопросами возник в последние годы интерес к литературной и идеологической позиции Н. М. Карамзина, по традиции признаваемого «чистейшей воды сентименталистом» (работы Г. П. Макогоненко, Ю. М. Лотмана, А. В. Предтеченского и др.). В недавно вышедших Избранных произведениях Карамзина в двух томах под редакцией и со вступительной статьей П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко сделана попытка по-новому осветить литературную, философскую и общественно-политическую позицию Карамзина.

Определившаяся в последние годы тенденция к более точному, дифференцированному анализу литературных направлений XVIII в. отразилась и на изучении творчества ряда писателей данного столетия — А. Кантемира (работы З. И. Гершковича, С. В. Калачевой, И. В. Шкляр), Сумарокова (работы Ю. В. Стенника), Лукина (работы В. Д. Головчинер), Державина (работы Вл. А. Западова) и др. То же стремление наблюдается в статьях и публикациях М. А. Арзумановой, Н. Д. Кочетковой и М. Г. Альтшуллера, посвященных поэзии 1790-х годов.

Обнаружившееся стремление пересмотреть привычную трактовку литературных направлений XVIII в. с неизбежностью выдвигает проблему периодизации истории литературы XVIII в. Существующие схемы периодизации сейчас явно не соответствуют усложнившемуся пониманию литературного процесса XVIII в. Без этого ни один из вопросов, намеченных выше, не может быть решен. Из первоочередных задач — это самая важная и неотложная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЕСТО ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКИ

Рассмотрение материалов по истории изучения русской литературы XVIII в. подтверждает правильность старинного афоризма: «Чтобы понять настоящее, надо знать прошлое». В самом деле, современная проблематика, общие перспективы изучения, современный уровень исследований могут быть правильно поняты только как результат всего развития литературной историографии XVIII в.

Было время — не только в XIX, но и в начале XX в.,— когда литературную историографию недооценивали, трактовали ее только как хронологически расположенную библиографию. Казалось, что за подобной манерой построения этой вспомогательной литературоведческой дисциплины скрывается «академическая объективность», аполитизм, отрешенность от злобы дня. Рассмотренные нами материалы показывают, что не существует безыдейно-фактографического подхода, невозможно какое-либо собрание сведений без определенной точки зрения, без более или менее ясной концепции. При всех вероятных в частных случаях ошибках памяти, пропусках из-за неполноты источников, даже недостатке знаний, любая историко-литературная, пусть самая сухая, летопись создается автором в результате отбора материала: включения одних писателей, умолчания о других, выдвижения на передний план одних, принижения роли других. А отбор и планировка являются всегда следствием какой-то концепции. Даже «объективнейшая», казалось бы, библиография, как текущая, регистрационная, так в особенности ретроспективная, предполагает в конечном счете отбор материала.

Литературная историография ни в коем случае не является хронологически расположенной библиографией, хотя строится, конечно, на материалах последней. Отличительная черта литературной историографии состоит в том, что она представляет историю историко-литературных концепций, проявляю-

щихся и в обобщающих трудах, и в отдельных монографиях, и в статьях, рецензиях и т. д. Поэтому правильно понимаемая литературная историография должна раскрывать эту историческую обусловленность борющихся концепций. Тем самым литературная историография становится как бы ключом, позволяющим «открыть» каждую историко-литературную работу, помогающим читателю понять исходную позицию автора этой работы и, таким образом, отбросить субъективное, неверное и использовать объективное, ценное, содержащееся в ней.

Какова бы ни была концепция литературоведа, насколько откровенно или завуалированно ни проводилась бы она, всегда она строится на бо́льшем или ме́ньшем количестве фактического материала, на более или менее проверенных, точных данных. Следовательно, в каждой историко-литературной работе существуют два образующих элемента: концепция и материал. Концепция определяет объем и характер используемых автором фактов. Конечно, нередки случаи, когда при анализе историко-литературной работы обнаруживается, что неприемлема не только концепция, но и фактический материал, который устарел, скуден, не отвечает современным научным представлениям и требованиям.

Однако чаще всего субъективная, продиктованная классовыми или групповыми интересами концепция опирается на материалы, имеющие объективную ценность, не зависящую от планов и намерений автора. Как бы пристрастен и субъективен ни был любой литературовед XVIII—XIX вв., но если он был честным ученым, не подтасовывал фактов, не выдумывал их и не скрывал найденные материалы, шедшие вразрез с его взглядами, то с помощью литературно-историографического «ключа» мы можем найти у него ценные данные для современной науки. Однако ограничиваться только фактами, извлеченными из критически переработанных трудов старых литературоведов, нельзя. Без новых материалов невозможно приближение к объективной истине. Этому также учит литературная историография.

Наконец, при обзоре историко-литературных трудов надо иметь в виду еще один немаловажный аспект. До сих пор мы рассматривали литературно-историографический процесс в целом, хотя все время упоминали имена исследователей и названия работ. Между тем читатель имеет дело не с процессом, который обычно конструируется им по прочитанным работам, а с отдельными авторами и их трудами. Поэтому, помимо тех двух аспектов, о которых шла речь выше,— субъективного и объективного, концепций и материала,— существует еще и третий — персонально-биографический, связанный с оценкой личности литературоведа, его вклада в литературную историографию, его роли в науке как исследователя, популяризатора, организатора, педагога. Те обобщающие труды, монографии, статьи, доклады,

рецензии, публикации новых текстов и документов и пр., которые мы рассматриваем в качестве литературно-историографического материала, являются в то же время фактами научной биографии литературоведа. Простой перечень их образует библиографию его трудов; тот же материал, хронологически расположенный, создает представление о его научном пути, биографии. Включение же в общую картину литературно-историографического процесса наиболее важного из того, что сделал данный литературовед в соответствующей области, дает возможность при соотнесении с вкладом других ученых определить его историческое значение в науке, его роль.

Таким образом, литературная историография знакомит нас с широко понимаемой историей литературных исследований в плане концепций и проблематики, развития фактических знаний, условий научной работы и, наконец, со стороны оценки вклада отдельных ученых. Все это дает нам право утверждать, что литературная историография является не только необходимой вспомогательной литературоведческой наукой, но и первой из них — своеобразным введением в литературоведение, показывает, насколько важное значение имеет литературная историография в общей системе литературной науки, и объясняет, почему «Введение в изучение истории русской литературы XVIII века» мы сочли целесообразным начать с литературно-историографического обзора.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] Указатель составлен Н. Д. Кочетковой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Берков Павел Наумович

Введение в изучение истории Русской литературы XVIII века

Часть 1

Редактор *Н. А. Захарова*
Художественный редактор *А. Г. Малахов*
Техн. редактор *Е. Г. Учаева*
Корректоры *Б. С. Горохова* и *А. Б. Снисаренко*

Сдано в набор 21/IX 1964 г. М-27915
Подписано к печати 27/XI 1964 г.
Уч.-изд. л. 17,93. Печ. л. 16,5. Бум. л. 8,25
Формат бум. 60×90 1/16.
Тираж 5300. Заказ 652. Цена 65 к.
Тематический план 1964 г., № 108

Типография ЛОЛГУ. Ленинград,
Университетская наб., 7/9.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 1965 ГОДУ ВЫХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Березина В. Г. **Русская журналистика второй четверти XIX века.** Учебное пособие для студентов заочного отделения. 6 п. л., 7500 экз. Цена 12 к. Выход в свет — III квартал.

Работа охватывает период с восстания декабристов (т. е с конца 1825 г.) до 1848 г.

В книге рассмотрены основные периодические издания второй четверти XIX века. По сравнению с учебником «История русской журналистики XVIII—XIX веков» (М., 1963) в настоящем учебном пособии значительно шире представлены отраслевые (специализированные) издания и газетная периодика и более подробно освещено развитие журнальных и газетных жанров.

Основное внимание обращено на журнально-газетную деятельность В. Г. Белинского, его борьбу за передовую русскую журналистику и критику.

Учебное пособие построено в соответствии с программой курса по истории русской журналистики и рассчитано на студентов филологических факультетов журналистики высших учебных заведений.

Варустин Л. Э. **Журнал «Русское слово» (1859—1866).** 12 п. л., 3000 экз. Цена 50 к. Выход в свет — II квартал.

В книге, представляющей первое монографическое исследование о журнале «Русское слово», освещается история его возникновения, подробно характеризуются его отделы, выясняются связи журнала с освободительным движением своего времени.

Большое место в книге занимает исследование публицистики и литературно-критической деятельности Д. И. Писарева — идейного и политического руководителя журнала, а также анализ творчества ведущих сотрудников: Н. Шелгунова, В. Зайцева, Д. Минаева, Н. Соколова, Г. Успенского, Ф Решетникова, А. Щапова и др. Освещается роль Г. Благосветлова как публициста-организатора и редактора «Русского слова». На основе архивных материалов раскрывается история цензурных и полицейских преследований журнала царским самодержавием.

Книга рассчитана на филологов, журналистов, историков печати, преподавателей и студентов вузов, а также на широкие круги читателей.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

1. Ленинград, Д-120, Литейный пр., 57, маг. Академкнига.
2. Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 3/5, Издательство Ленгосуниверситета.

65к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1964